АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1969

СОДЕРЖАНИЕ

Э. А. Макаев (Москва). Проблема детерминативов в индоевропейском и в общегерманском 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. А. Лаптева (Москва). Литературная и диалектная разновидности устно-разговорного синтаксиса и перспективы их сопоставительного изучения 22
И. И. Ревзин (Москва), Г. Д. Юлдашева (Ташкент). Грамматика порядков и ее использования 42
Е. А. Крашенинникова (Москва). Потенциальность грамматических изменений 57
О. Д. Лейзерсон (Москва). К вопросу о «грамматичности» сложного слова 62

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. А. Золотова (Москва). О регулярных реализациях моделей предложения 67
Г. Л. Нахуцришвили (Тбилиси). Об агглютинативном характере осетинского именного склонения 79
Г К. Вернер (Омск). К фонологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке 85

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Е. Н. Винарская (Москва). К изучению вероятностных отношений в речевой деятельности 93

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Л. П. Жуковская (Москва). Замечания о «Предварительном списке» и «Сводном каталоге» славянских древних рукописей 98
В. И. Абаев (Москва). *E. Benveniste*. Titres et noms propres en iranien ancien 107
Б. Н. Головин (Горький). *Н. Д. Андреев*. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языкознании 111
Д. И. Эдельман (Москва). *В. С. Соколова*. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы 118

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В. А. Виноградов, А. А. Реформатский (Москва). Сингармонизм, ударение и просодия слова 123
В. И. Чернов (Смоленск). К вопросу о детерминантах 125

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. С. Демкова (Ленинград). Уникальный автограф Жития Аввакума 127
С. И. Котков (Москва). Отказные книги 130
В. А. Москович (Москва). Лингвистические опыты Иоганна Грегора Менделя 135
П. Алврэ (Вильянди). Журнал «Советское финно-угроведение» за три года своего существования (1965—1967) 137

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*.

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

Э. А. МАКАЕВ

ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМИНАТИВОВ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ И В ОБЩЕГЕРМАНСКОМ

Проблема детерминативов в индоевропейском — один из самых важных и в то же время наименее разработанных вопросов в индоевропейском сравнительном языкознании. Важность этой проблемы заключается в том, что в настоящее время общая теория детерминативов является необходимой предпосылкой для создания индоевропейского словообразования. Монографии П. Перссона [1], представляющие большую ценность по собранному материалу и являющиеся необходимым и надежным справочным пособием по всем вопросам, относящимся к дистрибуции детерминативов в отдельных индоевропейских языках, далеко не отвечают уровню современного состояния разработки сравнительной грамматики и этимологии индоевропейских языков. Общая теория детерминативов должна исходить из того, что в отдельных ареалах индоевропейской языковой общности с течением времени происходили подчас весьма существенные преобразования, касавшиеся всей структуры слова, следствием чего явились неоднократно имевшие место процессы переинтеграции компонентов словесной структуры именных и глагольных основ, в том числе корня и детерминативов. Но и на протяжении длительной истории самого индоевропейского языка неоднократно наблюдались многоступенчатые процессы парадигматизации первоначально гетерогенных деривационных рядов и лексикализации отдельных звеньев парадигмы и становление на их основе новых деривационных рядов. Тем самым на разных этапах развития общеиндоевропейского языка иерархическое отношение между деривационным и парадигматическим уровнями неоднократно менялось [2]. В связи с этим можно утверждать, что структурное оформление слова в разные периоды общеиндоевропейского языка, а также и в более позднее время не могло оставаться неизменным, и, следовательно, структура индоевропейского корня и его соотношение с различными детерминативами и суффиксами, наконец, структурная оформленность детерминативов, их функциональная нагрузка и принципы их выделения и членимость точно так же были подвержены многообразным и существенным преобразованиям. Как раз одним из существенных недостатков ценной и важной, особенно по материалу, монографии Ф. Шпехта о происхождении индоевропейского склонения [3]

[1] P. Persson, Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation, Uppsala, 1891; его же, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, I—II, Uppsala — Leipzig, 1912.

[2] О процессах лексикализации и парагматизации см.: Э. А. Макаев, Понятие системы языка, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ], XI, 1957; его же, Морфологический строй общегерманского языка, сб. «Проблемы морфологического строя германских языков». М., 1963, стр. 54—57; В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, сб. «Вопросы теории и истории языка», М., 1952; М. М. Гухман, Морфологическая структура слова в древних германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», III, М., 1963, стр. 7—14; Е. С. Кубрякова, Именное словообразование в германских языках, там же, стр. 39.

[3] F. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947 (далее в тексте — Specht).

является однолинейное, статическое рассмотрение детерминативов *-k/-g*, *-t/-d*, *-s*, *-e/-o*, *-i*, *-u*, *-l/-r*, *-n*, *-men* во всех индоевропейских языках, безоговорочное принятие их хронологической вездесущности, неразграничение хронологического статуса различных детерминативов, смешение общеиндоевропейского уровня и уровня отдельных индоевропейских языков, благодаря чему те же детерминативы и с той же флуктуацией принимаются и для протоиндоевропейского состояния, и для древних и современных индоевропейских языков и их диалектов, и что в значительной мере обесценивает книгу Ф. Шпехта в целом и его полемику с Э. Бенвенистом по вопросу о месте гетероклитического склонения в индоевропейском словообразовании, а также по вопросу о древнейшей структуре индоевропейского корня и его сочетании с детерминативами. Следовательно, для разных периодов общеиндоевропейского языка и для позднейших периодов стабилизации отдельных индоевропейских ареалов [4] необходимо установление нескольких структурных моделей корня в его соотношении с детерминативами. Тем самым оказывается вполне закономерной постановка вопроса о том, в какой мере можно принимать в отношении к общегерманскому языку структурную членимость на корень и детерминатив и каково в таком случае соотношение германских и индоевропейских детерминативов. В специальной литературе данный вопрос даже не был поставлен, благодаря чему остается совершенно неясным, на каком этимологическом уровне — германском или индоевропейском — исследователь производит вычленение детерминативов. Весьма показательна в этом отношении методика Ф. Шпехта: чрезвычайно широко пользуясь своим методом вивисекции лексем в различных индоевропейских языках на составные элементы, что часто приводит к вычленению одноэлементного (или однофонемного) состава лексемы и что делает подобную методику рассечения лексем беспочвенной и бездоказательной, Ф. Шпехт отыскивает детерминативы и в общеиндоевропейском, и в отдельных германских языках, даже не ставя вопроса о том, на каком уровне производится вычленение детерминативов и допускают ли германские языки вообще подобные вычленения. Так, Ф. Шпехт дает следующие примеры вычленения детерминативов в германском: гот. *ni-þ-jis* «родственник», др.-инд. *ní-t-ya* «собственный, постоянный» (стр. 197). Не приходится оговаривать, что в германских языках основа *ni-*, служащая базой для данного образования, вообще не представлена, что на уровне германских языков делает невозможной членимость *ni-þ-jis*. Здесь-*þ-* в германском вовсе не вычленяется; сопоставление с др.-исл. *niðr*, др.-швед. *niþjar*, др.-англ. *niððas* «мужи, люди» позволяет вычленить на германском уровне *niþ-*; детерминатив в германском не вычленяется. То же замечание относится и к следующим примерам Ф. Шпехта: др.-англ. *bl-ā-t* «бледный», гот. *ƕ-ei-t-s* «белый», гот. *ƕ-ai-t-eis* «пшеница» (стр. 197); сопоставление с другими германскими языками: др.-исл. *hvītr*, др.-сакс. *hwît*, др.-в.-нем. *(h)wîz* «белый» позволяет в германском вычленить *hvīt-* (общегерм. *hveit-*); гот. *ƕaiteis* позволяет рассматривать *ƕait-* как апофонически вариативный корень: герм. *hveit-* ~ *hvait-*; сопоставление с др.-инд. *śvetáḥ*, авест. *spaētō*, др.-инд. *śvindate* «блестит» (Dhātup.), перфект *śiśvinde* (Pok. [5], стр. 628—629; Feist, стр. 284—285), т. е. на

[4] Э. А. Макаев. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М.— Л., 1964.

[5] В статье приняты следующие сокращения: Абаев — В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, I, М.— Л., 1952; Aasen — J. Aasen, Norsk ordbog, Kristiania, 1918; Bartholomae — Chr. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Berlin, 1961; Buck — C. Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, Chicago, 1949; Cleasby — Vigfusson — R. Cleasby, G. Vigfusson, An Icelandic-English dictionary, Oxford, 1957; Ernout — Meillet — A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine,

индоевропейском уровне, позволяет вычленить и.-е. корень *k̂ᵘ̯eid-/t-* с вариацией согласных в исходе корня. Поэтому в индоевропейском имеем корень *k̂ᵘ̯eid-/t* -с вариацией конечных согласных, в германском — корень *hveit-/hvait* с чередованием гласных. Нельзя согласиться с Ю. Покорным, постулирующим и.-е. корень *k̂ueiə̯-*, расширенный детерминативами *d*, *t*, *s* (Pok., стр. 628). Производящая основа **k̂ueiə̯-* в индоевропейском не засвидетельствована; вычленение детерминативов как в индоевропейском, так и в общегерманском допустимо лишь при наличии производящей и производной основы; на этом основании можно постулировать и.-е. корень *k̂ᵘ̯eid-/-t-*; не приходится оговаривать, что *k-* в готском и соответственно *k̂u̯* в индоевропейском вообще не вычленяются ни на каком уровне; на стр. 215 своей монографии Ф. Шпехт вычленяет детерминатив *g* в др.-инд. *bhūr-j-a-*, др.-исл. *bjǫr-k*, лит. *bẽr-ž-as*, русск. *береза*, наряду с чистым корнем, представленным в лат. *farnus* < **farenos*. На самом деле все выше приведенные обозначения березы восходят к и.-е. **bhrēĝ-* (Pok., стр. 139; *ĝ* здесь не является детерминативом ни на и.-е. уровне, ни на германском, ибо производящая основа и.-е. **bher-* в значении «блестеть, сиять» не представлена). Ю. Покорный постулирует корень **bher-* в данном значении (Pok., стр. 136), но данный корень представлен лишь с расширителями (детерминативами); др.-в.-нем. *bero*, нем. *Bär* «медведь», на которое указывает Ю. Покорный, восходит к и.-е. *bhero-* тематической основе (Kluge, стр. 50), если др.-в.-нем. *bero* вообще связано с данным корнем, заставляющим предполагать семантическое развитие: коричневый → светлый → → блестящий → сияющий (откуда «светлое дерево» — «береза»), что сомнительно. В. И. Абаев, при анализе осет. *bærz/bærzæ* «береза», указывает на и.-е. **bhrəĝo-* (Абаев, стр. 253—254). Следовательно, ни на и.-е. уровне, ни на германском в **bhrēg* не вычленяется детерминатив *g* и поэтому следует признать неверным вычленение *-k* в др.-исл. *bjǫr-k*. Кроме того, указание Ф. Шпехта на «чистый» корень (т. е. на корень без детерминатива) в лат. *farnus* «ясень» < **farenos* не соответствует действительности: лат. *farnus* связано с *frāxinus* и восходит к **fargsnos*, и.-е. **bhrəĝ-* (Walde — Hofmann, I, стр. 458), т. е. и в данном образовании *g* как детерминатив не вычленяется, а «чистого» корня *far-* не существует. На стр. 221 Ф. Шпехт

Paris, 1959; Falk — Torp — H. Falk — A. Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, Göttingen, 1909; Feist — S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, Leiden, 1939; Fraenkel — E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch, I—II, Heidelberg — Göttingen, 1955—1965; Friedrich — J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg, 1952—1954; Frisk — Hj. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1960, Lf. 11—18, Heidelberg, 1961—1967; Heggstad — L. Heggstad, Gammalnorsk etymologisk ordbok, Lund, 1948; Hellquist — E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund, 1948; Jacobsen — Matras — M. A. Jacobsen, Chr. Matras, Førysk-donsk orðbók, Tórshavn, 1961; Johannesson — A. Jóhannesson, Isländisches etymologisches Wärterbuch, Bern, 1956; Kluge — F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin, 1963; Mayrhofer — M. Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Heidelberg, I — 1956, II — 1963, III, Lf. 18—19, 1964—1967; Onions— C. T. Onions, The Oxford dictionary of English etymology, Oxford, 1966; Rietz— J. E. Rietz, Svenskt Dialekt-Lexikon, Lund, 1867; Richthofen — K. Richthofen, Altfriesisches Wörterbuch, Tübingen, 1966; Pok.— J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern — München, 1959; Torp — A. Torp, Nynorsk etymologisk ordbok, Kristiania, 1919; de Vries I — J. de Vries, Altnordisches etymologisches Wörterbuch, Leiden 1961; de Vries II — J. de Vries, Nederlands etymologisch woordenboek, Lf. 1—6, Leiden, 1963—1965; Vendryes — J. Vendryes, Lexique étymologique de l'irlandais ancien, fasc. 1—2, Paris, 1959—1960; Walde—Hofmann— A. Walde, J. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, I — 1938, II — 1954; van Windekens — A. van Windekens, Lexique étymologique des dialectes tokhariens, Louvain, 1941; Walde — Pokorny — A. Walde, J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, I—III, Berlin, 1927—1932.

вычленяет в германском детерминатив *-d*: др.-в.-нем. *hrin-d*, англ. *hrī-þ-er* (*hrȳ-þ-er*) «рогатый скот», однако в германском основа *hrin-* не представлена; детерминатив еще в общегерманском отошел к корню, в результате чего образовалась опрощенная основа *hrinđ-* (вариант *hrunđ-*). Следовательно, в германском нет оснований для вычленения детерминатива *-d* (Kluge, стр. 600). На той же странице *-d* вычленяется в др.-исл. *hin-d*, др.-в.-нем. *hin-t-a* «косуля». И в данном случае в германском основа *hin-* не представлена; невозможно согласиться с Ф. Клуге, указывающим на то, что дентальный в данном образовании является деривационным, а *-n* возникло из **m* (Kluge, стр. 308). Общегерманская праформа для данного образования: **hind-ō*, детерминатив *-d* возможен только на индоевропейском уровне при соположении: греч. κεμάς «молодой олень», др.-инд. *śáma-*, литов. *šmùlas* «безрогий» (Fraenkel, стр. 1015). Фриск (I, стр. 818—819) дает невозможное для германского членение **hin-đī-* (*-đjō*) < и.-е. **k̑em-tī*, хотя правильно указывает на то, что «нет оснований для допущения прямой суффиксальной связи между греч. κεμάς и германским словом». Точно так же невозможно вычленить *-d* в др.-англ. *hacod* (вариант *haecid* в Эпинальских и Эрфуртских глоссах), др.-в.-нем. *hehhit* «щука», хотя Ф. Шпехт членит *haco-d* (Specht, стр. 222). На 224 стр. Ф. Шпехт вычленяет в германском детерминативы *-þ* и *-m* в следующих образованиях: гот. *li-þ-us*, др.-исл. *li-ð-r*, др.-англ. *li-ð*, др.-в.-нем. *li-d*, «член, сустав» наряду с др.-исл. *li-m-r*, др.-англ. *li-m* «член, ветвь». З. Файст, на которого опирается Ф. Шпехт, в данной группе германских слов выделяет герм. корень *lī-* и и.-е. корень **leĭ-* «быть подвижным» (Feist, стр. 332). Корень **leĭ-* в данном значении не представлен в германском. Др.-исл. *limr*, как справедливо полагает Я. де Фриз, этимологически связано с др.-исл. *limi* «вязанка хвороста, метла», литов. *liemuõ* «ствол дерева», лат. *limus* «кривой», имея первоначальное значение «изогнутый, гибкий» (de Vries I, стр. 356).

На стр. 225 Ф. Шпехт вычленяет детерминатив *-d* в др.-исл. *mun-d*, др.-в.-нем. *mun-t* «рука» на основе лат. *manu-s* «рука». Германские слова восходят к и.-е. *mn̥-t-* (Pok., стр. 741) и представляют неразложимую основу *mund-*, являющуюся производящей основой для образований: др.-сакс. *mundon*, др.-в.-нем. *munton* «защищать». Германская праформа *mundō* (Kluge, стр. 493); следовательно, *-d* в германском не вычленяется.

На стр. 228 Ф. Шпехт вычленяет в германском детерминативы *-t* и *-s* в следующих образованиях: др.-англ. *flin-t* «гравий», др.-в.-нем. *flin-s* «камень». На самом деле герм. *flint-* является неразложимой основой, служащей базой для образований: др.-исл. *fletta-grjót* «кремень» <**flint-ōn*), норв. (диалектн.) *flint-er* «осколок, кусочек», нидер. *flent-er* «лоскут». Др.-в.-нем. *flins* < **flint-sa*, так же, как ср.-н.-нем. *vlīse*, нем. *Fliese* «каменная плитка, кафель» <**flint-sa* (Kluge, стр. 206). Следовательно, в данных образованиях *-t* не вычленяется, а *-s* является не детерминативом, а германским суффиксальным образованием [6]. В этой связи следует обратить особое внимание на то, что Ф. Шпехт не проводит различия между суффиксом и детерминативом ни на индоевропейском, ни на германском уровне и это в значительной мере облегчает его задачу нахождения вездесущих детерминативов, впаянных (verbaut) в различные германские именные и глагольные образования. Так, Ф. Шпехт находит детерминатив *-t* в гот. *smair-þ-r* «жир», детерминатив *-n* в гот. *smar-n-a* «грязь, нечистоты» и детерминатив *-u* в др.-в.-нем. *smero* «жир» (стр. 238). На самом деле ср.-в.-нем. *smër* (род. падеж ед. числа *smërwes*), др.-в.-нем. *smero*, др.-англ.

[6] О данном суффиксе см.: F. Kluge, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte, Halle, 1926, стр. 106; K. von Bahder, Die Verbalabstrakta in den germanischen Sprachen, Halle, 1880, стр. 52—56; W. Meid, Wortbildungslehre, стр. 181—184.

smeoru, др.-исл. *smjǫr*, швед. *smör* «жир, масло» восходят к общегерманскому **smerwa-* «жир». Германский корень **smeru-* является производящей основой для образований: др.-в.-нем. *smirwen*, др.-англ. *smierwan*, др.-исл. *smyrwa* (вариант *smyrja*) «мазать», др.-англ. *smierels*, др.-исл. *smyrsl* «мазь, помазание». Гот. *smairþr* образовано при помощи суффикса герм. *-þra-* (*-ϑra-*), и.-е. *-tro-*; ср. в готском образования с данным суффиксом: *fodr* «ножны» (ἅπαξ λεγόμενον — Joh. 18, 11: *lagei þana hairu in fodr* βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν ϑήκην «Вложи меч в ножны»), *hleiþra* «скамья» (ἅπαξ λεγόμενον 2 Kor. 12, 9: *ei ufarhleiþrjai ana mis mahts Xristaus* ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ «чтобы обитала во мне сила Христова»), *maurþr* «убийство»; гот. *smarna* (ἅπαξ λεγόμενον — Ph. 3, 8: *jah domja smarnos wisan allata* καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι «и все почитаю за сор») образовано при помощи суффикса герм. *-nō*, и.-е. *-nā-* (Kluge, Nominale Stammbildungslehre, стр. 46; Feist, стр. 438—439; Kluge, стр. 663—665; Hellquist, стр. 1008). Таким образом, представляется возможным постулировать герм. корень **smeru-* (вариант, выступающий в сочетании с некоторыми суффиксами, — **smer-*); следовательно, гот. *smairþr* со структурной точки зрения является сочетанием «корневая + суффиксальная морфема», что допускает членение *smair* + *þr*; соответственно гот. *smarna* допускает членение *smar* + *na*. Ю. Покорный приводит греч. σμύρις «наждак», которое неясно (Frisk, Lf. 18, стр. 751); скорее всего это — субстратное слово в греческом (Pok., стр. 970: **smeru*). Кроме того, данная лексема ареально весьма ограничена. На основе данного образования можно прийти к предварительному выводу, что на индоевропейском и на германском уровне не только наблюдалась различная дистрибуция детерминативов, но что детерминативы могли притягиваться к корневой и к суффиксальной морфеме, модифицируя и ту, и другую морфему, создавая в результате новые структуры корневой и суффиксальной морфем. Что касается образовавшейся таким образом новой суффиксальной морфемы в германском, то можно указать на суффикс *-kc-/-st-*, весьма продуктивный в отдельных германских языках, особенно в определенных разрядах слов. В. Майд, посвятивший данному суффиксу специальное исследование[7], полагает, что образования, как например др.-исл. *traust* «доверие», др.-в.-нем. *frist* «срок», ср.-в.-нем. *glast* «блеск», др.-сакс. *hlust* «слух», др.-исл. *nist* «пряжка», др.-англ. *hyrst* «украшение, снаряжение», гот. *austs* «милость», др.-фриз. *dūst* «пыль», др.-исл. *naust* «причал для судов» и т. д., следует интерпретировать следующим образом: суффикс *-st-* в корнях с исходом на дентальный следует рассматривать генетически как образования с суффиксом и.-е. *-ti-*. На стыке корневого и суффиксального *t* + *t* в германском, как известно, развивалось паразитическое вставное *s*; в дальнейшем это привело в западном ареале индоевропейских языков к *ss*, в восточном ареале к *st*. В. Майд полагает, что *-ss-* в германских языках относится к более позднему слою и что для западных и.-е. языков в качестве более раннего слоя следует принимать *-st*. По данным модели *s* стало использоваться в качестве согласного, маркирующего морфемные швы и при ином исходе корня и таким образом оформился в германском суффикс *-st*. В. Майд считает, что формированию нового суффикса в германском способствовало также то обстоятельство, что корни с исходом на гуттуральный часто обнаруживают детерминатив *s*, например гот. *wah-s-an* «расти», *wah-s-tus* «рост» при лат. *aug-ē-re* «увеличиваться»[8]. Вряд ли есть необходимость в принятии совершенно гипотетической «ранней»

[7] W. Meid, Über *s* in Verbindung mit *t*- haltigen Suffixen, besonders im Germanischen, IF, 69, 3, 1964, стр. 218—255; его же, Germanische Sprachwissenschaft, III, Wortbildungslehre, Berlin, 1967, стр. 163—170.

[8] W. Meid, Wortbildungslehre, стр. 166—167.

ступени *-st-* в западных и.-е. языках. Следует думать, что *-s-* возникло первоначально у корней с исходом на *-s* + суффикс *-ti-*; в дальнейшем образовавшийся таким образом новый суффикс был распространен и на корни с иным исходом; ср. др.-в.-нем. *blasân* «дуть» → др.-в.-нем. *blâst* «дуновение, порыв ветра», ср. также др.-в.-нем. *hlôsen* «выслушивать, подслушивать» → др.-сакс. *hlust* «слух» и т. д. Последний пример показателен также и в том отношении, что др.-в.-нем. *hlosên* восходит к герм. корню **hleu̯-*, и.-е. корню **k̑leu̯-*, который в ряде индоевропейских языков расширился при помощи детерминатива *-s-*; ср. др.-инд. *śr̥ṇóti* «слышит» <**k̑l̥-neu-ti*, арм. *lu* «услышанный, известный»; др.-инд. *śróṣati* «слышит, слушается» <**k̑'l-eu-s*, арм. *luṙ* «молчаливый» <**klu-s-ri*, др.-ирл. *cluas* «ухо» < *k̑lou-st-ā*. Таким образом, детерминатив *-s-* мог отходить к корню (**k̑leu̯* > *k̑leus-*), и, будучи последним элементом корня, он мог отходить к суффиксу (*blâs* + *t* > *blâ-st*). Именно таким образом совершалось преобразование как корней, так и суффиксальной морфемы в индоевропейских и в германских языках.

Рассматривая детерминатив *-d-* в обозначениях животных и насекомых в индоевропейских языках, Ф. Шпехт приводит норв. (диалектн.) *mei-t* «корзина» наряду с др.-исл. *mei-s-s* «корзина» с детерминативом *-s-* (Specht, стр. 229); в другом месте Ф. Шпехт подчеркивает: «Первоначальным значением было, вероятно, „овечья шкура", из которого развилось значение „овца". И в этом случае следует постулировать *-s-* как древний расширитель. На это указывает стоящее рядом норв. (диалектн.) *mei-t* < **maitō* „род сумки" с расширителем *-d-*» (Specht, стр. 52—53). Данный анализ является совершенно неудовлетворительным. Норв. (диалектн.) *meit* «род сумки,» ранца, дорожного мешка» (Aasen, стр. 492; Torp, стр. 420) восходит к герм. корню **mait-* «рубить, высекать, вырезать» (и.-е. **mai̯-* «рубить, вырезать, обрабатывать острым инструментом», Pok., стр. 697). В германском детерминатив *-t-*, и.-е. *-d-* в *mait-* не вычленяется (см. об этом ниже). Следовательно норв. (диалектн.) *meit* «сумка, ранец» первоначально означало «вырезанное» (из лубка, коры и т. д.) → «корзина» → → «сумка». Обозначение корзины или сумки как «плетенки», того, что сплетено из прутьев, коры, лубка, тростника и т. д., широко распространено в индоевропейских языках; ср. греч. κάνεον „корзина" < греч. κάννα «тростник»; гот. *snorjon* (дат. падеж ед. числа; только 2 Kor. 11, 33) «корзина», дословно «сплетенное из ниток, веревок», гот. *tainjo* «корзина», дословно «сплетенное из прутьев, веток» (Feist., стр. 441 и 473); др.-исл. *laupr* «корзина», дословно «сплетенное из коры, лубка» (de Vries I, стр. 348) и т. д. (более подробно см. Buck, стр. 622—624). Др.-исл. *meiss* «корзина» восходит к и.-е. **moiso-s*, **maiso-s* «овца, овечья шкура, приготовленные из нее мехи, мешки, сумки» (Pok., стр. 747); др.- инд. *meśá-* «баран», др.-инд. *mesī* «овечья шкура», авест. *maēša-* «баран, овца»; ст.-слав. *měchъ* «мех», латыш. *máiss*, *máiks*, «мешок», литов. *máišas* «мешок с сеном»; норв. (диалектн.) *meis* «корзина», нем. (диалектн.) *Meisen* «корзина, которую носят на спине» (Pok., стр. 747; Vasmer II, стр. 127, de Vries I, стр. 382; Falk — Torp, стр. 709). В данном случае *-s-* не вычленяется как детерминатив ни на индоевропейском, ни на германском уровне. Неудовлетворительным является объяснение Э. Лидена [9], согласно которому *-ss-* в *meiss* восходит к и.-е. *-tt-*, следовательно, *meiss-* «отрубленное, вырезанное». При этом объяснении остается непонятным, почему герм. **mait-* в др.-исл. дает *meita* «резать», *meitill* «резец», в то время как герм. **mait-ta* > др. исл. *meiss*. Хорошо известно, что переход и.-е. *-tt-* в *-ss-* является ареальной изоглоссой и одинаковый результат следовало бы ожи-

[9] PBB, 15, 1891, стр. 512.

дать во всех германских языках; ср. и.-е. **sett-* > герм. **sess-*. М. Фасмер справедливо возражает Э. Лидену (Vasmer II, стр. 127). Не следует думать, что вышеприведенный материал из монографии Ф. Шпехта, который должен был продемонстрировать применяемую Ф. Шпехтом методику рассечения лексем в любом индоевропейском языке с целью обнаружения детерминативов, на равных правах существовавших и в общеиндоевропейском, и в современных скандинавских или немецких диалектах,— это исключительное явление и данная методика характерна лишь для Ф. Шпехта. Укажем на то, что подобная методика обнаружения детерминативов в германских (равно как и в других) языках характерна для большинства этимологических исследований индоевропеистов и германистов. Ограничимся двумя примерами. Я. де Фриз дает в своем «Древнесеверном этимологическом словаре» следующую разработку словарной статьи *skera* «резать» (de Vries I, стр. 490); автор указывает на то, что и.-е. корень **(s) ker-* имеет много расширителей (т. е. детерминативов), а именно в древнеисландском представлены следующие:

детерминатив	(*d*) : ср. *skorta, skratti, skyrta*
»	(*t*) : ср. *skarð, skerða, skorða*
»	(*b*) : ср. *skarpr, skrapa*
»	(*p*) : ср. *skarfr, harfr*
»	(*m*) : ср. *skarmr, skremsl, skrâma*
»	(*n*) : ср. *skran, skurn*
»	(*s*) : ср. *skars*
»	(*l*) : ср. *hjarl*
»	(*ei*) : ср. *skrifa*
»	(*eu*) : ср. *skrjoðr, skrûð.*

С точки зрения методики исследования представляет несомненный интерес, что Я. де Фриз в «Нидерландском этимологическом словаре» в словарной статье *scheren* «резать» дает то же распределение детерминативов, но теперь уже применительно к современному нидерландскому языку (de Vries II, стр. 516):

детерминатив	(*d*) : ср. *schort*
»	(*t*) : ср. *schaarden, schrander*
»	(*b*) : ср. *scherp, schrapen*
»	(*p*) : ср. *scherf, schraven*
»	(*n*) : ср. *scheerling*
»	(*m*) : ср. *scherm*
»	(*s*) : ср. *scharrelen*
»	(*ei*) : ср. *schrijven*
»	(*eu*) : ср. *schroeien.*

Приведем другой пример из словаря Я. де Фриза с той лишь разницей, что в данном случае современный нидерландский язык обнаруживает большее количество детерминативов, чем древнеисландский. При разработке словарной статьи *knaap* «мальчишка, юноша, подмастерье» в современном нидерландском языке указываются следующие детерминативы (de Vries II, стр. 333—334):

детерминатив	(*bh*) : ср. др.-англ. *cnafa*
»	(*b*) : ср. *knaap*
»	(*gh*) : ср. *knecht*
»	(*r*) : ср. *knor*
»	(*s*) : ср. *knoest*
»	(*t*) : ср. *kneden*
»	(*ei* + *bh*) : ср. *knijf, knijpen, knippen*
»	(*eu* + *bh*) : ср. *knoop, knop*
»	(*g*) : ср. *knok, knokkel*
»	(*eu* + *s*) : ср. *kneuzen, knuist*
»	(*eu* + *t*) : ср. *knot, knuttel.*

При разработке словарной статьи *knappr* «пуговица» в древнеисландском языке указываются следующие детерминативы (de Vries I, стр. 320):

детерминатив	(*bh*) :	ср. *knafa*, *knefill*
»	(*b*) :	ср. *knappr*
»	(*gh*) :	ср. *knakkr*
»	(*t*) :	ср. *knoða*
»	(*r*) :	ср. *knartr*, *knǫrr*
»	(*ei*) :	ср. *knīfr*
»	(*eu*) :	ср. *knūi*

Приведенные примеры ни в какой степени не являются единичными; они отражают общепринятую методику исследования в индоевропейском сравнительном языкознании; в качестве образца можно указать на работу У. Лемана «Индоевропейский детерминатив *-dh-* в германском» [10], где приводится следующий материал из германских языков:

Др.-швед. *alda* «плодоносный дуб» <и.-е. корня *al-* «питать, кормить» + + детерминатив *-dh-*: ср. лат. *alere*, др.-исл. *ala*, *aldin* «древесный плод». В то же время связь между германским глаголом *alan* и др.-швед. *alda* «дуб» остается весьма проблематичной. Рассмотрение соотносительных рядов в других лексических группах, например др.-исл. *gala* «петь, произносить магические заклинания» ~ др.-исл. *galdr* «магическая песнь»; др.-исл. *kala* «мерзнуть» ~ др.-исл. *kaldr* «холодный» и др., заставляет *-d-* в *alda* скорее соотнести с герм. *-þa-/ða-*, образующим суффикс причастия II у претерито-презентных и слабых глаголов и выступающим в адъективированной функции и у ряда сильных глаголов; ср. др.-исл. *deyja* «умирать» ~ др.-исл. *dauþr* «мертвый», др.-в.-нем. *al-t* «старый» < герм. **alan*, собственно «выросший, взрослый» и др. (Kluge, Nominale Stammbildungslehre, стр. 108). Точно так же более чем сомнительна связь гот. *alan* «расти» (засвидетельствована лишь форма причастия настоящего времени *alands* — 1 Tim. 4, 6, а также форма причастия прошедшего времени от каузативного глагола *aljan* — *alidan* (*stiur þana alidan* τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν «и приведите откормленного теленка» Luk. 15, 23) с гот. *alds* «возраст, время», *alþeis* «старый», *alls* «все, весь» (Feist, стр. 34). Таким образом, основания для постулирования детерминатива *-dh-* в др.-швед. *alda* весьма шатки.

Гот. *fotubaurd* «скамеечка для ног», др.-исл. *borð*, др.-англ. *bord*, др.-в.-нем. *bret* «доска» и вычленение в данной группе слов детерминатива *-dh-* (ср. греч. πέρθω «разрушаю») представляют более сложный случай для анализа или образуют «переходную» группу, в терминологии В. Н. Ярцевой [11]. Дело в том, что в германском представлена производящая основа ** ber-/bor-* «резать, отрезать, сверлить, рубить, бить» (ср. др.-исл. *berja* «бить, ударять, крушить», др.-сакс. *boron* «сверлить»), от которой образованы *-baurd*, *bret* и др. Остается неясным, в какой мере продолжала ощущаться семантическая связь между **ber* «резать» и *bord* «доска». Скорее всего в германском *berja*, *borôn*, с одной стороны, и *bord* — с другой, относились к двум различным корням: герм. **ber-* и **berd*, и.-е. **bher-* и **bherdh-*.

Гот. *unmildjai* «нелюбимый, неприветливый» (ἄπαξ λεγόμενον 2 Tim. 3,3: *unmildjai* ἄστοργοι), др.-исл. *mildr*, др.-англ. *milde*, др.-в.-нем. *milti* «ласковый, нежный» относятся к той же переходной группе, но связь данных слов с герм. *malan* «молоть, дробить» несомненна; ср. др.-в.-нем.

---

[10] W. Lehmann, The Indo-European *-dh-* determinative in Germanic, «Language», 18, 2, 1942, стр. 125—132; эта работа является частью докторской диссертации В. Лемана.

[11] В. Н. Ярцева, Историческая морфология английского языка, М.—Л., 1960, стр. 18.

molta, др.-англ. *molde* «земля», совр. англ. *mould* «взрыхленная (садовая) земля»; гот. *malma* «песок», др.-исл. *malmr* «руда», др.-англ. *mealmstán* «песчаник» (Kluge, стр. 453). На основании приведенного материала представляется вероятным вычленение *-d-* в германских образованиях.

Гот. *spaurds*, др. -англ. *spyrd*, др.-в.-нем. *spurt* «ристалище» сопоставляются с др.-инд. *spr̥dh-* «бороться, состязаться» (Feist, стр. 443—444). На этом основании вычленяется детерминатив *-dh-* в германских образованиях. В то же время *spaurds* и др. представляют в германском опрощенные основы, в которых конечный элемент *-d/-t* не вычленяется и какие-либо связи с глагольными основами в германском отсутствуют. Следовательно, не представляется возможным вместе с У. Леманом в *spaurds* вычленить *spaur* + детерминатив *-dh-*.

Др.-исл. *vað* «ткань», др.-англ. *wǣd*, др.-в.-нем. *wât* «одежда» сопоставляются с др.-инд. *ōtum* «ткань» и возводятся к и.-е. корню *au̯-* с детерминативом *-dh-*. В германском нет никаких следов и.-е. корня **au̯-* «ткань, одевать»; представлен лишь корень *ued-*, в котором последний элемент не вычленяется.

Гот. *waurd*, др.-исл. *orð*, др.-англ. *word*, др.-в.-нем. *wort* «слово» сопоставляется с лат. *verbum* «слово», литов. *vardas* «имя» и возводится к и.-е. корню *u̯er* «говорить», греч. ἐίρω «я говорю» + детерминатив *-dh-* (P. Persson, Beiträge, стр. 565; Feist, стр. 554). В отношении германского данный анализ неудовлетворителен по соображениям, которые относятся и к вышеприведенным примерам: в германских языках не представлена глагольная основа **u̯er-* «говорить»; поэтому для *waurd*, *word* и др. можно постулировать лишь **u̯erd-/u̯ord-* в качестве исходного образования, т. е. уже в общегерманском произошло опрощение элемента - *d* < и.-е. **-dh-* с корнем, который на германском уровне не вычленяется. То же замечание относится и к примеру У. Лемана: др.-исл .*glaðr*, др.-англ. *glæd* «радостный», которые автор рассматривает как образования с «и.-е. *ā* и детерминативом *-dh-*» (стр. 127). Германские формы восходят к общегерманскому **glad-*, причем *-d-* не вычленяется из состава корня; в свою очередь **glad-* восходит к и.-е. *glədh-*; лат. *glaber* «гладкий, лысый» и лишь литов. *glodùs* «гладкий, нежный», др.-прус. *glosto* «точило», ст. -слав. *gladъkъ* «гладкий» указывают на *ā*. Следовательно, и.-е. *glədh-* представляет опрощенную структуру корня с детерминативом *-dh-*, впаянным в состав корня уже на индоевропейском этимологическом срезе; тем самым нет никаких оснований для вычленения детерминатива *-dh-* в германском *glad-*.

В таком же плане следует рассматривать и следующий пример У. Лемана: др.-в.-нем. *muntar* «живой, бодрый», гот. *mundrein* «цель» (только дат. падеж ед. числа — Ph. 3, 14: *bi mundrein afargagga* κατὰ σκοπόν διώκω «стремясь к цели») в сопоставлении с литов. *mundrùs* «бодрый, гордый», ст.-слав. *modrъ* «мудрый» позволяет восстановить и.-е. **mendh-*, которое в свою очередь является корнем **men* + детерминатив *-dh-*. У. Леман подчеркивает: «С добавлением *-dh-* происходит изменение значения от „думать“ > „обращать внимание, быть добрым, живым“» (стр. 128). В то же время др.-в.-нем. *muntar*, др.-исл. *munda* «целиться», гот. *mundrei*, **mundon* «обращать внимание на», ср.-нидерл. *menderlike* «благоговейный» позволяют восстановить общегерманский корень **mend-/mund-*, и.-е. **mendh-*. Связи с и.-е. **men-* «думать» (гот. *munan* «полагать», др.-в.-нем. *manon* «напоминать, увещевать», др.-англ. *man* «я помню»), герм. **men* «думать, вспоминать», у герм. **mend-/mund-* не существуют и детерминатив *-dh-* в германском не вычленяется (см. Kluge, стр. 454 и 494).

Др.-англ. *grindan* «растирать, молоть», др.-исл. *grondi* «мель (под водой)» У. Леман возводит к и.-е. *gher-*, *ghren-* «тереть» + детерминатив *-dh-*, ссылаясь на словарь Вальде — Покорного, которые полагают, что

корень с детерминативом *-dh-*, в отличие от простого корня, имеет значение усиления действия: «растирать изо всех сил» [Walde — Pokorny, I, стр. 605—606; 656—657; важно отметить, что Ю. Покорный в словарной статье *ghren-dh* дает те же значения, что и при *gher-*, тем самым снимая усилительную функцию детерминатива *-dh-* (Pok., стр. 459)]. Германский материал заставляет постулировать общегерманский корень **grend-*; тем самым *-d-* в германском не вычленяется.

Готск. *undredan* «заботиться», др.-исл. *ráða*, др.-англ. *rǽdan*, др.-в.-нем. *râtan* «советовать» У. Леман возводит, опираясь на Вальде — Покорного (Walde — Pokorny, I, стр. 69—75), к и.-е. корню **-ar-* с детерминативом *-dh-* (Pok., стр. 59—60). В то же время германская лексическая группировка восходит к герм. корню **rēd-*; обращает на себя внимание, что подавляющее большинство индоевропейских параллелей к герм. **rēd-* обнаруживает в корне *-dh-*; ср. др.-инд. *rādhnóti*, *rā́dhyati* «совершает», авест. *raδaiti* «приготовляет», ст.-слав. *raditi* «радеть», др.-ирл. *immrādim* «обдумываю» (Kluge, стр. 584); лат. *reor*, *rērī* «полагать, считать» заставляет постулировать и.-е. *rē-/rə-* с детерминативом *-dh-* на индоевропейском уровне, но на германском уровне *-d-* входит в состав корня и не вычленяется. Точно так же и гот. *waldan*, др.-исл. *valda*, др.-англ. *wealdan*, др.-в.-нем. *waltan* «господствовать, править», которые У. Леман возводит к и.-е. корню **u̯al-* с детерминативом *-dh-* (ср. лат. *valēre* «быть сильным»). В действительности и.-е. корень **u̯al-* «быть сильным» представлен без детерминатива в лат. *valēre* «быть сильным, иметь значение» и тохар. А *wäl*, тохар. В *walo* «царь» (van Windekens, стр. 156 и 200); в германском корень **u̯al-* представлен как **u̯alt-/d-*; ср., кроме вышеприведенных примеров, др.-исл. *olla* <**wolþa*: претерит от глагола *valda* (Walde — Hofmann II, стр. 727—728) и *-t/-d* входит в состав корня, поскольку в германском не представлена производящая основа **wal-* в значении «быть сильным».

Описывая таким образом статус и функции индоевропейского детерминатива *-dh-* в германском, У. Леман приходит к следующему выводу: «Модификация значения, обнаруженная в германских словах, содержащих детерминатив *-dh-*, отлична от того, что Э. Бенвенист обнаружил в индоевропейском или в греческом. Значение детерминатива *-dh-* в германском — это не обозначение состояния, а скорее обозначение в именах, образованных от транзитивных корней, модификации значения страдательного прошедшего, в именах, образованных от интранзитивных корней,— обозначение модификации, вызванной предшествующим действием, и в глаголах — обозначение модификации, вызванной предшествующим действием. В общегерманскую эпоху еще существовала связь между простым корнем и корнями с детерминативами» [12]. Весь наш анализ был по сути дела посвящен опровержению этого положения, дальнейший материал будет приведен ниже. Можно было бы принять подобную методику исследования в том случае, если бы удалось доказать, что в общегерманском детерминативы имели примерно такой же статус и такую же функциональную нагрузку, а также такую же дистрибуцию, как в общеиндоевропейском или в других индоевропейских языках и что принципы членимости детерминативов в германском сохранялись примерно в том же виде, как и в общеиндоевропейском. Однако принципы членимости детерминативов, следовательно, их место, их функции и их валентность в общегерманском, как было показано выше и как будет показано дальше, были существенно отличны от общеиндоевропейского состояния. Вопрос о соотношении германских и индоевропейских детерминативов неудовлетворительно решается преж-

[12] W. Lehmann, указ. соч., стр. 132.

де всего потому, что исследователи не проводят никакого различия между детерминативами на индоевропейском и на германском уровне. Индоевропейские детерминативы описываются в германском с точки зрения их индоевропейского состояния. Вопрос решался бы весьма просто в том случае, если бы удалось доказать, что в германском детерминативы вообще не представлены и, следовательно, не вычленяются, и поэтому анализ детерминативов в германских, равно как и в других индоевропейских языках, возможен только с точки зрения их индоевропейского статуса. Однако вопрос весьма осложняется тем, что есть основания для постулирования определенных детерминативов в общегерманском. Именно это обстоятельство заставляет описывать детерминативы в германском на германском, а не на индоевропейском уровне. В этой связи следует обратить внимание на то, что, в общем языкознании, особенно в синхронной лингвистике и в описательной грамматике всеобщим признанием пользуется положение, согласно которому определенное состояние языка, его конститутивные единицы и отношения между ними должны описываться прежде всего в терминах данного состояния. Хорошо известно, что около ста лет тому назад И. А. Бодуэн де Куртенэ выставил постулат, намного опередивший его время и ставший аксиомой современного теоретического языкознания: «То же требование генетической объективности вполне применимо и к исследованию разных языков вообще: видеть в известном языке без всяких дальнейших околичностей категорию другого языка не научно; наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обусловливая его строй и состав» [13].

Необходимо описать условия, в которых происходит или может происходить вычленение детерминативов на индоевропейском или на германском уровне. В качестве общего принципа сегментации лексем на корень и детерминатив и вычленение детерминативов на индоевропейском или на германском уровне можно дать следующий постулат: детерминативы в индоевропейском и в германском вычленяются лишь в том случае, когда реально представлена производящая и производная основа, когда наблюдается вариативность конечных элементов производной основы при наличии производящей основы, когда обнаруживаются достаточно тесные семантические связи между производящей и производной основой, содержащей детерминатив, когда этимологический анализ (или этимологическая сегментация) лексем производится при строгом соблюдении хронологического среза, на котором находится данная лексема. Если эти условия отсутствуют, то не представляется возможным производить сегментацию лексемы на корень и детерминатив, вычленение детерминатива оказывается невозможным. Выше были приведены примеры неверного вычленения детерминативов в германском (например, герм. *word-* «слово» с детерминативом *-dh-* в германском при отсутствии производящей основы **uer-* «говорить»; ср. греч. ἔιρω «говорю».) Здесь следует привести примеры сегментации лексемы на корень и детерминатив на индоевропейском и на германском уровне, отвечающей вышеуказанным условиям:

I. И.-е. корень **bhā-* «светить, блестеть» представлен в др.-инд. *bhā-ti* «светит, сияет», причастие *bhā-ta-*, в сложениях *abhi-bhā́-* «дурной глаз»

[13] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды по общему языкознанию, I, М., 1963, стр. 68. Заслуживает внимания то, что Г. Курциус, которому принадлежит термин «детерминатив», различая в становлении индоевропейского праязыка семь хронологических срезов, в том числе I срез — период корней и II срез — период детерминативов, указывал на то, что «язык использует те же средства в различные эпохи совершенно различным образом» (G. Curtius, Zur Chronologie dgr indogermanischen Sprachforschung, «Abhandlungen der Königlichen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften», Philol.-histor. Klasse, V, 3, Leipzig, 1867, стр. 193).

(Mayrhofer, II, стр. 493—494). От этой производящей основы в древнеиндийском представлены образования с детерминативом *-s-*: др.-инд. *bhās-* «свет, сияние, блеск, мощь», *bhāsa-* «свет, блеск» *bhāsati* «светит, сияет» в сложениях *subhās* «имеющий прекрасный блеск» (Mayrhofer, II, стр. 498—499; Pok., стр. 104—105), др.-инд. *bhā́ti*: *bhā́sati* заставляет постулировать детерминатив *-s-*.

II. Герм. корень **ster-* «застывать, коченеть, быть твердым, крепким, неподвижным» представлен в производящей основе др.-исл. *stara* «пристально смотреть, уставиться на», др.-в.-нем. *starên* др.-англ. *starian* «пристально смотреть, уставиться на». От основы **star-* в германском образованы с детерминативом *-k-*, и.-е. *-g-*: герм. **stark-* «сильный», др.-в.-нем. *starc* (*h*), *star* (*a*)*h*, др.-фриз. *sterk*, др.-англ. *stearc* «сильный» [гот. **starks* в имени собственном *Starcedius* <**Starkaiþeis* (остгот.): Schönfeld, стр. 209; Kluge, стр. 740]; и.-е. **ster*(*e*)*g-*; от той же основы в германском образованы с детерминативом *-b-*, и.-е. *-bh-*: др.-исл. *stjarfi* «судорога», *stirfinn* «упрямый», *starf* «усилие, мучение, труд», норв. (диалектн.) *starve* «замерзнуть, окоченеть, умереть, сдохнуть (о животных)», *starva av* «умереть, окоченеть, умереть от холода» (Torp., стр. 707), др.-в.-нем. *sterban*, др.-фриз. *sterva*, др.-англ. *steorfan* «умереть», и.-е **ster-bh* (Pok., стр. 1022; Kluge, стр. 746; Onions, стр. 864). В правильности данного анализа убеждает наличие соотносительных рядов: др.-в.-нем. *scirbi*, ср.-в.-нем. *schërbe*, ср.-нидерл. *scarf* «обломок, черепок», норв. *skarf* «утес», восходящих к герм. корню **sker-* «резать, отсекать» с детерминативом *-b-*, и.-е. *-bh-* (Kluge, стр. 643—644); др.-исл. *hrúðr* «струп», др.-в.-нем. *riudî*, *hrûda*, др.-сакс. *hrutho*, др.-англ. *hrûðe* «парша, лишай»: др.-исл. *hrjúfr* «шершавый, шероховатый» (de Vries I, стр. 258—261; Kluge, стр. 586). Итак, в том случае, если германская лексема допускает сегментацию на корень и детерминатив в соответствии с вышеуказанными условиями, то представляется возможным принимать наличие детерминатива на германском уровне; в противном случае, если сегментация лексемы не отвечает данным условиям, приходится констатировать, что индоевропейский детерминатив в германском вошел в состав корня, который подвергся процессу опрощения и на германском уровне предстает как новая структурная единица по сравнению с и.-е. корнем: и.-е. **ϱer-*, герм. *wurd-*/*word-*. Естественно, что в связи с этим соотношение производящей и производной основы в индоевропейском и в германском изменяется: то, что на индоевропейском уровне являлось производной основой, на германском уровне, в силу процесса опрощения корня, отныне предстает как производящая основа, выступающая как исходная для различных производных образований. В данном случае соотношение корня и детерминатива уступает место соответствию корневой и суффиксальной морфемы.

Сопоставление индоевропейских и германских корней показало, что на германском уровне сегментация этимона на корень и детерминатив невозможна, ибо в германском детерминатив стал составной частью корня и тем самым отсутствует оппозиция основной и производной формы: в германском наступило опрощение корня. Процесс опрощения наблюдается у довольно значительного количества германских корней.

Теперь рассмотрим те случаи, где в германском представлена оппозиция основной и производной формы и где, следовательно, вычленение детерминативов на германском уровне оказывается возможным.

Герм. корень **skī-* «светить, сиять, блестеть, казаться» в виде основной формы (т. е. как чистый корень без детерминативов) представлен в др.-исл. *skí* «притворство, обман, волшебство» (Heggstad, стр. 579); Клизби и Вигфюссон на стр. 550 приводят формулу *undr ok argskap*, *Skí ok skrípi ein*, где *skí* выступает синонимом *skrípi* «явление, призрак, фантом» (Cleasby —

Vigfusson, стр. 558); от *ski образовано с детерминативом -n-: др.-исл. skína, гот. skeinan, др.-англ. scínan, др.-фриз. skina, др.-в.-нем. skînan «светить, блестеть, являться, казаться»; с детерминативом -m-: гот. skeimam (дат. падеж. мн. числа; только J. 18, 3: miþ skeiman... μετὰ φανῶν «со светильниками») «светильник», др.-сакс., др.-в.-нем. scimo «блеск, свет», др.-исл. skim(e) «светильник», др.-англ. scima, др.-сакс. scimo «тень», ср.-в.-нем. scheim «свет, блеск»; с детерминативом -r-: гот. skeirs «ясный, отчетливый», др.-исл. skírr, др.-англ. scír, др.-фриз. skire, др.-сакс. scīr(i) «ясный, чистый, прозрачный, отчетливый», др.-исл. skjár «прозрачная пленка (служащая вместо оконного стекла)» (Feist, стр. 431—432; de Vries, I, стр., 492—495; Kluge, стр. 641; Pok., стр. 917—918).

Герм. корень *skeu̯- «покрывать, укрывать, закутывать» в виде основной формы представлен в др.-исл., норв. (диалектн.) skjá, skjaa (<*skeu̯ā) «сарай, сушильня» (часто с одним навесом без стен), собственно «укрытие» (Torp, стр. 598; Jóhannesson, стр. 815), от *skeu̯- образовано др.-исл. skýˇ (<*skeujo-) «облако», др.-англ. scío, др.-сакс. scio «облако», др.-в.-нем. skû, skuwo «тень», др.-исл. skuggi «тень, отражение, призрак», гот. skuggwan (вин. падеж ед. числа, только 1 Kor, 13, 12: saiwam nu þairh skuggwan... βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσοπτροι «теперь мы видим как бы сквозь стекло»); с детерминативом -n-: др.-в.-нем. scugin(a), ср.-в.-нем. schiun(e) «сарай, укрытие», норв. (диалектн.) skygne «убежище, хижина, шалаш» (<*skeu̯in-); с детерминативом -l-: др.-исл. skjól «укрытие, прибежище, сарай», совр. исл. skjól «защита, укрытие, убежище (от непогоды, холода)», др.-фриз. skūl, дат. skjul, швед. skjul «укрытие, убежище», ср. греч. σκύλος «шкура», др.-исл. skýla «защищать»; с детерминативом -r-: др.-в.-нем. scûr «укрытие, навес», ср.-в.-нем. schur «защита, укрытие», др.-в.-нем. sciura (более ранняя форма scûra), ср.-н.-нем. schûre, нидерл. schuur, совр. нем. Scheuer «сарай, рига, навес»; с детерминативом -m-: др.-исл. skúmi «сумерки», норв. (диалектн.) skūme «темный»; без начального s-: др.-исл. hûm «сумерки» (de Vries I, стр. 495—508; Kluge, стр. 645; Nielsen, стр. 338; Feist, стр. 435; Pok., стр. 951—952).

Герм. корень *mel- (mal-, mul-) «дробить, раздробить, растирать, молоть» в основной форме представлен в др.-исл. mala, др.-в.-нем., др.-сакс. malan, гот. malandeis (им. падеж мн. числа причастия I; только Luk. 17, 35: twos wairþand malandeins samana, δύω ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό. «две будут молоть вместе») «молоть»; ср. др.-ирл. melim (Vendryes, II, стр. 32), арм. malem «дроблю», хет. mallai, mallanzi «он мелит, они мелят» (Friedrich, стр. 133), ст.-слав. meljǫ «мелю», литов. malù, лат. molō «мелю», возможно греч. μύλλω «мелю» (Frisk, Lief. 13, стр. 269: für sich steht μύλλω=βινεω); др.-исл. mylja, др.-в.-нем. mullen, muljan, ср.-в.-нем. müllen «дробить»; с детерминативом -t-, герм. -d-: гот. mulda «прах, пыль», др.-исл. mold «прах, земля» «Jorðheitir með monnom, en með ásom fold», Alv., 10, 1—2: «Земля у людей называется joro, а у асов — fold»), др.-англ., др.-фриз. molde, др.-в.-нем. molta «прах, земля; с детерминативом -k-, герм. -h-: др.-исл. melr, совр. исл. melur «холм щебня, земля, покрытая гравием» <*melhaz; норв. (диалектн.) mel, швед. (диалектн.) mjälu «песок»; с детерминативом -m-: др.-исл. malmr «руда, металл», норв., швед. malm «руда, песчаная равнина», гот. malma «песок», др.-сакс. melm «прах, пыль», совр. нем. Mulm «труха, рыхлая земля»; с детерминативом -n-: др.-исл. mjoll «свежевыпавший снег, пороша» <*melnā, швед. (диалектн.) mjäla (вариант mjälla) «песчаная земля»; с детерминативом -dh-, герм. -d-: гот. þo mildiþo? (только Ph. 2, 1: τινα σπλαγχνα «если есть такое милосердие»?) «милосердие, кротость», др.-в.-нем. milti, др.-англ. mildo «кротость, мягкость, милосердие»; др.-исл. mildr, др.-фриз. milde, др.-сакс. mildi, др.-в.-нем.

milti «мягкий, кроткий, милосердный» (семантический переход: раздробленный → размягченный → мягкий → нежный) (de Vries, I, стр. 377; Feist, стр. 342, 359, 366; Kluge, стр. 453; Pok., стр. 716—719).

Герм. корень **skel-* «резать, отрубать, отсекать» (с *s*-mobile, *hel-* в том же значении) в основной форме представлен в др.-исл. *skel* «скорлупа» <**skaljā, skilja* «рубить, отрубать, отделять, различать, понимать», гот. *skaljos* (вин. падеж мн. числа; только Luk. 5, 19: *ussteigandans ana hrot and skaljos*, ἀναβάντες ἐπι τὸ δῶμα διά τῶν κεραμων «влезли на верх дома») «черепица», гот. *skilja* (только *at skiljam*) «мясник» (семантически ср. нем. *schlachten* «резать скот», *Schlächter* «мясник»), др.-англ. *áscielian* «отделять, удалять», ср.-н.-нем. *schelen* «отделять», др.-англ. *scolu*, др.-сакс. *skola* «отряд, отделение»; с детерминативом *-m-*: др.-исл. *skǫlm* «зубцы вилки, ножницы, меч», дат. *skalm* «тонкий кусок дерева»; с детерминативом *-dh-*, герм. *-d-*: др.-исл. *skalda* «парбм», ср.-в.-нем. *schalter* (вариант *schelter*) «задвижка, засов, запор»; с детерминативом *-g-*, герм. *-k-*: швед. *skulk* «отпиленный пень»; нем. (бавар.) *schalken* «колоть, рубить», фриз. (диалектн.) *schalk* «деревянный колышек» (Feist, стр. 432—433; de Vries, I, стр. 488; Falk — Torp, стр. 994; Pok., стр. 923—927).

Герм. корень **reu̯-* «разрывать, раздирать, рвать, срывать, ощипывать, рыть» в основной форме представлен в др.-исл. *rýja* «вырывать шерсть (у овец)», др.-сакс. *rûwi* «грубая шкура», др.-исл. *rǫgg* (вариант *rǫggr*) «длинная шерсть» <**rau̯u̯ā*; швед. (диалектн.) *rugg*, *ragg*, др.-дат. *rag* «грубый волос», норв. (диалектн.) *rū* «зимняя шерсть (у овец)»; ср. лат. *ruō* «разрывать, рыть»; с детерминативом *-p-*, герм. *-f-*: др.-исл. *rjúfa* (вариант *rjófa*) «разрывать, рвать, срывать, ломать», др.-швед. *riuva*, др.-дат. *rufæ*, др.-англ. *reofan* «рвать, разрывать, ломать»; ср. лат. *rumpō* «ломаю, рву, разрываю»; с детерминативом *-b-*, герм. *-p-*: гот. *raujpan* «рвать, ощипывать», др.-исл. *ruppa*, ср.-в.-нем. *rupfen*, ср.-англ. *ruppen* <**ryppjan* «рвать, ощипывать», др.-англ. *árīpan* «сдирать, грабить»; ср. лат. *rubus* «ежевика, ежевичный куст»; с детерминативом *-d-*, герм. *-t-*: др.-исл. *reyta* «рвать, срывать», фарер. *royta* «рвать, срывать, разрывать» (Jacobsen — Matras, стр. 339), ср.-н.-нем. *rüten*, ср.-нидерл. *ruyten* «грабить»: ср. тох. В rautk- «уносить, похищать» (van Windekens, стр. 105); с детерминативом *-dh-*, герм. *-d-*: др.-исл. *rjóða* «корчевать, вырывать», ср.-в.-нем. *rieten* «искоренять, уничтожать», др.-исл. *rjóðr* «прогалина», др.-в.-нем. *riuten* «корчевать», др.-англ. *áryddan* «похищать, грабить, лишать», др.-фриз. *tōrotha* «искоренять, уничтожать» (Richthofen, стр. 998); с детерминативом *-k-*, герм. *-h-*: др.-исл. *rý* <**ruhwiōn* «шерстяное одеяло», др.-англ. *rūhe*, *rúwa*, *réowe* «шерстяное одеяло», др.-в.-нем. *rûh* «ворсистый, грубый» (de Vries, I, стр. 455; Kluge, стр. 586, Feist, стр. 395; Falk — Torp, стр. 913—914; Pok., стр. 868—870).

Герм. корень **gei̯-* «зиять, быть раскрытым, зевать» в основной форме представлен в др.-исл. *gjá* < **gīu̯ō* «пропасть, расселина», фарер. *gjógv*, *gjá*, норв. (диалектн.) *gjō*, *jō* «расселина», др.-в.-нем. *giwên* (вариант *giwôn*), *gîên* «раскрывать рот, зевать», ср.-нидерл. *heeuwen* «зевать», др.-англ. *giwian* «требовать»; с детерминативом *-n-* (в германском в глагольной системе вошедшем в состав суффикса *-na-/-no-*): др.-исл. *gina* «зевать», др.-в.-нем. *ginên*, др.-англ. *togínan* «зевать», др.-исл. *gína*, «зиять», др.-исл. *gin*, др.-англ. *gin* «пропасть»; с детерминативом *-m-*: др.-исл. *gíma* «отверстие, расселина», норв. *gima* «отверстие», швед. (диалектн.) *gima* (вариант *gimman*) «отверстие в печи» (Rietz, стр. 192), нем. (швейц.) *Gīm* «отверстие», др.-исл. *geimi* «морская пучина»; с детерминативом *-l-*: др.-исл. *gil* «ущелье, расселина», норв. *gil* «расселина, ущелье», швед. (диалектн.) *gilja* «ложбина, теснина, ущелье» (Rietz, стр. 192), др.-в.-нем. *gil* «грыжа», др.-исл. *geil* «ложбина, теснина»; с детерминативом *-b-*, герм. *-p-*: швед. (диалектн.)

gipa «расселина», др.-исл. *gípr* «пасть, зев», др.-англ. *gípian* «тяжело дышать, ловить ртом воздух» (de Vries, I, стр. 169; Jóhannessen, стр. 300—305; Pok., стр. 419—422). Вышеприведенный материал не оставляет никакого сомнения в том, что детерминативы вычленялись на германском уровне; в ряде случаев процедура вычленения детерминативов в германском носила тот же характер, что и в индоевропейском (ср. выше примеры с др.-инд. *bhā́ti* «сияет» и др.-инд. *bhā́sati* «сияет»), но следует еще раз подчеркнуть, что процессы опрощения и переразложения детерминативов в германском значительно отличались от тех же процессов в индоевропейском; в германском детерминативы столь часто отходили к суффиксам, что во многих случаях приходится говорить о германских суффиксальных морфемах, хотя с этимологической точки зрения они восходят к детерминативам. Так, выше приводилось др.-исл. *gína* (также *gina*) с детерминативом *-n-* и это бесспорно оправдано на германском уровне, поскольку в германском представлена оппозиция основной и производной формы, поскольку производная форма характеризуется вариативностью и поскольку в германском представлены другие соотносительные лексико-семантические ряды, где также вычленяется детерминатив *-n-*; ср. др.-исл. *gjá* — *gína* — *gíma* — *gill*, швед. (диалектн.) *gipa*; ср. др.-исл. *skí* — *skína* — *skim(e)* — *skírr*; ср. др.-в.-нем. *skû*, ср.-в.-нем. *schiun(e)*, др.-фриз. *skūl*, др.-в.-нем. *scûr*, др.-исл. *skúmi*. В то же время детерминатив *-n-* в германском входит в суффиксальную морфему *-na/-no*. М. М. Гухман справедливо обращает внимание на двойственную позицию *-n-* в германской глагольной системе и подчеркивает: «Сами древние носовые оформители-детерминативы, сохранившиеся в форме либо изолированных презентных показателей типа инфигированного *-n-* в готск. *sta-n-d-an* «стоять» — *stoþ* «стоял», либо суффигированного *-n-* в *fraih-n-an* «спрашивать» — *fraih* «спрашивал», не являются компонентами германской словообразовательной системы. В равной степени данное положение относится к оформлению другой группы глагольных основ с носовым показателем, ср. готск. *skei-n-an* «сиять, светить», ср. *skei-r-s* «ясный»; др.-исл. *gí-n-a*, др.-англ. *gá-n-ian*, др.-в.-нем. *gei-n-ôn* «зевать», но др.-в.-нем. *gî-ê-n* «зевать»; готск. *kei-n-an* «прорастать», но причастие *kijans*, др.-англ. *cí-n-na* «треснуть», лопнуть», но др.-в.-нем, др.-сакс. *kî-m-o* «росток», др.-англ. *cí-ð* «росток, зародыш»; др.-исл. *spor-n-a*, др.-в.-нем. *spor-n-ôn* «толкнуть ногой», ср. др.-исл. *spori* «шпора», *spor* «след»; др.-в.-нем. *ler-n-ôn*, др.-англ. *leor-n-ian* «учиться» наряду с переходным глаголом готск. *lais-ja-n* «учить» и претерито-презентным глаголом гот. *lais* «(я) знаю». Во второй группе *-n-* + + *-ô-* этимологически легко опознается в функции оформителя презентной основы преимущественно медиального значения, соотнесенной с разными типами производящих основ (прилагательные, существительные, глаголы). Однако эти глаголы второй группы, число которых может быть умножено, представляют собой разрозненные образования и не входят как определенные продуктивные модели в систему глагольного словообразования германских языков» [14].

Следует также обратить внимание на соотношение детерминативов и формативов, между которыми некоторые исследователи были склонны ставить знак равенства. Так, Г. Хирт прямо настаивал на тождестве детерминативов. Перечисляя индоевропейские детерминативы *om*, *i*, *u*, *ā*, *k*, *g*, *t*, *d*, *r*, *l*, *s*, *n*, *w*, Г. Хирт рассматривал их в системе индоевропейского именного склонения: формативы им., род., вин., отлож., местн. падежей

---

[14] М. М. Гухман, Глагол в германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 190—191.

ед. и мн. числа [15]. Такой же точки зрения придерживается и Ф. Шпехт в своей монографии о происхождении индоевропейского склонения [16]. Так, Ф. Шпехт указывал: «...удивительным образом оказывается, что все расширители (т. е. детерминативы.— *Э. М.*): *k/g*, *t/d*, *s*, *e/o*, *i*, *u*, *n/men*, *i/r*, которые выше были добыты нами на основе тщательного анализа, выступают как основы указательных местоимений и должны быть одного с ними происхождения. Тем самым индоевропейские классы склонения это — не что иное, как сочетание корня с основой указательного местоимения» [17]. В то же время следует решительно отвергнуть подобную точку зрения. Если в этимологическом плане детерминативы и формативы могут быть возведены к тождественным единицам, что может быть доказано далеко не во всех случаях, то в синхронном плане детерминативы и формативы представляют качественно различные образования. Г. Хирт, который, как только что было подчеркнуто, настаивал на тождестве детерминативов и формативов, все же подчеркивал: «Элементы, выступающие как корневые детерминативы, в значительной части те же самые, что и те, которые выступают у имени как детерминативы. Разница лишь та, что кое-что чаще представлено в системе глагола, а кое-что — в системе имени. Это естественно, ибо в основном глагольные или корневые детерминативы восходят к значительно более раннему времени, чем именные детерминативы. Но внешность может быть обманчива и корневые детерминативы могут иметь иное происхождение, например, корневой детерминатив *-dh-* возможно возник из самостоятельного слова... Таким образом, здесь не следует все стричь под одну гребенку. Кроме того, следует учитывать адаптацию в том смысле, что определенное слово подравнивалось под семантически родственное другое слово. И, наконец, в исходе индоевропейских баз в позиции перед формативами или суффиксами могли исчезать звуки, что приводило к образованиям, целиком имеющим вид корневых детерминативов» [18]. Различия между детерминативами и формативами сказываются прежде всего в том, что д е т е р м и н а т и в ы являются одной из конститутивных единиц деривационного уровня, ф о р м а т и в ы являются одной из конститутивных единиц морфологического или парадигматического уровня. Независимо от своего происхождения они существенно различны функционально и по месту, которое они занимают в определенной подсистеме. Ф. Шпехт рассматривал в о д н о м ряду детерминатив *-s-* в таком германском образовании, как др.-в.-нем. *flahs* «лен» и в *s*-основах (в которых в германском *s* → *r* по известному акцентному закону) или детерминатив *-k/-g* в германском словообразовании и в парадигме некоторых местоимений [19]. В то же время можно указать на некоторые формальные различия между детерминативом и формативом: так, детерминатив *-s-*, выступающий на германском уровне в таких образованиях, как др.-швед. *lō* «рысь» <герм. **luha*; ср. др.-в.-нем. *luhs* «рысь» <герм. **luhsa*; др.-сакс. *lohs*, др.-англ. *lox*, ср.-н.-нем. *los* «рысь»; арм. *lusanunk'* (им. падеж мн. числа) [20]; литов. *lúšis*, др.-прус. *luysis*, русск. *рысь* (Pok., стр. 690; Hellquist, стр. 583; Kluge, стр. 447; Hübschmann, Armenische Grammatik, стр. 454); др.-исл. *fóa* «лисица» <герм. **fuhōn*, гот. *fauhons* (им. падеж мн. числа), др.-в.-нем. *foha*, ср.-в.-нем. *vohe*, ср.-н.-нем. *vohe*

[15] H. H i r t, Indogermanische Grammatik, III, Heidelberg, 1927, стр. 86—165; е г о ж е, Handbuch des Urgermanischen, II, Heidelberg, 1932, стр. 6—11.

[16] F. S p e c h t, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, особенно стр. 289—386.

[17] F. S p e c h t, указ. соч., стр. 308.

[18] См.: H. H i r t, Indogermanische Grammatik, III, стр. 242.

[19] F. S p e c h t, указ. соч, стр. 289 и сл.

[20] Эта форма засвидетельствована один раз: «Pseudokallisthenes» (История Александра), Венеция, 1842, стр. 142 (грабар, V в.).

(вариант *vō*) «лисица»; др.-в.-нем. *fuhs*, др.-англ. *fox*, др.-сакс. *vohs*, ср. инд. *vos* «лиса» (Feist, стр. 144; Kluge, стр. 222; Hellquist, стр. 247; de Vries, I, стр. 136; Pok., стр. 849) — представлен лишь одним аллофоном [s]; в то же время форматив *-s-* в *s*-основах в германском представлен алломорфами [z → r]. Из этого наблюдения можно сделать заключение, что на германском уровне детерминативы не склонны к альтернациям, в то время как форматив обнаруживают типичные для германского фономорфологические чередования. В связи с вопросом о соотношении индоевропейских и германских детерминативов, или, точнее, в связи с вопросом о принципах членимости индоевропейских детерминативов на германском уровне самого пристального внимания заслуживает проблема так называемых рифмованных образований (Reimwortbildungen) в структурном оформлении корней и детерминативов в индоевропейском и в германском. Данная проблема, на исключительную важность которой в конце прошлого века указывал К. Бартоломе: «Рифмованные образования с древнейших времен были чрезвычайно мощным фактором в истории языка» [21] — была поставлена и получила оригинальное, хотя и довольно фрагментарное освещение в известной монографии Г. Гюнтера [22], который специально рассматривал вопрос о соотношении рифмованных образований и детерминативов в некоторых индоевропейских языках. В этой связи Г. Гюнтер подчеркивал: «С другой стороны, трудно понять, почему П. Перссон не хочет придавать большого значения рифмованным образованиям. Из того, что **ker-* и **kort-* „вертеть, крутить" сосуществуют, еще вовсе не следует, что **kert-* образовано при помощи суффикса *-t-* из **ker-*, где *-t-* выступает в роли детерминатива; ведь **ker-* могло быть преобразовано в **kert-* по модели другой базы, например, **u̯ert-* „вертеть, вращать, поворачивать"» [23]. Хотя Г. Гюнтер с полным основанием подчеркивал важность рифмованных образований, его критика по адресу П. Перссона не была вполне справедливой, ибо А. Перссон в своей монографии неоднократно указывал на рифмованные образования и на их место в структурном оформлении индоевропейского корня. Так, П. Перссон указывал: «Обращают мало внимания на то явление, которое уже неоднократно упоминалось (в нашем исследовании), что в индоевропейском нередко представлены варианты корня и словоформы, совершенно идентичные за исключением анлаута; при этом не представляется возможным возвести их к общему архетипу, например, др.-инд. *jas-* „уставать, терять силы": др.-инд. *das-* „уставать, лишать сил, оканчиваться"» [24]. Майерхофер (II, стр. 28: s. v. *dásyati*) отмечает: «Удовлетворительное объяснение не найдено»; Покорный (стр. 178) приводит германский материал, но соположение др.-инд. *dásyati* с швед. (диалектн.) *tasa* «щипать шерсть» и т. д. представляется нам весьма сомнительным; **ten-*, *tond-* «натягивать» (греч. τείνω, лат. *tendō* «натягиваю» и т. д.): *pen-*, *pend-* «натягивать» (ст.-слав. *pĭnǫ*, лат. *pendō* «натягиваю»). Эрну и Мейе (стр. 495) склонны *pendō* рассматривать как образование, подвергшееся влиянию со стороны *tendō*; Покорный (стр. 988) возводит *pendō* к **(s)pen(d)* и отделяет его от *tendō*; **ter-* «тереть, буравить» (лат. *terō* «тру» и т. д.): **bher* «тереть, буравить» (лат. *forāre*, др.-в.-нем. *borôn* «буравить» и т. д.); **skel-* «колоть, рубить, рассекать» (греч. σκάλλω «разгребаю, копаю», литов. *skélti* «колоть, рубить»):

---

[21] Chr. Bartholomae [рец. на кн.:] P. Persson, Studien zur Lehre..., «Wochenschrift zur klassische Philologie», 1892, стр. 397.

[22] H. Günter, Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen, Heidelberg, 1914. О рифмованных образованиях в индоевропейском см. также: W. Schulze, Kleine Schriften, Göttingen, 1966, стр. 196, 260.

[23] H. Günter, указ. соч., стр. 196.

[24] P. Persson, Beiträge..., стр.

*sp (h)el- «колоть, рубить» (нем. *spalten* «рубить» и т. д.); *skembh- «подпирать» (др.-инд. *skabhnā́ti* «подпирать»); *stembh- «подпирать» [др.-инд. *stabhnati* «подпирать»; Покорный (стр. 916) принимает это объяснение и подчеркивает: «*skabh-* преобразовано на арийской почве по модели *stebh-, др.-инд. *stabhnā́ti*»]; греч. σκαίος, лат. *scaevus*: греч. λαιός, лат. *laevus* «левый»; греч. σπεύδω «тороплюсь, напрягаюсь», литов. *paspudėti* «стараться, мучиться», *spudinti* «торопиться, убираться»: лат. *studeō* «стараюсь», др.-инд. *códati* «спешит, погоняет»; др.-инд. *snutas* «текущий»: *srutás*: *plutás* «текущий», др.-англ. *ācwīnan* «исчезать»: др.-англ. *ðwīnan* «исчезать, уменьшаться», др.-швед. *thuina* «исчезать», др.-в.-нем. *swinan* «исчезать». П. Перссон указывал: «В подобных случаях представлены частично параллельные производные от синонимичных, но этимологически различных баз; частично могло иметь место оформленное выравнивание на основе семантической близости (рифмованные образования) или семантическое выравнивание на основе формальной близости, что, однако, редко удается с точностью установить. Но подчас подобные сближения бесспорно совершенно случайного свойства» [25]. В другом месте П. Перссон указывает на греч. σπολάς «снятая шкура»: греч. στολάς «снятая шкура, выделанная кожа»» [26]; со ссылкой на Г. Остхофа П. Перссон указывает на рифмованное образование лат. *nectō* «сплетать, вить, связывать»: лат. *plectō* «вить, вязать, сплетать» [27] [Эрну и Мейе (стр. 435) также указывают на близость *nectō* и *plectō* и подчеркивают: «Так как древняя презентная основа не представлена, *nectō* следует рассматривать как новообразование, созданное по модели *plectō*, и на ее основе была создана основа перфекта»; то же объяснение дает Ю. Покорный (стр. 758)]. В другом месте П. Перссон, указывая на др.-англ. *fnéosan*, ср.-англ. *snēsen*, др.-исл. *hnjósa* «чихать, фыркать», подчеркивал: «Формы с *fn-* представляют частично параллельные производные от синонимичных, но различных корней или рифмованные образования, частично они представляют аналогическое преобразование анлаута, а частично — продукт звукового развития отдельного диалекта» [28]. Рассматривая соотношение греч. βοάω «кричу, плачу, реву» и греч. γοάω «издаю стон, вопль, плачу, рыдаю», П. Перссон подчеркивал: «βοάω вполне вероятно может восходить к *bou-*, которое рифмуется с *gou*» [29]. В другом месте, рассматривая соотношение лат. *vapor* «пар, испарение» и литов. *kvāpas* «дыхание, испарение, аромат», П. Перссон указывал: «Бесспорно не легко оторвать эти слова друг от друга, с другой стороны, следует признать, что рискованно на основе одного единственного примера принять столь поразительный звуковой переход, как *qu̯* > >лат. *u̯*». Эрну и Мейе (стр. 713) подчеркивают: «(с лат. *vapor*) охотно сближают литов. *kvėpia* „испаряется“, *kvāpas* „дыхание, аромат“. Но данное сближение становится понятным лишь в том случае, если начальное *k-* в балтийском считать протетическим. Сближение с греч. καπνός „дым“ еще более загадочно»; Э. Френкель (стр. 326), рассматривая литов. *kvėpti* «дышать», пишет: «В индоевропейских языках наряду с формами с начальным *kv-* встречаются также формы с одним *k-*; отсюда латыш. *skapstêt* „покрыться испарением, запотеть (о стекле)“, где начальное *s-* возникло благодаря переразложению *nùo-s- kapstêt* „запотеть“ ... Лат. *vapor* „пар, испарение“ не относиться к этой группе»; при этом Э. Френкель ссылался на данное место у П. Перссона. Следует иметь в виду, что в индоевропейских языках нередко встречаются пары корневых вариантов и словоформ,

[25] Там же, стр. 844.
[26] Там же, стр. 803.
[27] Там же, стр. 815.
[28] Там же, стр. 810.
[29] Там же, стр. 898, примеч. 2.

из которых у одного члена в абсолютном начале слова на один согласный больше, чем у другого члена; ср. лат. *costa* «ребро», русск. *кость*: др.-инд. *ásthi*, греч. οστέον «кость»; греч. κῶλον «член»; греч. ὠλένη «локоть», арм. *oln* «позвоночник»; греч. καύχη «хвастовство»; греч. αὔχη «хвастовство»; лат. *emō* «приобретать, покупать»: гот. *niman* «брать»; др.-в.-нем. *elo*, др.-в. нем. *gelo* «желтый» [Покорный (стр. 302) с основанием возводит *elo*: *gelo* к различным и.-е. корням]; др.-в.-нем. *līm* «клей»: др.-в.-нем. *klenan* «приклеивать»; др.-инд. *kīmiṣ*: гот. *waurms* «червь»; др.-инд. *gharmás* «жар, тепло»: гот. *warmjan* «согревать», ст.-слав. *varъ* «жар». Формы с одним лишним согласным, возможно, образованы с префиксом, но в других случаях бесспорно представлены рифмованные образования [30].

В заключение следует со всей определенностью указать на то, что вычленение детерминативов как на индоевропейском, так и на германском уровне оказывается возможным только при условии наличия оппозиции основной и производной формы на соответствующем уровне, при этом производная форма с детерминативом является маркированным образованием по сравнению с основной формой, которая выступает как немаркированное образование, например, др.-инд. *bhā́sati* при др.-инд. *bhā́ti*. Таким образом, определение детерминативов, а также их функциональной характеристики зависит прежде всего от установления хронологического уровня, на котором они выступают, от наличия оппозиции основной и производной формы, от наличия соотносительных парадигматических рядов в определенном языке. Естественно, что соображения чисто этимологического характера для проблемы вычленения детерминативов могут приниматься во внимание лишь после проведения вышеозначенной процедуры. Кроме того, вычленение детерминативов на индоевропейском и на германском уровне становится эффективным лишь при строгом разграничении уровня деривации и уровня словоизменения.

---

[30] Там же, стр. 526—527.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. А. ЛАПТЕВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ДИАЛЕКТНАЯ РАЗНОВИДНОСТИ УСТНО-РАЗГОВОРНОГО СИНТАКСИСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Петру Саввичу Кузнецову

I. Широкое изучение синтаксических явлений, свойственных устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка [1], естественно побуждает обратиться к наблюдению над соответствующими явлениями русских диалектов. Эти две сферы русского национального языка представляют собой единственную область исключительного устного функционирования русской речи, что создает уникальную возможность определения возможных схождений и расхождений и их причин.

В самом деле, уже a priori ясно, что если устный характер существования речи обусловливает наличие сходных синтаксических построений даже в разных языках, и не только близкородственных, то тем более несомненной должна быть близость основных принципов синтаксической организации фразы в названных двух сферах речи. Такие известные основные факторы организации устного высказывания, как неподготовленный характер речи — отсутствие предварительного обдумывания и вытекающий отсюда ассоциативный характер следования частей сообщения и слабая степень обязательности их синтаксически строгого оформления, эллиптичность речи, связанная с высокой степенью ее ситуативной обусловленности, линейно-временной характер формирования высказывания и др.,— необходимо должны сближать синтаксис фразы в этих двух сферах.

Возможности и перспективы исследования синхронной соотносительности двух разновидностей русской устно-речевой синтаксической системы [2] — диалектной и литературной — базируются как на современной

---

[1] Обоснование термина см.: О. А. Лаптева, К вопросу о месте современной русской устно-разговорной речи в кругу явлений литературного языка, «Русский язык за рубежом», 1968, 1, стр. 5 и сл.

[2] Условно применяем пока такое обозначение. Из-за отсутствия сколько-нибудь полного описания синтаксиса живой русской речи в настоящее время не представляется возможным решить, являются ли две рассматриваемые нами сферы самостоятельными системами или вариантами одной системы (resp. подсистемами; принципиальное значение этого вопроса ослабляется фактом иерархического характера системной организации национального языка). Применительно к литературным явлениям понимаем их системность согласно тому, как это изложено в нашей статье «О структурных компонентах разговорной речи» («Р. яз. в нац. шк.», 1965, 5), системность же диалектных синтаксических явлений понимается условно без учета территориальных градаций, поскольку эти градации, как показывают имеющиеся материалы, обычно не касаются особенностей организации устного высказывания. Ср.: В. В. Палагина, Синтаксические особенности говора западной части Томского р-на, «Уч. зап. [Томск. гос. ун-та]», 19 — Языкознание, 1954, стр. 29. Об особенностях системной организации литературного языка см.: Б. Гавранек, О функциональном расслоении литературного языка, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 435.

общности основных способов организации высказывания в обеих разновидностях, так и на факте длительной традиции устного существования обеих разновидностей в пределах одного национального языка, на исторической общности их устно-разговорной базы. Позднейшие многочисленные сближения и совпадения фактов, принадлежащих обеим разновидностям, опирались на процессы широкой демократизации литературного языка, которыми сопровождалась чуть ли не вся его история; при этом следует иметь в виду, что устно-разговорная разновидность литературного языка всегда сохраняла близость к своим народно-территориальным истокам.

С другой стороны, названные разновидности русской устно-речевой синтаксической системы должны иметь и различающие их особенности обусловленные фактом принадлежности одной из этих разновидностей литературному языку, а другой — диалектному. Иными словами, при их наложении должен получаться и некий остаток. При этом набор диалектных синтаксических особенностей, допускающих территориальное варьирование и могущих показывать изоглоссы, должен, конечно, принадлежать к тем, которые составляют отличие собственно диалектного синтаксиса от литературного.

Позволительно так сформулировать проблему: расхождения, остающиеся по вычленении совпадающих явлений, должны характеризовать, с одной стороны, собственно диалектный синтаксис в его территориальной дифференциации, литературному языку не свойственный; с другой стороны, они — в иной своей части — должны характеризовать устно-разговорный литературный синтаксис и только его в отличие от диалектного.

Таким образом, синхронное сопоставление двух названных разновидностей в их конкретной спецификации позволит осветить одну из важнейших проблем изучения синтаксиса устно-разговорной литературной речи, а именно ответить на вопрос, какие же синтаксические характеристики составляют лишь ее принадлежность и какие, базируясь на специфических особенностях устной речи как таковой, имеют более широкую сферу существования. Выявление характеристик первого рода особенно важно для установления реального состава устно-разговорной разновидности литературного языка, изучение которой еще только начинается. Это поможет осветить целый круг вопросов, связанных с пониманием характера системности этой разновидности и тем самым места ее в кругу различных функциональных сфер литературного языка, с квалификацией ее в терминах «стилевых» или «внестилевых» категорий, о чем сейчас ведутся горячие споры и у нас, и за рубежом [3].

На необходимость совместного изучения диалектных и литературных синтаксических явлений впервые обратили внимание чехословацкие диалектологи. Это объясняется как традициями Пражского лингвистического кружка, вплотную подошедшего к вопросам функционального расслоения литературного языка, понимаемого как своего рода функциональная система, так и собственно чешской языковой ситуацией, где особую актуальность приобрела проблема соотношения так называемых obecné a hovorové češtiny, а также тем обстоятельством, что брненские синтаксисты усиленно разрабатывают вопросы, связанные с описанием диалектного синтаксиса. Основное воплощение соответствующий круг проблем в понимании чешских лингвистов получил в публикации брненскими синтаксистами материалов конференции 1961 г. [4], отчасти же еще раньше в статьях Б. Гавранка, Я. Хлоупка, Я. Белича и других исследователей [5].

---

[3] См. хотя бы: И. И. Ковтунова, Принципы словорасположения в современном русском языке, сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 142; M. Jelínek, Postavení hovorového stylu mezi styly funkčními, SaS, 1966, 2. Там же см. литературу.

[4] Сб. «Otázky slovanské syntaxe», Praha, 1962; здесь даются указания на литературу.

[5] См. также: Й. Штольц, Состояние, проблемы и задачи словацкой диалектологии, ВЯ, 1968, 4.

В чешском подходе к изучению явлений устной речи в плане сопоставления диалектного и литературного материала, по необходимости носящем пока характер скорее предварительной постановки задачи, нежели углубленной разработки темы на конкретном материале, можно различить по крайней мере два аспекта такого сопоставления. Ряд исследователей (К. Гаузенблас, П. Адамец, М. Грепль) в качестве исходной точки избирает синтаксис běžně mluvených projevů (т. е. устно-разговорный разновидности литературного языка), другие, преимущественно диалектологи (Й. Штольц, Й. Скулина, Я. Хлоупек, А. Лампрехт), отталкиваются от диалектных явлений и задач описания диалектного синтаксиса. При этом и те и другие (в первую очередь К. Гаузенблас, затем А. Лампрехт, Й. Скулина, Й. Штольц и др.) называют основные факторы, определяющие характер устного высказывания — как диалектного, так и литературного, и основные черты устной речи как таковой. Следует заметить, что перечень этих факторов и черт не носит характера конечного списка. Здесь называются и неподготовленность устной речи, и ее разговорность, неофициальность, и ее связанность с ситуацией, и наличие прямого контакта со слушателем, и эмоциональность (более широко — экспрессивность), и апеллятивность (К. Гаузенблас), и недостаточная перспектива предложения (А. Лампрехт), и использование звуковых средств — интонации, паузы, ударения (К. Гаузенблас, А. Лампрехт), и др. Как видно, эти верно отмеченные особенности устной речи не выстраиваются, однако, в иерархически упорядоченные ряды, что позволило бы различать моменты основные и второстепенные, определяющие и обусловленные. Преимущественное внимание исследователей направлено на выяснение черт сходства диалектной и литературной устной речи (Й. Штольц, однако, полагает, что таким образом нельзя определить качественное отличие литературной синтаксической системы от диалектной, а А. Лампрехт предостерегает от смешения диалектных явлений и явлений устной речи).

П. Адамец ставит вопрос шире, считая необходимым наметить определенную градацию и исследовать синтаксис устной речи в четырех аспектах: устной речи в целом, устных разновидностей славянских языков, устной разновидности данного языка и устной речи отдельных говорящих. М. Грепль, затрагивая общий вопрос о соотношении устных и письменных форм речи, выделяет два рода оппозиций, различающихся конкретными синтаксическими особенностями: устная речь — письменная речь и литературный язык — нелитературные формы народного языка. Некоторые исследователи (Я. Хлоупек, Й. Скулина) показывают возможность сравнения диалектного синтаксиса с синтаксисом письменной речи, что позволяет Й. Скулине указать на необходимость изучения диалектного синтаксиса в его отличии от литературного, исходя из факта его устного функционирования (у нас об этом уже давно говорил А. Б. Шапиро), а Я. Хлоупку — наметить два аспекта описания диалектного синтаксиса — с точки зрения его системности и с точки зрения его устно-речевых особенностей.

Раздавались и голоса, указывающие на трудности сопоставительного изучения диалектного и устно-разговорного синтаксиса. В качестве главного из осложняющих моментов назывался разный уровень развития мышления у носителей диалектов и литературного языка (А. Вашек, Я. Моравец, Й. Штольц), что должно находить свое отражение при построении высказывания. В связи с этим следует отметить и распространенную идею о преобладании паратаксиса над гипотаксисом в диалектной речи как результате следования более простому строению мысли (эту точку зрения разделяет и Я. Хлоупек). Уже здесь оговоримся, что осложняющие сопоставление моменты этим далеко не исчерпываются, если вообще различие в уровне мышления жителей города и деревни в настоящее время можно признать фактом (наши наблюдения показывают, что такого различия не существует даже для носителей архаического слоя говора, не имеющих образования).

Что касается конкретного материала, то он исследовался главным образом С. Прокешовой и А. Вашеком. Первая изучала различные виды повторов и те конструкции, которые получили у нас название конструкций добавления (типа *Podrž mně to — ten žebřík*), второй — так называемые конструкции присоединения (весьма разнородные). Немногочисленный материал, приводимый в этих и немногих других работах (у К. Гаузенбласа, П. Адамца), весьма интересен не только в рамках богемистики, но в и плане сопоставления с аналогичными фактами русской устно-разговорной литературной и диалектной речи, уже отмеченными в литературе.

После этого по необходимости краткого обзора обратимся к вопросу о принципах и способах сопоставления литературного и диалектного устно-разговорного синтаксического материала. Такое сопоставление далеко не просто. На первый взгляд может показаться, что основным препятствием должна явиться слабая изученность тех и других материалов, однако это не совсем так. Русский диалектный синтаксис изучен и во всяком случае представлен в описаниях и записях довольно обширно — он

интенсивно фиксировался начиная с конца XIX в., в то время как фиксирование устно-литературного материала только еще начинается[6]. Имеются даже чрезвычайно интересные записи речи обоянских мещан, выполненные около ста лет тому назад[7]! Внимание к живому материалу всегда было сильной стороной русской лингвистики. Насколько достоверны имеющиеся записи? Не все они равноценны в этом отношении, среди них есть слишком связные и подробные, для которых момент стилизации несомненен, однако даже учитывая возможность некоторых неточностей, вряд ли можно думать, что какие-либо существенные особенности оказались упущенными, если исходить из всей суммы имеющегося материала. Это подтверждается и позднейшими фиксациями, опирающимися на хорошую традицию.

Известно, что картографировать диалектный синтаксис труднее, нежели фонетику и морфологию; недаром он является наименее изученной областью в плане лингвистической географии. Дело в том, что если совокупность фонем и морфем говора в той или иной мере все же образуют систему, то синтаксические особенности говора в силу своей устно-речевой природы подвержены территориальному варьированию в значительно меньшей степени[8]. Исследователи согласно отмечают, что так называемых различительных синтаксических особенностей, поддающихся картографированию, немного, и касаются они преимущественно сферы словосочетания и оформления предикативной группы (ср. известные конструкции типа *захотелося пашня запахать*, *трава косить*, *у мене кашель не было*, *сахарница куды-то девано*, *изба надо*, *у волков корову идено*, особенности в согласовании по роду и числу, употребление причастных форм в функции verbum finitum, особенности в глагольном управлении, в употреблении предлогов и т. д.). Таким образом, добросовестный диалектолог, записывая синтаксические конструкции, поневоле фиксирует явления двух совершенно различных планов: обязанные своим возникновением устной природе диалектной речи и «строевые», специфические для данного говора. Если же перед диалектологом встает задача описания зарегистрированного синтаксического материала, то, как показывает практика, он или ограничивается описанием специфики функционирования союзов, глагольного управления, некоторых безличных конструкций и т. д., или, желая отразить в описании весь имеющийся материал, классифицирует устно-речевые конструкции, отталкиваясь от письменно-литературной схемы, принятой в грамматиках (способы выражения подлежащего, сказуемого и т. д., виды предложений и т. д.). Тем самым явления, относящиеся к области организации устного высказывания в диалектной речи, специальным предметом рассмотрения не становятся или почти не становятся, а опыта сопоставления этих явлений с соответствующими устно-литературными почти не имеется[9].

---

[6] Ср. замечание Б. А. Ларина: «... методика изучения разговорной речи городского населения гораздо менее разработана, не имеет такой прочной традиции, как изучение речи крестьян» (Б. А. Ларин, Об организации педвузами диалектологических экспедиций и о технических приемах подготовки местных атласов, «Труды I диалектологической конференции», Ростов-на-Дону, 1939, стр. 23).

[7] А. С. Машкин, Образцы простонародных разговоров г. Обояни и его уезда, «Курский сборник», IV, 1903.

[8] Ср.: «В синтаксических системах русских говоров удельный вес элементов различительных, частных в целом невелик» (И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, О типах различий русских говоров, ИАН ОЛЯ, 1961, 4, стр. 302).

[9] Правда, В. И. Собинникова пытается установить специфически диалектные черты, диалектные черты, выделяемые с меньшей уверенностью, «не вполне литературные черты» и черты, общие диалектной речи и разговорной разновидности литературного языка [В. И. Собинникова, Простое предложение в русских народных говорах (по материалам говоров Воронежской обл.), Воронеж, 1961, стр. 273—284], но всех

А между тем уже предварительные наблюдения показывают, что такой аспект рассмотрения позволил бы по-иному осветить многие известные явления. Так, например, не пришлось бы устанавливать множественность значений союза (частицы) *дак*(*дък*), *да* в северных говорах, поскольку у нее есть одно специфическое назначение во фразе, направленное на расчленение высказывания, на формирование и донесение его до слушателя по отдельным компонентам. Многократно описанные явления бессоюзия в говорах также показывают отличия от соответствующих устно-литературных явлений, идущие главным образом по линии отсутствия в диалектной речи некоторых типизировавшихся в литературной речи структур. То же касается и привлекающего особое внимание явления паратаксиса; несмотря на чрезвычайно широкую представленность в диалектной речи разнообразных паратактических конструкций, структур типа, например,

литературного — *-Чай с вареньем | где варенье брать?* там не окажется.

По-разному представлены в диалектной и устно-литературной речи (пользуемся этим сокращенным термином вместо „устно-разговорная разновидность литературного языка") и явления границы фразы; хотя и там и здесь они не обладают четкостью (на что указывали и чешские исследователи, исходя из чешского материала), диалектной речи не свойствен-

ны, например, построения типа *-Я вы где будете | на следующей? | выходить.* или

-Это ты нарочно, да? | сырое бревно притащил. — где наибольший подъем вопро-

сительной интонации, сопровождающийся паузой, приходится на середину фразы. Наиболее же яркое отличие диалектной речи от устно-литературной лежит в области интонационно-ритмического строения фразы, которая в устно-литературной речи подвергается значительно большему и иному в принципе интонационно-ритмическому членению, чем в диалектной.

Однако эти и подобные предварительные наблюдения лишь с трудом достигаются при непосредственном сопоставлении, которое осложняется целым рядом моментов.

Мы подошли к вопросу о том, что же конкретно препятствует простому сравнению устно-литературного и диалектного материала. Говорить о разнице в уровне мышления носителя диалекта и литературного языка, как уже было отмечено, не приходится, особенно в применении к нашему времени; в уровне развития мышления большую роль играют индивидуальные различия, которые, естественно, существуют и в той и в другой среде. Другое дело, что момент ситуативной обусловленности устной речи конкретно проявляется совершенно по-разному там и здесь. Наблюдатель диалектной речи постоянно сталкивается с тем фактом, что, например, при коллективной беседе носителей диалекта между собой без участия наблюдателя понять связный разговор порой бывает очень нелегко; для литературного восприятия выпадают существенные звенья такого

этих черт оказывается слишком много, они несистемны и практически неперечислимы (автора сковывает приверженность традиционной схеме описания). Предметом рассмотрения А. А. Никольского явилось несколько моментов схождений и расхождений устно-литературного и диалектного синтаксиса, также разноплановых (А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, Душанбе, 1964).

разговора — и лексемы, и отдельные высказывания, и реальный смысл формально ясных фраз. Объясняется это тем, что в говоре, как и в любом сообществе говорящих, существует особая экстралингвистическая система ситуационно недоговариваемого, эллиптически опускаемого, тематически ясного, обусловленного типическими условиями общения. Это препятствует взаимопереводимости любого произвольно взятого высказывания с диалекта на устно-литературную речь и обратно (если та и другая речь взяты в «идеальных», наиболее непринужденных и не зависимых от привходящих факторов условиях осуществления); иными словами, абсолютная синонимика здесь в принципе невозможна из-за ситуативно-тематических различий в формировании и протекании речи.

Отсюда и разный набор речевых клише (как известно, автоматизированный характер устной речи непременно предполагает высокую степень насыщенности ее разного рода штампами и клише, повторяющимися по мере повторения ситуации), а, выходя за рамки синтаксиса, и разный набор лексем и семантем[10].

Тематическая несхожесть обеих сфер речи также сильно затрудняет сравнение. Своего рода полюсами и по тематической несхожести, и по структурной организации (возможно, эти два момента связаны причинно-следственными отношениями) можно считать, например, современный устно-литературный крайне «облегченный» («телеграфный») способ постановки вопроса в типической ситуации (ср. — время | не скажете? и замедленные, равномерно распределенные в линейном плане вопросительные фразы (конечно, иного содержания), зафиксированные в очень интересных записях А. С. Машкина.

Идентичность оснований для сравнения двух сфер устной речи нарушается и еще одним, на этот раз внешним, но весьма существенным обстоятельством. Речь идет о разнородности имеющихся записей. Если для устно-литературной речи начинают записываться в первую очередь структуры, функционирующие главным образом в составе живого диалога с разным числом участников, то основная масса имеющихся диалектных записей представляет собою фрагменты монологического повествования по тематическому заданию собирателя. Такое повествование может прерываться побуждающими к продолжению или непосредственно вопросительными репликами собирателя и соответствующими ответами носителя диалекта, но во всяком случае это обычно не живой диалог носителей диалекта между собой, в котором собиратель бы не участвовал и никак не влиял бы на его протекание. Уже само присутствие собирателя, тем более если он тем или иным образом участвует в беседе, неминуемо сказывается на ее характере.

Что же в таком случае и как сравнивать? Прежде всего мы исходим из того, что следование традиционной синтаксической схеме (т. е. фактически глобальное сопоставительное рассмотрение двух грамматик) может выявить некоторую сумму строевых синтаксических различий, но окажется малорезультативным, во-первых, при выявлении специфически устных построений, не нашедших своего отражения в традиционных синтаксических описаниях, и, во-вторых, при исследовании способов линейно-

---

[10] Несовпадение системы значений у диалектного и литературного слова прекрасно показано материалами «Словаря современного русского народного говора (д. Деулино, Рязанского района, Рязанской области)» под ред. И. А. Оссовецкого (в печати). Автор приносит глубокую благодарность И. А. Оссовецкому за предоставленную возможность ознакомиться с материалами «Словаря».

динамической организации фразы. Эти два аспекта мы и положим в основу сравнения, привлекая по возможности сходный в названных выше отношениях материал. Из боязни встретиться с новыми литературными заимствованиями привлекается материал архаического слоя говоров [11], отражающий бытовой разговор без какой бы то ни было поэтической стилизации. Конечно, особенно ценными признаются редкие и отрывочные записи диалога носителей говора между собой.

Таким образом, перед нами проблема не столько выявления всей суммы особенностей той и другой разновидности синтаксической системы (такая задача должна ставиться собственно в грамматическом плане) и тем более не описания различительных синтаксических черт говоров, сколько наблюдения над реальной представленностью разных синтаксических типов и структур в речи (эта задача ставится в плане распределенности грамматики в речи [12]), а также над способами формирования в речи линейно-динамической структуры высказывания. Этими моментами и создаются различия в общей синтаксической окрашенности сплошного потока устной речи в диалектном и литературном воплощении.

Охарактеризованный подход позволяет дать последовательное сравнительное описание всей суммы диалектных и устно-литературных явлений в названных двух аспектах. Однако слабая изученность в этом отношении как диалектного, так и литературного материала, а также большой размер подобного исследования побуждает ограничиться здесь сопоставлением нескольких, отчасти уже выявленных, типов синтаксических конструкций и представить некоторые общие наблюдения и результаты.

Устно-литературные явления изучались на основании записей автора. Для изучения диалектных материалов были использованы имеющиеся в литературе записи и наблюдения [13], материалы фонотеки экспериментальных

---

[11] Для целей данной работы допускается диффузное рассмотрение диалектных записей как находящихся на едином синхронном срезе.

[12] Й. Штольц говорит о дифференциации диалектного и литературного синтаксиса в плане частотно-количественном (указ. соч., стр. 15, 18).

[13] Диалектный материал цитируется по работам: Е. Ф. Будде, О говорах Тульской и Орловской губ. Материалы, исследование и словарь, Сб. ОРЯС, 76, № 3, 1904 (Будде); Н. Н. Дурново, Описание говора дер. Парфенок Рузского у. Московской губ., РФВ, 50, №№ 3 и 4, 1903 (Дурн.); А. А. Шахматов, Материалы для изучения великорусских говоров; Сведения о Мещовском говоре, собрал В. Чернышев, Прилож. к т. 3 кн. 2 ИОРЯС, СПб., 1898 (Шахм.); В. И. Чернышев, Сведения о народных говорах некоторых селений Московского у., Сб. ОРЯС, 68, № 3, 1900 (Чернышев.); «*Материалы для изучения великорусских говоров*», VIII, СПб., 1903 (Матер.); В. Г. Богораз, Областной словарь Колымского русского наречия, Сб. ОРЯС, 68, № 4, 1901 (Богораз); Ю. В. Петровская, К диалектологии рязанских говоров, Говор с. Матыр Зарайского у., Сб. ОРЯС, 99, 6, 1922 (Петровск.); А. Б. Шапиро, Очерки по синтаксису русских народных говоров, М., 1953 (здесь см. библиографию) (Шап.); Л. А. Зелепукина, Синтаксические особенности северно-русских говоров Сосновоборского р. Пензенской обл., сб. «Вопросы русской диалектологии», Куйбышев, 1965 (Зел.); А. Ф. Демьяненко, Некоторые синтаксические особенности говора с. Гордеевки Кореневского р. Курской обл., «Збірник робіт аспірантів», Львів, 1963 (Демьян.); В. И. Собинникова, Общие и специфические явления в синтаксисе русских и украинских говоров, «Материалы по русско-славянскому языкознанию», II, Воронеж, 1966 (здесь см. библиографию); ее же, Строение сложного предложения в народных говорах, Воронеж, 1958 (здесь см. библиографию) (Собин. Сложн.); ее же, Простое предложение в русских народных говорах (Собин. Прост.); О. Б. Сиротинина, Синтаксис говоров Олгайского р. Саратовской обл., «Уч. зап. [Саратовского гос. ун-та]», 48, вып. филологический, 1957 (Сирот.); В. В. Палагина, указ. соч. (Пал.); Р. С. Овчинникова, Синтаксические особенности говора деревни Бол. Кугунур Кировской обл., «Уч. зап. [Томск. гос. ун-та]», 19, 1954 (Овчин.). В других обследованных диалектных записях (работы Е. Ф. Будде, А. Грандилевского, М. Дикарева, М. Караулова, Н. М. Каринского, В. Мансикки, А. С. Машкина, И. Т. Смирнова, В. И. Чернышева, К. Филатова, Е. К. Бахмутовой, Л. Г. Ботиной, А. Н.

но-фонетической лаборатории Института русского языка АН СССР (записи, выполненные как в северновеликорусских, так и южновеликорусских говорах; далее при паспортизации примеров указываются шифры фонотеки) [14], отчасти материалы «Словаря современного русского народного говора» (далее — Слов.), а также материалы, собранные автором для целей этой работы в д. Горки Усть-Кубенского р-на Вологодской обл. (этот архаический говор «неперспективного» малонаселенного пункта одновременно изучался в других аспектах В. Г. Орловой и Т. Г. Строгановой) летом 1965 г. (далее — Г.).

II. Чтобы рельефнее показать характер функционирования различных типов конструкций в говорах и устно-литературной речи, обратимся сначала для контраста к иллюстрации того положения, что сам характер устного говорения в принципе допускает возникновение — в обеих рассматриваемых сферах в равной мере — разного рода окказиональных, неупорядоченных построений, случайно однажды возникших в речи нередко вопреки норме (не столько письменно-кодифицированной, сколько устно-литературной или диалектной) и в нарушение принципа автоматизма устной речи. Ср. в литературной речи: а) возможность структурно неоправданного повтора (— *Я этой говорю старушке я грю он хочет пить* [15]; *и такие структуры вот широко сейчас вот очень употребляются*); б) разного рода самоперебивы, пояснения, вклинивания, нарушающие синтаксическую схему фразы (— *Вы Богатырь наверно вам нужен*; — *Хлеба-то надо*? — *Ты я тут надеюсь будешь его покупать*? Материал, приводимый П. Адамцем, хорошо иллюстрирует обилие в устной речи синтаксически незавершенных построений, ср.: — *Уж потом его характер развивался, развивался и потом дошел как-то до такой определенной точки, когда уж все стало нам известно о нем, ну, последние события, там, они были..* [16]); в) возможность чрезвычайно интенсивной элиминации из состава фразы всего ситуативно ясного, ведущей к ломке основного синтаксического каркаса фразы, что в свою очередь приводит к полной непонятности ее вне данного случая (— *Ты там не близко ванной свет*? [т. е. „если ты близко, зажги свет в ванной"]) и т. п.

Такого рода речевые построения (среди них есть и прямые ошибки; допускаем эту квалификацию, поскольку речь идет об отступлении от устно-разговорной нормы), возможности и способы которых в условиях устной речи практически не ограничены, в принципе всегда существуют и в диалектной речи, ср.: а) возможность повтора (*гул'ém'-то тожо н'е ход'úла гул'ém'* Г.; *да што ты рбис'с'о ты тут?* Г.; *хош кто хош ташшы* Г.; — А какая шерсть у них? [вопрос собирателя] — *!!Шерсь у них гладенька шерска* А — 558, д. Куя Приморск. р-на Арханг. обл.; *А то вон укроп вон сеим, етъ для огурцоф, када солют', тада кладут' для запаху — сеют'* Собин. Прост., 82); б) самоперебивы, вклинивания, пояснения (*Которой ягненок она тък не любит ягненка-та никудышнай тъ будет* А — 273,

---

Гвоздева, Н. П. Гринковой, Е. Н. Иваницкой, В. А. Ивановой, К. А. Иеропольского, С. А. Копорского, Ив. Кузьмина, В. И. Чагишевой, А. Б. Шапиро, О. Шулене) устно-речевые построения, рассматриваемые в данной работе, не отмечены.

[14] Автор выражает искреннюю признательность С. С. Высотскому, А. Н. Кузнецовой, Р. Ф. Пауфашима и Л. Л. Касаткину за помощь в работе над материалами фонотеки.

[15] Знаки препинания в записях литературной речи опускаются в тех случаях, когда они не соответствуют ритмико-интонационному членению фразы. Диалектные примеры даются в записи источника, примеры, записанные автором — в транскрипции. Точность фонетической транскрипции при расшифровке пленок фонотеки не соблюдалась.

[16] P. A d a m e c, K syntaxi hovorové ruštiny, «Bulletin URJaL», Praha, 1962, стр. 75, см. еще стр. 66, 73, 77; см. также: O. K a f k o v á, K lineárnímu typu řadění větných členů a celků v mluvené ruštině, «Československá rusistika», 1965, 2.

д. Фаддеиха Георгиевск. р-на Костромск. обл.; *Давай, товарищ Кугушев, вот зделам такую мы | договор | вот | чтобы* А — 460, д. Кугушевка Лунинского р-на Пензенск. обл.; *Потом стали он ему дает четверть вина и калач* там же; *к Са́ши гбст'и сул'а́тца молодыі̯е Г'ёра* Г.; *У Игр'ен'ина оп'ёт мат' говор'а́т п'ер'еб'и́л у Тамакбва оп'ёт у н'евб жив'бт* Г.;— Чем отец занимался? [вопрос собирателя] — *А он зан'има́ўс'а фс'о болше он рабо́тн'иком быў на ўс'ję* Г.;— *Зимо́і̯*; — *И л'ётом было.— Н'ет вот у нас топ'ёр'а хош бы ја о своја́і̯ тък з'имо́і̯* [т. е. свадьбу играли зимой]; *Она каковъ-тъ доч' была — бурмистър называли* Собин., Общие и специф. явл., 8). Подобные чрезвычайно вольные сцепления частей фразы, при которых стираются сами ее границы, известны в литературе под общим названием паратаксиса (отметим, что этим термином обозначаются весьма разнородные явления). Е. Ф. Будде дает такую запись: «Я са слу́жьби пришо́л, у мя брат Ипифа́н, я хате́л па саhла́сьтю ръзьдяли́ть, а он дава́й сво́рьтца, за hрутки́ бире́ть жану́ маю ишшо́ дюжэ́й, у у́ха би́ть: тваи́ ни hато́ўа изба́, была́ уре́мя, а типе́ря — нет!» (Будде, 15). Ср. такие записи из Симбирской губ.: «дома жил сутки, патом все уходят в поля, а он остаетца дома ни знать ни рыла ни носу все распухла, яво нарядили с пакетам в сяло Касаур, на няво ня гожа глидеть» (Матер., 531—532). Ср. еще:— Их на продажу берут, да? (вопрос собирателя) — *Берут три рубля ъвар'ат' бутылка вот эта вот прашла женщина она събирала три литра ъвар'ат' нъбрала. Три рубля бутылка* (А — 421, д. Деулино Ряз. р-на Ряз. обл.).

Неполное совпадение выделенных рубрик в устно-литературной и в диалектной речи объясняется не какими-либо принципиальными моментами, но лишь неупорядоченностью и случайным характером фиксаций, поскольку принципиальные возможности возникновения подобных неорганизованных и слабоорганизованных построений одинаковы в обеих сферах речи. Заметим, что они могут равным образом появляться и в диалогической, и в монологической речи; перемежающийся характер того и другого типа речи в записях объясняется также только характером имеющихся фиксаций.

В противоположность этим естественно возникающим в условиях устного говорения случайно оформленным построениям в устно-литературной речи чрезвычайно широко распространены конструкции иного рода. Мы называем их типизированными. Возникая, как и приведенные выше, на базе устного формирования высказывания со всеми свойственными ему особенностями, эти конструкции обладают, однако, и рядом специфических свойств. Основой для их складывания в качестве особых синтаксических типов послужили те устно-речевые построения, которые, приобретя особенно широкое распространение и став автоматизированными в своем появлении в потоке речи, потеряли свою окказиональность. Утрата окказиональности сопровождается прибретением ряда дополнительных свойств как собственно конструктивного характера (каждый из возникающих таким путем синтаксических типов имеет общий принцип построения с четко выраженной системой структурных разновидностей), так и коммуникативно-информационного и модального (каждый из синтаксических типов в его разновидностях может обнаруживать или не обнаруживать связь с диалогической или монологической формой речи, с констатирующей или вопросительной модальностью, с тематическим ситуативным контекстом) [17].

---

[17] О типизированности разговорных синтаксических моделей см. также: О. А. Лаптева, О некодифицированных сферах современного русского литературного языка, ВЯ, 1966, 2, стр. 46 и сл.

1. Наиболее общим и многообразно формально преломляющимся принципом организации устного высказывания является его построение по двучленной модели при максимальной формальной независимости его коммуникативного центра; следование этому принципу вызвано необходимостью раздельной подачи представлений с целью достижения синхронного восприятия и понимания речи слушающими [18]. Наиболее отчетливое структурное воплощение этот принцип получил в так называемых конструкциях с именительным темы. К уже имеющемуся их описанию [19] сделаем то общее замечение, что в отличие от своих письменно-литературных эквивалентов устно-литературные конструкции с именительным темы обнаруживают гораздо большее структурное разнообразие. Тенденция к самостоятельности организованных в грамматическое целое синтаксических единиц ведет к расщеплению синтаксических связей именительного темы и остальной части предложения. Структурно это проявляется в том, что: а) происходит расщепление выразителя информативного центра высказывания на два слова или словесных комплекса (одним из которых может оказаться анафорическое местоимение); б) так называемый именительный темы может занимать синтаксически независимую позицию, т. е. обозначать субъект действия, а также синтаксически зависимую позицию, т. е. обозначать объект действия или иные отношения, связанные с глагольной интенцией; в) в синтаксически независимой позиции он обычно занимает инициальное место во фразе, в синтаксически зависимой обычно его утрачивает; г) в составе именительного темы может быть, а может и не быть местоимение *который*, а также глагол; д) шкала интонационного членения конструкций с именительным темы весьма различна — от практического отсутствия паузы и перепада тона на грани именительного темы и остальной части фразы (это побуждает при письменной фиксации отказаться даже от запятой) до полной остановки и сильного понижения тона перед ней (для целей письменной фиксации здесь можно употребить точку). Эти различия обычно проявляются при структурно различных схемах. Коммуникативно-модальные особенности этой конструкции сводятся к тому, что она может выступать в составе фразы и утвердительного, и вопросительного характера, в составе диалога и монолога и практически в любом ситуативном контексте.

По необходимости опуская основной иллюстративный материал (тем более, что отчасти он уже опубликован), приведем здесь лишь несколько особенно интересных разновидностей рассматриваемой конструкции, кажется, еще не отмеченных в литературе.

Прежде всего обратим внимание на то, что она получает способность включать в свой состав глагол (или наречно-местоименные слова, сигнализирующие о предикативности) и при употреблении в объектной позиции [20], становясь таким образом самостоятельным предикативным комплексом. Поскольку основная коммуникативная нагрузка фразы при этом приходится на рассматриваемую конструкцию, она в наиболее «идеальных» информационно-модальных условиях (краткая побудительная реп-

[18] Вслед за Ш. Балли этот принцип (на русском материале) обосновывает Е. А. Иванчикова («О развитии синтаксиса русского языка в советскую эпоху», сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка», М., 1966, стр. 6 и сл.).

[19] О. А. Лаптева, указ. соч., стр. 50—54; «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 346—354. Здесь следует сделать ту оговорку, что наименование «именительный темы» вполне условно, оно является данью традиции и означает лишь, что коммуникативно важная часть высказывания выражается группой именительного падежа (для многих модификаций этой конструкции точнее было бы говорить об «именительном ремы»).

[20] Частично на это обращено внимание в кн. «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис...», стр. 350.

лика) составляет основную часть фразы, в которой предваряется лишь управляющим глаголом и факультативным обращением, ср.:— *Подайте пожалуйста вон перчатки лежат*;— *Возьми у меня там в кошельке неразмененная пятерка лежит*;— *Подними вон варежка чья-то лежит*;— *С., принеси мои кеды около бидона стоят*;— *Дай мне вон носок между шкафом и стулом лежит*;— *А., захвати назад там ведро стоит*;— *А., подбери одеяло у тебя на полу*;— *П., не растопчи лужа тут вот у меня*;— *Н., мои перчатки лежат у колодца на земле принеси*;— *Зайди в магазин «Политическая книга» и купи вышел сборник «Мы и планета»*. Ср. еще:— *Возьми еще знаешь какая очень хорошая щетка? которая в ванне лежит*. По этому же типу, но при ином наклонении и иной интенции глагола — *Останавливаются знаешь где? там дом около ресторана останавливаются*. Во всех этих фразах повышение тона приходится на управляющий глагол, понижение — на именительный темы; пауза между ними отсутствует, как при обычном управлении. Коррелирующее местоимение отсутствует.

Подобные же построения употребительны и в вопросительных репликах, и в более пространных по размерам констатирующе-повествовательных высказываниях. Основная схема фразы при этом трансформируется незначительно, лишь несколько расширяясь за счет непосредственного окружения управляющего глагола, ср.:— *Ты мне можешь дать рассказ там какой-то есть*?;— *Так я жалею, что я не взял там на берегу озера лежал кусок вот такого материала*;— *Если я завтра задержусь, я зайду там у «Ударника» парикмахерская*. Ср. еще:— *Я тебе ее подарю. Пока я ее дала почитать наш молодой врач женился*.

Среди многочисленных устно-литературных разновидностей конструкций с именительным темы можно отметить еще такой широко распространенный способ построения вопросительной реплики, при котором в целях расчлененного представления основного объекта высказывания он выражается формой именительного падежа, занимает инициальную позицию (но может предваряться и глаголом или его заместителем) и получает самостоятельное интонационное оформление с сильным падением тона в конце и возможной паузой, в результате чего последняя часть фразы (с анафорическим подхватом или без него) принимает вид синтаксического целого со своей предикацией. Вот фраза, где эта схема представлена без осложнений, в «идеальном» виде— *А сахар большие пачки. У вас нету*?; *Шпиг сто грамм. Где мне отрезать*? По той же схеме, но с некоторым распространением ее, строятся и следующие вопросительные реплики: — *Девушка, вы не знаете, а вот немецкий гидро-витаминный крем. Его сразу надо смывать*?;— *Интересно, древнегреческо-русский словарь. Нас просили опубликовать рекламу. У нас что-нибудь было*? С неполным понижением тона:— *Тань, скажи пожалуйства, Утенков Иван Николаевич, ты можешь сказать его адрес*?

Элементом, осложняющим эту схему, может явиться управляющий глагол, выступающий в составе первой части фразы, соответствующей именительному темы (в функции обозначения объекта действия) в рассмотренной схеме. При такой трансформации объект при управляющем глаголе получает форму винительного падежа, а вся первая часть вопросительной реплики оказывается аналогом законченного предложения, ср.:— *Я тебе маленькую расчесочку дарила. Ты ею пользуешься*?;— *Слушай, а ты все чулки сложил. Неужели там дырявых не было*?;— *А ты рейки-то режешь. Нам ведь знаешь сколько нужно реек*?— *Люсь, вы тогда покупали купальник. Носили вы его*?

Глагольное осложнение схемы при именительном в функции обозначения субъекта действия ведет к тому, что именительный темы оказывается развернутым в предложение с собственной предикацией. Следующая за

понижением тона часть вопроса «подхватывает» именительный, ср. в вопросительной реплике: — *А вообще он вот сюда идет в эту сторону. Он докуда доходит*?

Тот же принцип отдельного представления объекта (или субъекта) сообщения, вычленение его из состава целого высказывания путем инициального расположения и самостоятельного интонационного оформления, которое может сопровождаться и самостоятельным предицированием, лежит в основе построения и более развернутых сообщений констатирующе-повествовательного характера. Эти структуры могут принадлежать диалогу, но могут быть и конструктивным элементом монолога, ср.: —*Я вчера когда в парикмахерскую пришел, там лежит газета. И вот в ней написано*: ...;— *Знаешь, дочка Дурова, о которой я тебе говорил. Ее отец поселил в гостинице. И вот к ней*...

Приведенные конструктивные разновидности представляют собой лишь малую часть всех имеющихся и ни в коей мере не исчерпывают возможности структурных модификаций, но они хорошо иллюстрируют один из основных принципов устно-литературного построения высказывания— представление его в формально расчлененном виде.

Теперь обратимся для сравнения к имеющемуся диалектному материалу. Устно-речевая база, лежащая в основе и диалектных, и приведенных устно-разговорных литературных построений, обусловливает, естественно, наличие целого ряда схождений в общих принципах представления высказывания. Однако имеются и существенные расхождения, выражающиеся главным образом в том, что русской диалектной речи в целом вне зависимости от ее территориальных вариантов не свойствен целый ряд структур, распространенных в литературной устно-разговорной речи. Представим имеющийся диалектный материал не по принципу иллюстрации некоторых типов, но по возможности полно освещая все имеющиеся разновидности.

Их немного. Одной из основных является отмеченная еще в 1898 г. А. А. Шахматовым широко известная и в устно-литературной, и даже в письменно-литературной речи конструкция с «классическим» именительным темы типа *Вино, она ить крепка. Вино, она ить шибаеть в голову*; *Толковое платье, рази он дешево стоить*!; *А ить бабы, ани нетерпимыи* Шахм. 101 [21]. Падеж выносимого в инициальную позицию слова может быть и косвенным (*А кохтъф их не былъ* Собин. Прост., 262 [22]), может оставаться и именительным, но при местоименном подхвате в косвенном падеже (*Ужака, на ей рубашка серьн'кия* Собин. Прост., 262 [23]). В. Чернышев отмечает возможность безличной структуры, включающей анафорический местоименный подхват (*А тигра эта, говорят, нет ее страшнее* Шахм., 101). Нами зафиксирован пример с адъективным числительным в инициальной позиции (*а вторájа рабóтаjет она на жел'езнодóрожноj стáнциjи* Г.) Рассматриваемая конструкция является общерусской — она свойственна многим функциональным и территориальным разновидностям русского языка.

---

[21] Эта конструкция проиллюстрирована также в следующих работах: Пал., 27; Овчин., 54; Зел., 109; Сирот., 64 (здесь отмечается наличие паузы перед местоимением и его ударность; наши наблюдения этого не подтверждают); Демьян.; Собин. Прост., 10, 75, 262; Будде, 17, 52, 54, 63, 94; Шап., 199—201; отмечена в Г. Обращает на себя внимание тот факт, что эта конструкция отмечена как в южно-, так и в северновеликорусских говорах, однако материал южновеликорусских говоров представлен значительно шире.

[22] Другой материал см.: Собин. Сложн., 21; Демьян.; Будде, 24; Шап., 201; Дурн., 127.

[23] См. еще Будде, 57; Шахм., 101.

Ее структурным антиподом, своего рода обратным отражением является другая, также общерусская конструкция (однако в письменные сферы она входит в гораздо меньшей степени, чем первая), называемая нами конструкцией добавления [24]. Это диалектные (и устно-литературные) построения типа *Ана правления-то у нас видат'* Собин. Прост., 274 [25]. Они известны и с косвенным падежом существительного и местоимения (*Ну тут их стали гаспот патписками падганять* Черныш., 108 [26]). П. С. Кузнецов отмечает конструкцию с антиципирующим местоименным наречием (*Я тебе расскажу, кто там остафшы, в Рогачах* [27]).

Отметим еще, что диалектной речи свойственно и употребление именительного падежа в позиции косвенного, широко известное устно-литературной речи [28]. Построения типа — А чей это новый дом? (вопрос собирателя) — *Это вот Н'ик'ишбнкова-то Евдок'иjа-то* Г.; *так правыj бок тожо н'е д'ёjствуjот рукá* Г., *Эта д'ер'ёвн'а кр'ёпк'иjе домá бы́л'и* Г.;— Куда ж Алевтина девалась? (вопрос собирателя) — *Она уjёхала на Кýб'енскоjе л'есопýнкт* Г. хорошо поддерживается в северных говорах собственно строевыми синтаксическими моделями типа *надо* + nom., verb. fin. + + nom. и под.

Среди других способов раздельного представления темы и ремы высказывания в диалектной речи можно отметить лишь один устойчивый с местоимением *какой*, *который* в первой части, также известный устно-литературной речи, типа *Ис какова дома брат вышъл, и такой же мы пастроили* Собин. Сложн., 46 [29]; *котóрыjо сы́тыjе хорóшиjе дък в вóлогду отправл'ájут на вожжáх дък* Г.; *вот у м'ен'á топ'ёр'а котóроj в ус'jе-то сын так он уjежжáл ф ФЗУ уч'и́ца так у н'евó уч'ён'jе и пропáло* Г. Остальные способы, отмеченные нами в д. Горки, не носят характера определенного структурного типа (ср.: *по дорóг'е тут мáл'ен'к'иjе д'ер'евн'ýшк'и так тýт жылá*; *а вот там дв'е п'ер'егорóтк'и как вот с вóл'и-то захóдиш там хл'ёў называ́атца*; *вот топ'ёр'а повы́ше туды на р'ек' ё-то п'áт' к'илом'ётроў там мы́с jёс'*— в структурном отношении эти примеры объединяет разве только наличие наречно-местоименного слова; *вот óл'га кудá вы́шла в нач'áл'е на тóм посáд'е так ч'óрнаjа была*; *в дорóгу дък болшýjо раньше шáл'и называ́л'ис' нос'ýл'и*;— А это чей был дом? (вопрос собирателя) — *А это р'áдом мушшы́на шас стоjáў дък jевó быў дом*; *á а брат-от вас'ýл'еj фс'от жывój на оз'ер'ёцком-то жыв'óт тък он говор'ýт*; *оно как óс'ен' jу так н'е гр'áзно*; *эта вот гр'ёшн'еваjа-та как по 27 коп'ёjок эта бывает*; *п'ёрваjа былá дóч'так та с'ём' клáсоў проуч'ýлас'*;— два последние примера как будто напоминают соответствующие литературные построения с выносом определяющего прилагательного, но четкой стуктурной определенности они также не обнаруживают).

Другие широко представленные в устно-литературной речи структурно оформленные разновидности конструкции с именительным темы и близкие

---

[24] Описана в работе: О. А. Лаптева, О структурных компонентах разговорной речи. О ее отношении к конструкции с именительным темы см.: «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис...», стр. 348.

[25] См. еще: А — 366; А — 474; Петровск., 59; Собин. Сложн., 13, 22; Будде, 31, 36, 51, 55, 60, 64, 88; Минеев, 99 (в кн. «Труды I диалектологической конференции»).

[26] См. еще : Петровск., 53, 59; Собин. Сложн., 25; Будде, 28—29, 69; Богораз, 334; Слов.; А — 555. Здесь также обращает на себя внимание большое количество материалов из ю.-в.-р. говоров.

[27] П. С. Кузнецов, К вопросу о сказуемостном употреблении причастий и деепричастий в русских говорах, «Материалы и исследования по русской диалектологии», III, М.— Л., 1949, стр. 62; см. еще: А — 421.

[28] См.: О. А. Лаптева, О некодифицированных сферах..., стр. 53—54.

[29] См. еще: Собин. Сложн., 34, 43; А — 476.

к ней построения, в частности те, которые были для устно-литературной речи проиллюстрированы выше, как показывает имеющийся материал, в говорах не встречаются.

2. Если обратиться к сфере линейно-динамической и интонационной организации высказывания, то придется прежде всего отметить, что в русском языке как в языке с разветвленной системой флективного выражения синтаксических отношений в принципе возможны весьма различные модификации порядка расположения членов при организации каждого конкретного высказывания. Это обстоятельство сильно облегчает формирование определенных типизированных приемов расположения членов во фразе в устно-литературной речи, что сопровождается и выработкой немногих релевантных типов интонирования. В этой области, как показывает имеющийся материал, проходит линия наибольших различий между диалектной и литературной устной речью. Суммарно эти различия можно было бы определить как наличие ряда типизированных приемов организации высказывания во времени его протекания в литературной речи и отсутствие таких приемов в речи диалектной.

Формирование определенных приемов в литературной устной речи можно связать с возрастанием ее эмоциональной окрашенности. К нашему времени эмоциональность становится одним из обязательных стилеобразующих признаков устно-разговорной разновидности литературного языка. Это не означает, конечно, что каждое конкретное высказывание обладает здесь повышенной эмоциональностью — напротив, чем более типизированной является фраза, чем больше она приближается к клише, тем нейтральнее она может произноситься (ср. весьма привычное для современного слуха — *бчень она мне нравится*, где изначальная эмоциональная основа может оказаться полностью стертой; однако как клише фраза получает широкое распространение).

Специфические приемы линейно-динамической организации высказывания в устно-литературной речи связаны с тем же стремлением раздельного донесения до слушателя информативно наиболее важных частей высказывания, какое мы наблюдали при рассмотрении особенностей собственно структурного характера. Разъединение членов может осуществляться как в пределах предикативного ядра фразы, так и за его пределами, если там находится многочленный информативный член высказывания. Достигается оно целым комплексом средств — словорасположением, движением тона, динамическим усилением, ритмической организацией, паузальным членением, где главная роль принадлежит словорасположению как наиболее устойчивому и релевантному признаку. При этом образуется схема, построенная по принципу чередования ударных (и в интонационном, и в коммуникативно-информационном смысле) и безударных звеньев фразы (безударные звенья обычно проговариваются в убыстренном темпе).

Здесь мы остановимся лишь на немногих двухударных (или двувершинных) схемах, которые образуют ясно очерченные типы и хорошо иллюстрируют основной принцип устно-литературной линейно-динамической организации высказывания.

а) Разъединение осуществляется относительно существительного — субъекта речи и предицируемого прилагательного. Степень предикативности прилагательного в таких конструкциях выше, чем в их общелитературных эквивалентах с другим порядком слов. Необходимость донести до слушателя в первую очередь сообщение, выражаемое предицируемым прилагательным, обусловливает его обычно препозитивное положение. Обычный тип предложения — констатирующе-бытийный. Обычный вид схемы — «ударное прилагательное + безударная связь *быть* в форме про-

шедшего времени + ударное существительное». Ср.:— *Маленькая была речушка;— Он уже взрослым был мальчиком; В то время примитивное было строительство* (рассказ по радио); *Ну, она большая уж была девочка; Там широкая была конференция;— Давай, давай, чтобы чистая была головка.* Весьма часто в этой модели выступает прилагательное оценочно-эмоционального характера, ср.: — *Там, между прочим, чудесное было перо; У нас отличная была квартира; Он 30 лет был диктатором, причем у него интересная была биография* (беседа радиокоментатора);— *Прелестная была девочка;— Отличные были грибы;— У тебя ведь хорошая была группа;— До войны это редчайшее было животное; Нет, кошмарный был процесс у нас просто; Хорошая была собака; Это мучительная была дорога; Жуткий был скандал;— Жуткий был холод у нас на работе;—Там вчера полный был разгром; И там потрясающая была совершенно фраза.* Та же схема употребляется и в вопросительных репликах, ср.: — *А вчера вечером хорошая была температура?* [30]. Прилагательное нередко имеет при себе усилительное слово, ср.:—*Правда, у меня очень плохая была на даче машинка; У них очень хорошие были отношения с сыном;— У нас очень интересные были на курсе ребята;— Для меня-то это очень долгий был срок;— Очень неприятное было ощущение; Это его самый первый был рекорд.* Реже (по условиям спряжения русской связки) безударное звено заполняется глаголом настоящего времени (служебное значение связки в этом случае уступает место бытийному значению глагола, предикативность прилагательного элиминируется). Ср.: *Там очень хороший есть доктор, который гланды проверяет; Ну, там гипертония, конечно. Возрастные там есть явления; Она не стала, потому что она отослала другое платье. Ну что, у нее сиреневое есть платье.* С другим глаголом в составе несвободного словосочетания: *Не поймешь, мятое оно или глаженое. Оно примерно одинаковый имеет вид; — Он ужасный имеет вид;— Она очень хороший имеет вид* [31].

Безударное звено даже и при наличии безударного глагола может быть занято другим словом энклитического характера, ср.: у *них была очень хорошая тут компания; У нас была большая здесь команда* (радиорассказ работницы фабрики); — *Зачем туда идти? Противоположный будет голый совершенно берег.* Чаще это происходит при отсутствии связки настоящего времени: — *Я уверен, что это очень сухие, между прочим, дровишки; Да там целое почти ведро!; Мы старые с вами знакомые* (выступление М. Жарова в передаче «С добрым утром»); *Они созревают почти одновременно, земляника и черника. У них небольшая совсем разница; А вообще каторжная ведь работа-то; У нас жуткие здесь столовые; Под цвет ее волос, чудесный просто парик; У нас вообще высокие все парты; Они очень хорошие вообще люди* [32].

---

[30] Другой материал приводится в статье: О. А. Лаптева, Расположение компонентов в группе «определяемое — одиночное согласованное определение» в современной устно-разговорной речи, сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 158.

[31] См. там же, стр. 159.

[32] Изменение степени предикативности прилагательного (вплоть до полного его отсутствия) не меняет характера схемы. См. там же, стр. 160).

Реже существительное предшествует прилагательному, ср.: *У нас делегация там иностранная*; — *Мальчишки купались маленькие*; — *А где тетрадь по арифметике чистая, а?*; *Вот интересно посмотреть, как тут деревня выглядит настоящая*; *Вообще 50 км когда пройдешь, да еще в одном месте лыжня была плохая очень...*; *Был не то декабрь, не то ноябрь, в общем слякоть стояла невероятная*[33].

б) Разъединение осуществляется относительно объекта речи и информативно важного для высказывания прилагательного (или местоимения), определяющего этот объект. Схема принципиально та же, в качестве разъединяющего элемента чаще всего выступает глагол [34]. Ср.: *Прочти Исакова «Из дальних далей», что-то в этом роде. Второй прочти рассказ*; — *Зачем же вы все это купили? Стиральную зачем купили машину?*; — *Помнишь, отличный мы видели мультфильм*; *Последнюю даю консультацию*; *Она очень приятное произвела впечатление*; — *Вермишель я вчера не ела, мясо я тоже не ела, я весь съела суп*; — *Товарищи, можно демисезонное надевать пальто?*; — *Она не очень юная, но она спартанский ведет образ жизни*; *Вот вы нам чудную привели соседку*; — *Все знаю лекарства, которые надо принимать, но я не принимаю.* С другими энклитическими словами: *Длинную ты фразу говоришь*; *Хороший мне анекдот рассказали, братцы*; *Немалый они мне ущерб нанесли* [35].

в) Ударное место в схеме может принадлежать наречному слову. Обычным безударным элементом выступает глагол, ср.: — *Ну конечно, вам еще много предстояло работы*; *Там много оказалось народу*; *Там много было людей*; — *Это правда, что во французский так много проникает английских слов?*; *Сегодня был большой счет и много было забито мячей* (радиорепортаж); — *У нас очень много было мышей*; — *Уезжают, значит, у меня сегодня много будет дел*; — *У меня много таких проходит воротников*; *Высказывание Н. С. очень интересно, оно заставляет много думать и много придется поработать*; — *Ты много увидишь интересного* (*ср.: Когда я преподавал в техникуме, массау меня была ребят, пришедших оттуда*); *Если это мало займет места, это все равно должно быть основным*; *Я вообще удивляюсь, что мало тут пожаров*; *я смотрю — в полвосьмого столько стоит народу*; *Вы знаете, у нас столько было перестановок...*; *Там столько было народу — ужас просто*; *она всех нас намного была старше*; — *Рассказывают, что здесь настолько был густой лес, что этот дом не виден был*; — *Они совсем были маленькие, наверное.* Безударное место может быть занято и другими энклитическими и даже полноударными (в других условиях) словами: *Немножкоу нас масла осталось*; — *Тут ведь особенно нет маленьких палат*; *По той речке, где мы проходили, очень много по берегам малины.* В некоторых случаях глагол выступает в ударной позиции, и тогда безударные звенья получают иное энклитическое заполнение: — *Вы знаете, мы как там снимали!*; — *Лидунь, хорошо у тебя очень получается*; *Она беззаботно так резвилась!*

---

[33] О распределении информативно-коммуникативной нагрузки членов в таких построениях см. там же, стр. 154—157.

[34] Это хорошо согласуется с наблюдениями чехословацких синтаксистов над особым поведением глагольного члена, занимающего промежуточное положение между темой и ремой высказывания.

[35] См.: О. А. Лаптева, Расположение компонентов..., стр. 158—162.

Особый интерес с точки зрения выявления специфики литературной речи представляет плеонастическое употребление наречного слова, которое таким образом получает лишь единственное назначение во фразе — заполнить пустующее ударное звено схемы в целях сохранения повышенной экспрессии речи, ср.: *Так она мне нравится!*; *Так мне было плохо!*; *Так там было просторно!*; *Мы так всегда дрожали, когда сдавали ему экзамены*; — *Вот попробуй ее возьми, она так начнет кусаться!*;— *Шапка эта — отличная штука. Так она здорово от солнца защищает*; *Это так было ужасно написано*; *и так их интересно было собирать*; *Жутко было здорово*;— *Там жутко было холодно*; *мы жутко сидели злились*;— *Страшно пошли переполненные автобусы*; *страшно она мне нравилась*; *страшно был веселый семинар*; *страшно она рада была брошке!*; *Просто ужасно мне не нравится такая темнота!*; *я ужасно была убита*; — *Тот совершенно пошел пустой сорок восьмой*;—*У него необыкновенно была красивая жена*; ср.:— *Вы знаете, я до того всегда тоскую.*

г) Практически по схеме чередования ударных и безударных звеньев может организовываться размещение во фразе любых ее членов. Приведем суммарно некоторые материалы без дальнейшей дифференциации: *Вот эта полегче будет лопата*; *Больше всего меня два потрясло отчета*; *Там семеро было москвичей*; *Она шестьсот рублей получает пенсию*; *Она в семь уедет утра*; *там несколько тысяч погибло населения* (радиорассказ); *Ты только гарнитуров не покупай. Здесь все должно быть висячее*;— *Полтора десятка пустили поездов*;— *Между прочим, она сказала, что в нашей комнате больше всех было тараканов*;— *Ну конечно их сейчас нет. Они только бывают осенью*;— *Наверное, часть удалили к ишок*;—*Там еще Марина переписку ведет с Эстонией*;— *Я позвонил как раз, когда у него разгар был болезни.* С неглагольным замещением безударного звена:— *Вы будете мыть голову?*— *Я буду, потому, что чешется просто голова*;—*Ты открой себе окошечко*; *У меня сейчас немножко это ослабло*;— *Дайте Лиду мне Некрасову*; *Поток там машин — улицу не перейдешь ни за что.*

д) Как показывает материал, наиболее частой реализацией схемы чередования ударных и безударных звеньев являются построения с определительными словами, преимущественно с прилагательными. Необходимость следования этой схеме проявляется в речи шире, нежели потребность в употреблении информативно значимого прилагательного, как это уже было показано относительно наречных определителей. В устно-литературной речи в качестве заполнителей пустующих звеньев специализировались местоименные слова *такой*, *какой*, *какой-то*, *никакой* в плеонастическом употреблении (в словарях не отмечаемом) [36]. Их использование позволяет поддерживать видимость постоянной эмоциональной напряженности речи. Обычно они заполняют ударное звено: *с таким я маразмом столкнулась*; *такая была жара, ужасная*; *такой был ветер, просто ужас*; *такая вчера была буря*; *такая была тут стужа — зуб на зуб не попадает*; *такая была*

---

[36] Отчасти это было показано в нашей статье «Расположение компонентов...», стр. 161—163. О «максимальной формализации» слова *такой* в конструкциях иного типа вплоть до приобретения им «функции усилительной частицы» в близких к рассматриваемым нами построениях говорит Н. Н. Прокопович («Сложные предложения с преддъективной придаточной частью», ВЯ, 1965, 6, стр. 95—96).

хорошая погода; такой был шум; такая была прическа, так они у меня вились; такая шла девчонка, я видел; такой он тогда был смешной; там такая будет духота от местных жителей; такая мне попалась плохая пара; такая чудная у меня двухместная палата; у нее коньки такие были тупые; меня такая охватывает боязнь; такую он говорил чушь — ни одного ценного замечания!;— А мы какие купили чулки!;— Смотри, какие теплые у меня руки!; Смотри, какой хлеб привезла она большой!; Какой у вас хороший умывальник!;— Смотри, вон какой поезд красивый!;— Посмотри, какой сломали дом!;— Ой, какая каша пшенная вкусная тоже в печке получается!;— Ой, какие они, девочки, красивые, прямо роскошь (о цветах);— *Ты какая-то опять стала тоненькая; какое-то она потерянное создание;— Ты знаешь, я какая-то страшно от всего незащищенная; Мы будем ждать четыре года и никакого не будет ответа; —Я валяюсь, валяюсь, никакого нет сдвига;— Смотрю — никаких там нет тарелок;— Дежурные так изощряются, а у меня никакой нет идеи;— А ко мне это никакого не имеет отношения?*

Реже плеонастическим местоимением заполняется безударное звено схемы, ср.: — *Слабые такие работы!;— Серпухов — проклятый какой-то город;— Нету тебя никаких камней; Команды никакой не было.*

е) Среди плеонастических слов общеусилительного значения особое место занимает наречие *очень*. Оно оказалось чрезвычайно удобным элементом для заполнения как ударных, так и безударных пре- и постпозитивных звеньев в силу своей легкой присоединяемости и к глаголам, и к разного рода предикативным словам, и к прилагательным. Устно-разговорная литературная речь дает обширный материал, показывающий спецификацию наречия *очень* в этой функции. Особенно часто *очень* заполняет первое ударное звено: *Очень он любит апельсины; так что химику очень было трудно расшифровать; Очень он нам понравился, замечательно просто; очень они мне нравятся;— Мам, знаешь, мне очень какая понравилась картина?; Очень она была расстроена; попроси, чтоб побольше сверху сняли, а то очень ты лохматый ходишь;— Очень было жалко, что он такой дурак;— Очень я испугался;— Нет, так я не могу. Это очень надо срочно;— За тридцать пять рублей очень купили приличную коляску; И ее очень жалко. Очень у нее несчастный вид;— И очень мы с ним откровенно разговаривали; Это очень старая конструкция и она в XIX веке очень была развита;— Хиония очень мне нравится; Очень были тяжелые вот эти вот явления.* Ради заполнения схемы могут даже нарушаться обычные линейные отношения членов фразы: *Я считаю, что конкурс очень проходит на высоком артистическом уровне. Очень* заполняет срединное безударное звено: *В Москве нашел, и там интересная очень подробность;— А сейчас ушла?— Да, она плохо очень спала; в палате больные очень люди, 74-х лет человек;— Загорели вы, што ли, здесь?— Я загорела. Я быстро очень загораю;— А это ответственная очень вещь;— Вы знаете, во-первых была плохая очень погода;— Вот это хорошая очень кофта; Сейчас приедет Надежда Федоровна. Бодрая очень женщина;— Потому что маленькие очень ребята;—Она милая очень женщина;— У меня низкое очень давление. Очень* заполняет второе ударное (иногда безударное) звено:— *Сереж, ты какой большой уже стал очень;—*

В Средней Азии был случай интересный очень;—Плащи красивые продавались у нас очень[37].

За неимением места мы не рассматривали здесь типизированные схемы движения тона в разных коммуникативно-модальных типах высказывания.

Относительно принципов линейно-динамической организации фразы в диалектной речи можно ограничиться лишь общими замечаниями, поскольку для ее детального изучения требуется специальный сбор материала. Как показывают обследованные материалы, диалектной речи свойственна совсем иная речевая манера. И строение вопросительной реплики, и строение высказывания повествовательного плана осуществляется здесь без специальных приемов его расчленения на две или больше информативно значимые части с выносом в инициальную позицию коммуникативно наиболее существенного. Исходная синтаксическая схема предложения при его речевой реализации особых изменений здесь не претерпевает. Как это ни парадоксально, в этом смысле диалектная речь оказывается ближе к письменно-литературной, чем к устно-литературной. Диалектной речи не свойственно плеонастическое употребление местоименных и наречных слов; материалы показывают, что эти слова используются в их прямом номинативном значении, с возможными территориальными модификациями, и не служат усилению эмоциональной окраски речи. Интонационные перепады внутри фразы и ритмическая разноформленность ее частей, свойственные устно-литературной речи, в диалектах как типизированные приемы не встречаются. При всем интонационном своеобразии отдельных говоров и групп говоров интонация здесь скорее носит характер сопроводительного, нежели формирующего элемента фразы. Она обычно более суммарна и в меньшей мере связана с конкретным типом фразы[38] (ср. интонационное различие двух типов вопроса в устно-литературной речи: — *А вот эта решетка, она закрывается?*— тип ⟍|⟋ и — *Мы пойдем в кино*? — тип ⟋|⟍). Конечно, интонационно и линейно расчлененная фраза спорадически может встречаться и в диалектной речи (причем в ю.-в. -р. говорах это более допустимо), однако массового, типового, нормативного характера такое расчленение не получает. Возможно, это связано с наличием специально диалектных элементов, способствующих обособленному появлению слов в речи (постпозитивный член, различные постпозитивные частицы — *дък*, *тък*, *да*, *как*, повторяющиеся союзы и предлоги).

Эти негативные результаты сравнения важны для понимания специфики современной устно-литературной речи. К сожалению, недостаточное количество и разнородный характер материала пока не позволяют осуществить конкретное сравнение функционально и тематически сходных фраз (типа: констатирующая реплика со значением оценки, краткая вопросительная реплика — заметим кстати, что диалектные вопросы исследователями-собирателями, которые выступали в роли спрашивающих, а не отвечающих, вообще не фиксировались[39] — и под.).

---

[37] Приведенный материал показывает, что получившая широкое распространение в исследованиях по порядку слов теория «темы» и «ремы» (resp. «данного» и «нового», «исходного» и «ядра») не может применяться к разговорному материалу без существенных коррективов.

[38] См.: П. С. Кузнецов, О говорах верхней Пинеги и верхней Тоймы, «Материалы и исследования по русской диалектологии», I, М.— Л., 1949.

[39] Исключением являются только записи А. С. Машкиным городского просторечия и записи, представленные в «Материалах для изучения великорусских говоров».

*

Избранные нами два аспекта сравнения позволяют сделать некоторые предварительные выводы.

1. Устный характер формирования высказывания определяет наличие ряда общих особенностей в устно-литературном и диалектном синтаксисе. «Раскованный», неподготовленный характер речи обусловливает возможность разного рода непредусмотренных в первоначальных установках высказывания отклонений от намеченной синтаксической схемы. Такого рода отклонения не приобретают нормативных свойств и не становятся речевыми клише [40].

2. На базе этих устно-речевых отклонений в устно-литературной речи возникают типизированные структуры с разветвленной системой разновидностей: автоматизированный характер речи превращает их в речевые клише, получающие массовое распространение и нормативный характер. Эти структуры в какой-то своей части известны и диалектной речи (поскольку и устно-литературная и диалектная речь имеют единую устно-речевую основу) [41], но там они не получают дифференцированной системы типизированных разновидностей (показательно, что этот вывод можно сделать несмотря на количественно лучшую представленность диалектных материалов). Основное отличие устно-литературной речи от диалектной состоит в том, что тенденция к расчленению высказывания находит в устно-литературной речи типизированное формальное воплощение, развивающееся в пределах собственно литературного языка. Особенно ярко это отличие проявляется в сфере линейно-динамической организации высказывания. Наиболее показательные материалы в этом смысле должен дать диалогический обмен репликами как область максимального проявления эмоциональности речи.

3. Получающийся при наложении двух речевых подсистем остаток в применении к устно-разговорной разновидности литературного языка должен указывать на область наибольшей концентрации ее релевантных отличительных особенностей (в иной терминологии — стилеобразующих признаков), осуществляющейся в условиях активно протекающих процессов дифференциации функционально-коммуникативных вариантов литературного языка. Особое значение для исследования этой области будет иметь выяснение типологических соответствий в разговорном синтаксисе разных языков [42], а также привлечение исторических материалов [43].

---

[40] Тем не менее К. Кожевникова намечает перспективы их типологического рассмотрения (K. Koževniková, Některé vztahy obsahové a výrazové výstavby v nepřipraveném mluveném projevu, «Slavia Pragensia», X, 1968).

[41] Из-за недостатка места здесь не рассматривались некоторые конструкции, свойственные и диалектной и устно-литературной речи, например эквиваленты письменно-литературных подчинительных конструкций.

[42] См.: Ю. М. Скребнев, Типологические аналогии в синтаксисе разговорной речи неблизкородственных языков, «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Тезисы докладов к II(III) республиканской научной конференции», Горький, 1968.

[43] Ср: Vl. Barnet, K diferenciačním a integračním tendencím ve vývoji spisovného jazyka, сб. «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

И. И. РЕВЗИН, Г. Д. ЮЛДАШЕВА

ГРАММАТИКА ПОРЯДКОВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

I. Вводные замечания. Во многих случаях при описании языка удается упорядочить элементы в системе, используя их позиции в правильных последовательностях (цепочках), причем для каждых двух элементов системы, участвующих в некоторой последовательности, можно предсказать, какой из них будет предшествовать.

Самый принцип упорядочения использовался во многих работах [1], но, по-видимому, первое теоретическое обоснование этого метода принадлежит Глисону [2]. Поэтому прежде всего разберем систему Глисона, затем попытаемся построить формальную модель грамматики порядков, и вновь применить эту модель к примеру, рассматриваемому Глисоном.

II. Система Глисона. Понятие порядка у Глисона вводится следующим способом: «...порядок 1 включает все те суффиксы, которые следуют непосредственно за корнем. Порядок 2 включает такие суффиксы, которые могут следовать непосредственно за морфемой первого порядка или непосредственно за корнем, когда морфема первого порядка отсутствует, но не дальше от корня. Порядок 3 состоит из суффиксов, следующих за корнем или за морфемами первого и второго порядков» [3] и т. д. Для описания турецкого глагола Глисон выделяет десять порядков. Распределение аффиксов по порядкам следующее:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-il	*-tir*	*-ma*	*-ir*	*-di*	*-lar*	*-sa*	*-m*	*-mi*	*-im*
-iş			*-iyor*				*-k*		*-iz*
-in			*-acak*				*-n*		*-sin*
			-malı				*-niz*		*-siniz*

По поводу этого распределения можно сказать следующее:

1. В первый порядок выделены три аффикса: *-il* (пассивность), *-iş* (взаимность), *-in* (возвратность). Согласно принципу, положенному в основу классификации, в слове может встретиться только один аффикс каждого порядка. По этому поводу Глисон пишет: «Если бы, например, в слове наличествовало два аффикса первого порядка, тогда один из них должен был бы следовать за другим, но по нашему определению член первого порядка может следовать лишь за корнем. В таком случае вся наша класси-

---

[1] Идея грамматики порядков в советском языкознании, по-видимому, впервые была использована в книге: Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М. — Л., 1941, стр. 352—357. Здесь указана роль такой грамматики при синтезе фразы, показано значение порядка расположения аффиксов для различения омонимических аффиксов, а также (что для нас особенно существенно) отмечено, что взаимная неупорядоченность отдельных групп аффиксов не мешает проведению упорядочения остальных аффиксов. Развиваемая в этой замечательной книге концепция ближе всего к предложенной формализации.

[2] Г. Глисон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 164—169.

[3] Там же, стр. 164.

фикация оказалась бы несостоятельной и нам пришлось бы пересмотреть ее, чтобы привести в соответствие с фактами языка» [4].

Обращение к фактам языка показывает, что данный принцип (невозможность наличия в слове двух аффиксов одного порядка) не выдерживается. Есть немало слов, где возможна, например, последовательность аффиксов *-iş* + *il* (типа *görüşülmek* «встречаться»). Наличие подобных случаев, согласно теории Глисона, обесценивает его систему.

2. Во второй порядок выделен аффикс каузативности *-tir*. Выделение данного аффикса во второй порядок должно свидетельствовать о том, что *-tir* следует за аффиксами первого порядка и не предшествует им. Этому, однако, противоречат отнюдь не единичные случаи типа *arttirilmak* «быть увеличенным», где *-tir* располагается перед аффиксом первого порядка *-il*.

3. В шестой порядок выделен аффикс множественности *-lar*.

Само по себе стремление Глисона выделить аффикс мн. числа и найти ему место — небезынтересно, хотя в системе имени это сделать гораздо проще, чем в системе глагола, где выделение аффиксов числа представляет большую трудность, так как их можно выделить только в 3-м лице — нулевой аффикс для ед. числа и *-lar* для мн. числа. В 1 и 2-м лицах аффиксы числа не поддаются вычленению, поскольку значения числа и лица выражаются флективно. Таким образом, выделение специального порядка для аффиксов числа пока нельзя считать целесообразным.

4. В седьмой порядок выделен аффикс условности *-sa*. С этим нельзя согласиться, поскольку *-sa* никогда не встречается после *-lar*.

Таким образом, Глисон, с одной стороны, непоследователен в проведении выдвинутой формальной системы, а с другой стороны, подгоняет факты под свою систему, опуская те из них, которые ей противоречат. Неудачна и лингвистическая интерпретация в связи с тем, что строго не проводится принцип соответствия между порядками и выражаемыми значениями.

В советской тюркологии интересная попытка увязать место аффикса, а именно степень его удаленности от корня с общим характером выражаемого им значения была предпринята Н. К. Дмитриевым [5]. В этом же направлении работал и А. М. Щербак [6]. В последнее время сходная идея развивалась Н. А. Баскаковым, который делит все аффиксы тюркских языков на следующие классы (перечислим только интересующие нас классы глагольных аффиксов):

А — аффиксы лексико-грамматического словообразования,

В — аффиксы функционально-грамматического словообразования,

С — аффиксы словоизменения.

Аффиксы первой группы распадаются на две подгруппы:

АI — аффиксы, преобразующие глагол в именную основу,

АII — аффиксы, модифицирующие глагольный корень без преобразования его в именную основу.

Далее Н. А. Баскаков устанавливает, что дальше всего от корня стоят аффиксы группы С, ближе стоят аффиксы группы В, затем аффиксы группы АII и ближе всего к корню аффиксы группы АI. «Таким образом, в структуре тюркского слова наиболее абстрактные грамматические категории выражены в аффиксах, наиболее отдаленных от корня. Чем ближе стоят к корню те или иные форманты, тем больше вещественного, лексического заключено в категориях, ими выраженных» [7].

---

[4] Там же.

[5] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.— Л. 1948, стр. 45, 46 и сл.

[6] А. М. Щербак, О методике морфологического описания языка, ВЯ, 1963, 5.

[7] Н. А. Баскаков, Тюркские языки (Общие сведения и типологическая характеристика), «Языки народов СССР», II, М., 1966, стр. 31, см. также стр. 27—32.

Применительно к классам, выделенным Баскаковым, это, несомненно, верно. Однако эти классы носят слишком суммарный характер и внутренне неоднородны, внутри же этих классов, как мы увидим, существует строгая упорядоченность, которая уже не может быть охарактеризована столь общим способом. Тем не менее самый принцип соотнесения места аффикса в слове с его значением представляется весьма плодотворным.

III. Модель грамматики порядков. Систему Глисона можно описать следующим способом.

Пусть имеется множество μ исходных элементов и задано множество правильных последовательностей θ. В каждой последовательности присутствует ровно один элемент, называемый центральным (в интерпретации Глисона центральным элементом является корень, но возможны другие интерпретации, см. ниже).

Предварительно введем следующее индуктивное определение.

Определение 1. а) Каждый центральный элемент является элементом 0-го квазипорядка; б) каждый элемент, непосредственно следующий за элементом i-го квазипорядка есть элемент $(i+1)$-го квазипорядка, а каждый элемент непосредственно предшествующий элементу i-го порядка, есть элемент $(i-1)$-го квазипорядка.

Пример I. Пусть имеется следующие правильные последовательности: *abcdef*, *acdf*, *bcf*, *abce*, причем элемент *c* — центральный, т. е. имеет квазипорядок 0. Применим теперь пункт б: элементы *d*, *e*, *f* относятся к квазипорядку 1, а элементы *b*, *a* — к квазипорядку —1. Еще раз применяем пункт б. Теперь элементам *e*, *f* можно приписать квазипорядок 2, а элементу *a* — квазипорядок —2. Еще раз применив пункт б, припишем элементу *f* квазипорядок 3.

Итак, каждый элемент может иметь несколько квазипорядков. Для дальнейшего ограничимся случаем, когда для любого *x* все квазипорядки имеют один знак, и введем еще одно определение.

Определение 2. Порядком элемента *x* является: а) 0, если его квазипорядок 0; б) его максимальный квазипорядок, если все квазипорядки суть числа положительные; в) его минимальный квазипорядок, если все квазипорядки суть числа отрицательные.

Обозначим порядок элемента *a* через $p(a)$. Так, в примере I имеем следующие порядки: $p(a)=-2$, $p(b)=-1$, $p(c)=0$, $p(d)=1$, $p(e)=2$ и $p(f)=3$. Приведем сразу же простой лингвистический пример (ряд примеров подобного рода рассматривается в неопубликованной работе И. Штерн).

Пример II. Пусть правильные последовательности — это следующие слова русского языка: *бес + хозяй + ств + енн + ость*, *не + бес + полез + н + ость*, *не + до + у + комплект + ов + анн + ость*, *не + комплект + н + ость*, *духов + н + ость*, причем центральные элементы, естественно, — *хозяй-*, *комплект-*, *полез-*, *дух-*.

Квазипорядок —1 имеют *бес-*, *у-*, *не-*, квазипорядок —2 имеют *не-*, *до-*, квазипорядок —3 имеет *не-*. Квазипорядок +1 имеют *-ств-*, *-н-*, *-ов-*, квазипорядок +2 имеют *-н-*, *-енн-*, *-ость-*, *-анн-* и квазипорядок +3 имеет *-ость*. Таким образом $p(не)=-3$, $p(до)=-2$, $p(бес)=-1$ $p(у)=-1$, $p(ов)=+1$, $p(н)=p(анн)=p(енн)=+2$, $p(ость)=+3$.

Из этого примера видно, что система хорошо работает в ряде лингвистически значимых случаев. Тем не менее, из примеров, приведенных в связи с обсуждением таблицы Глисона, следует, что во многих случаях она отказывается служить. Рассмотрим здесь следующий простой пример.

Пример III. Даны правильные последовательности *cabd*, *cbad*, где *c* — центральный элемент.

Здесь c имеет квазипорядок 0, a и b — квазипорядок $+1$, и затем a, b, d имеют любой квазипорядок $+2$, $+3$, $+4$, ... Таким образом, порядок определить невозможно, ибо нет максимального квазипорядка. В этом примере сразу же видно, что это происходит из-за наличия таких элементов a и b, что в одной последовательности a предшествует b, а в другой b предшествует a.

Обозначим тот факт, что «x предшествует y хотя бы в одной последовательности», через $x \to y$, а тот факт, что x находится между y и z хотя бы в одной последовательности через «между (x, y, z)».

Определение 3. Назовем два элемента x и y взаимно неупорядоченными, если $x \to y$ и $y \to x$ или существует элемент z такой, что: а) $z \to y$, $y \to z$ и между (x, z, y) или б) $z \to x$, $x \to z$ и между (y, x, z).

Теперь мы хотим — в отличие от Глисона — так устанавливать порядки, чтобы взаимно неупорядоченные элементы не влияли на упорядочение остальных элементов. Поэтому будем считать, что прежде всего выделены все пары взаимно неупорядоченных элементов.

После этого следующим образом перестроим определение 1: в пункте б) мы будем присваивать $(i+1)$ квазипорядок некоторому элементу x лишь тогда, когда он непосредственно следует за элементом y (или непосредственно предшествует элементу y), который имеет i-квазипорядок и не является взаимно неупорядоченным с x. Одновременно вводится следующее добавление: если некоторому элементу присвоен i-й квазипорядок, то этот квазипорядок получают все элементы взаимно неупорядоченные с ним. Так, в примере III мы присваиваем a и b квазипорядок $+1$ и не можем присвоить квазипорядок $+2$, а элемент d получает квазипорядок $+2$.

Из того, что два взаимно упорядоченных элемента попадают в один порядок, вовсе не следует, что в пределах одного порядка все элементы взаимно неупорядочены. Так, в примере II элементы *-н*, *-енн*, *-анн* входят в один порядок и не являются взаимно неупорядоченными.

Определение 4. Элементы, входящие в один порядок и не являющиеся взаимно неупорядоченными, называются дополнительно распределенными.

Естественно считать, что дополнительно распределенные элементы не влияют на степень упорядоченности, в то время как наличие взаимно неупорядоченных элементов сильно снижает ее. Поэтому можно предложить следующую меру упорядоченности системы. Пусть P — число порядков, N — число взаимно неупорядоченных элементов (получающееся сложением чисел всех таких элементов для каждого порядка). Тогда в качестве меры упорядоченности можно принять число

$$\mu = 1 - \frac{N}{P+N-1} = \frac{P-1}{P+N-1}$$

Применим ее к примерам. В примерах I и II $\mu = 1$. Это действительно для всех систем, к которым осмысленно применимо определение 1. В примере III число порядков $P = 3$, число взаимно неупорядоченных элементов $N = 2$. Поэтому $\mu = {}^1/_2$.

Для качественного сравнения систем целесообразно ввести также следующие понятия. Если во всех последовательностях центральный элемент стоит на первом месте, система называется прогрессивной, если же он стоит во всех последовательностях на последнем месте, то система называется регрессивной.

Пример IV. Правильные последовательности *abcdee*, *adc*, *abbcee*, где a — центральный элемент. Система прогрессивна (здесь, кстати, $P = 4$, $N = 2$ и следовательно $\mu = \frac{3}{5}$).

Пример V. Правильные последовательности *bca*, *ca*, *cda*, *bcba*, где *a* — центральный элемент. Система регрессивна. Здесь $P = 3$, $N = 2$ и, следовательно, $\mu = \frac{2}{4}$.

Определение 5. Два элемента из одного порядка относятся к одному подпорядку, если в любой последовательности замена x на y и y на x приводит к правильной последовательности.

Очевидно, что система тем проще, чем меньше подпорядков в каждом порядке. Поэтому можно предложить следующую меру простоты системы. Пусть P — число порядков, а Q — число подпорядков. Тогда мера простоты равна $\frac{2P}{Q}$. В предельном случае, когда каждый порядок включает всего один подпорядок, эта мера принимает значение 2. Но поскольку, как будет ясно из дальнейшего, мы будем иметь дело с такими системами, в которых каждый порядок состоит по крайней мере из двух подпорядков, такая мера представляется разумной.

Если имеется система элементов, разбитая на порядки, причем каждый порядок в свою очередь разбит на подпорядки, то теперь легко построить устройство, способное на основе этой информации порождать все правильные последовательности системы, т. е. построить грамматику порядков.

Грамматику порядков можно задать как таблицу, разбитую на порядки и подпорядки, и систему правил, фиксирующую, какие подпорядки $i + 1$-го порядка возможны после того, как выбран элемент j-го подпорядка i-го порядка. Далее будут построены примеры таких грамматик, но уже на лингвистически значимых примерах.

IV. Классификация глагольных аффиксов современного узбекского литературного языка по порядкам. При классификации глагольных аффиксов узбекского языка ограничиваемся лишь простыми формами синтетических глаголов (отыменные глаголы для простоты не рассматриваются).

Первый порядок приписывается аффиксу *-ла* (а также аффиксам *-қила/-гила*, *-қила/-гила*) со значением интенсивности (возможные комбинаторные значения: многократность, учащательность). Эти аффиксы предшествуют всем остальным аффиксам, например: *бук + ла + моқ* «складывать», *қув + ла + моқ* «преследовать», *тит + кила + моқ* «шарить», *югур + гила + моқ* «бегать», *чўз + гила + моқ* «растягивать».

Ко второму порядку относится аффикс *-ин/-н*, выражающий значение возвратности, ср. *ишқа + ла + н + моқ* «тереться», *турт + кила + н + моқ* «подвергаться выталкиванию», *чўз + гила + н + моқ* «подвергаться вытягиванию».

Третий порядок имеют: аффикс каузативности **-тир*[8] — подпорядок 3.1, аффикс со значением взаимности — совместности *-иш/-ш* — подпорядок 3.2, аффикс пассивности **-л*[9] — подпорядок 3.3. Эти морфемы всег-

---

[8] Аффикс **-тир* выступает как некий абстрактный символ, указывающий на место каузативного значения в системе глагольного слова. Данный абстрактный аффикс реализуется в нашей системе в виде двух неразложимых аффиксов *-тир/-дир* и *-ит/-т*. Эти аффиксы удобно рассматривать как алломорфы (при условии учета формируемого далее правила о возможности их сочетания). Достаточно широкое употребление удвоенных алломорф в тюркских языках показано в работе: Г. Ф. Благова, Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом освещении, ВЯ, 1968, 6. Кроме аффикса **-тир*, в отдельных случаях, задаваемых особым списком (или словарем), в значении каузативов выступают аффиксы *-ар/-ир*, *-аз/-из*, *-гиз/-гиз*, *-газ/-газ/гоз*, *-қиз/-киз*, *-қаз/-каз/-қоз*.

[9] Аффикс пассивности **-л* также удобнее представить как абстрактный символ, которому соответствуют два аффикса *-ил/-л*, *-ин/-н*, например, *ўқимоқ — ўқи + л + моқ* «быть прочитанным», *олмоқ — ол + ин + моқ* «быть взятым». О том, как происходит выбор *-ил-л*, *-ин/-н* см. ниже — «Морфологические правила».

да располагаются после аффиксов второго или первого порядков, например, *бук + ла + т + моқ* «заставить складывать», *қув + ла + ш + моқ* «совместно преследовать», *қув + ла + н + моқ* «быть преследуемым», *ишқа + ла + н + моқ* «тереться», *сев + ин + тир + мок* «обрадовать», *ёп + ин + иш + моқ* «совместно накрываться». В слове может употребляться до трех аффиксов т р е т ь е г о порядка. Укажем хотя бы на следующие сочетания аффиксов:

-тир/--дир + -иш — тўл + дир + иш + моқ «совместно наполнять»,
-тир/-дир + -ил — тўл + дир + ил + моқ «быть наполненным»,
-ит-/-т + -иш — ўқи + т + иш + ди «они совместно заставили читать»,
-иш/-ш + тир — ур + иш + тир + моқ «стравливать»,
-ит/-т + -ил — ёри + т + ил + моқ «быть освещенным»,
-ит/-т + -тир — ўқи + т + тир + моқ «заставить читать»,
-иш/—ш + -ил — англа + ш + ил + моқ «быть понимаемым»,
-ил/-л + -тир — тик + ил + тир + моқ «заставить всовываться, забиваться»,
-ил/-л + -иш — ёз + ил + иш + моқ «совместно записываться»,
-иш/-ш + -иш — учра + ш + иш + моқ «совместно встречаться друг с другом»,
-иш/-ш + тир + -ил — ур + иш + тир + ил + моқ «быть стравленным»,
-т + -тир + -иш — бўя + т + тир + иш + ди «они совместно заставили покрасить»,
-т + -тир + -ил — бўя + т + тир + ил + ди «было покрашено»,
-иш/-ш + -тир + -иш — учра + ш + тир + иш + ди «они совместно заставили (кого-то) встретиться друг с другом».

Четвертый порядок занимает аффикс отрицания *-ма*: *юв + дир + ма*! «не заставляй мыть!», *ур + иш + ма*! «не дерись!», *ёз + ил + ма*! «не записывайся!», *кий + ин + ма*! «не одевайся!».

Примечание. Нами выбран способ, при котором отрицательный аффикс *-мас* разлагается на два — *-ма* и *-с*. При таком подходе не только экономнее описание, но и может быть облегчен анализ диалектных форм типа *ёзмарман* вместо литературного *ёзмасман*.

Пятый порядок приписывается аффиксам, выражающим значения времени и наклонения. Сюда относятся следующие морфемы: аффикс настоящего конкретного времени *-аяп/-яп* — подпорядок 5.1: *кий + ин + тир + ма + яп + ман* «я не одеваю в данный момент»; аффикс с тем же значением *-аётир/-ётир* [10] — подпорядок 5.2: *кий + ин + тир + ма + ётир + ман* «я не одеваю в данный момент»; аффикс *-а*, *-й* (настоящее-будущее время) — подпорядок 5.3: *кий + ин + тир + ма + й + ман* «я не одеваю»; аффикс прошедшего категорического времени *-ди* — подпорядок 5.4: *кий + ин + тир + ма + ди + м* «я не одел»; аффикс *-иб/-б* (прошедшее субъективное время) — подпорядок 5.5: *кий + ин + тир + ма + б + ман* «оказывается, я не одевал»; аффикс *-ган* (прошедшее перфективное время) — подпорядок 5.6: *кий + ин + тир + ма + ган + ман* «я не одевал»;
аффикс *-гандир* [11] (прошедшее предположительное время) — порядок

---

[10] В узбекской лингвистической литературе аффиксы *-аяп* и *-аётир* обычно разлагаются на два составляющих каждый: *а + яп* и *а + ётир* (см.: А. Н. К о н о н о в, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.— Л., 1960, стр. 211—212). Для наших целей удобнее считать каждое из данных сочетаний единым аффиксом и рассматривать их как алломорфы аффиксов *-яп*, *-ётир*.

[11] Аффикс *-гандир* обычно разлагается на два составляющих: *-ган* и *-дир* (см. А. Н. К о н о н о в, указ. соч., стр. 219). Мы рассматриваем его как один аффикс, поскольку в современном узбекском литературном языке морфема *-дир* употребляется в этом порядке только в сочетании с *-ган*.

5.7: *кий + ин + тир + ма + гандир + ман* «возможно, я не одевал»; аффикс *-ар/-р*, *-с* [12] (будущее предположительное время) — подпорядок 5.8а и 5.8б: *кий + ин + тир + ар + ман* «возможно, я одену, буду одевать».; аффикс *-ажак/-яжак*(будущее категорическое время) — подпорядок 5.9: *кий + ин + тир + ма + яжак + ман* «я не одену, не буду одевать»; аффикс условности *-са* — подпорядок 5.10: *кий + ин + тир + ма + + са + м* «если я не одену, если не буду одевать»; аффикс, выражающий значение желания *-ай/-й* — подпорядок 5.11: *кий + ин + тир + ма + й + ин* «не одену-ка я», и, наконец, порядок 5.12 занимает нулевой аффикс выражающий повеление: *кий + ин + тир + ма + Ø + нг* «не одевайте!».

Шестой порядок имеют аффиксы, выражающие лицо и число.

Подпорядок 6.1 составляют аффиксы *-ман*, *-миз* (для 1-го лица ед. и мн. числа: *кий + ин + тир + ма + яп + ман*, *кий + ин + тир + + ма + яп + миз* «я, мы не одева(ю, ем)»; *-сан*, *-сиз* (для 2-го лица ед. и мн. числа): *кий + ин + тир + ма + яп + сан*, *кий + ин + тир + ма + + яп + сиз* «ты, вы не одева(ешь, ете)»; *-ти/-ди*, *-тилар/-дилар* (для 3-го лица ед. и мн. числа): *кий + ин + тир + ма + яп + ти*, *кий + ин + + тир + ма + яп + тилар* «он, они не одева(ет, ют)».

Подпорядок 6.2 отличается от подпорядка 6.1 только тем, что в 3-м лице употребляется нулевой аффикс (в ед. числе) и *-лар* (во мн. числе), например, *кий + ин + тир + ма + ган + Ø*, *кий + ин + тир + ма + + ган + лар* «он, они не одева(л, ли)».

Подпорядок 6.3 составляют аффиксы *-м*, *-к* (для 1-го лица ед. и мн. числа): *кий + ин + тир + ма + ди + м*, *кий + ин + тир + ди + к* «я, мы не оде(л, ли)»; *-нг* (для 2-го лица ед. числа): *кий + ин + тир + ма + ди + нг* «ты не одел», *-нгиз*, *-нглар*, *-нгизлар* (для 2-го лица мн. числа, вежливые формы): *кий + ин + тир + ма + ди + нгиз*, *кий + ин + + тир + ма + ди + нглар*, *кий + ин + тир + ма + ди + нгизлар* «вы не одели», *-ларинг* (для 2-го лица мн. числа, фамильярная форма): *кий + + ин + тир + ма + ди + ларинг* «вы не одели»; нулевой аффикс (для 3-го лица ед. числа) и *-лар* (для 3-го лица мн. числа): *кий + ин + тир + + ма + ди + Ø*, *кий + ин + тир + ма + ди + лар* «он, они оде(л, ли)».

Примечание. При приведенной системе аффиксов кажущаяся неупорядоченность (ср. наличие форм *кийинтирмадинглар* и *кийинтирмадиларинг*) получает свое объяснение. Впрочем и при выделении двух аффиксов *-инг/-нг* и *-лар* идея упорядоченности не нарушается, так как в пределах одного порядка возможны перестановки (ср. возможность перестановок в 3 порядке); однако при такой трактовке дополнительное значение вежливости пришлось бы фиксировать особым правилом.

К подпорядку 6.4 относятся нулевой аффикс и аффикс *-ин* (для 1-го лица ед. числа): *кий + ин + тир + ма + й + Ø*, *кий + ин + тир + + ма + й + ин* «не одену-ка», *-лик* (для 1-го лица мн. числа): *кий + + ин + тир + ма + й + лик* «не оденем-ка».

Подпорядок 6.5а составляют нулевой аффикс и аффикс *-кин/-гин* (для 2-го лица ед. числа): *кий + ин + тир + ма + Ø*, *кий + ин + тир + + ма + гин!* «не одевай!», аффиксы *-инг/-нг* (для 2-го лица ед. числа, вежливая форма при обращении к одному лицу): *кий + ин + тир + ма + + нг!* «не одевайте!», *-ингиз/-нгиз*, *-инглар/-нглар*, *-ингизлар/-нгизлар* (для 2-го лица мн. числа, вежливые формы): *кий + ин + тир + ма +*

---

[12] В связи с принятой сегментацией *-ма + с* мы считаем, что после отрицательной морфемы *-ма* употребляется аффикс *-с*: *кий + ин + ма + с + ман* «возможно, я не оденусь» (ср. также: А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 229). Поэтому каждый из аффиксов *-ар* и *-с* выделяется в особый подпорядок.

+ *нгиз!*, *кий* + *ин* + *тир* + *ма* + *нглар!*, *кий* + *ин* + *тир* + *ма* + + *нгизлар!* «не одевайте!», *-ларинг* (для 2-го лица мн. числа, фамильярная форма): *кий* + *ин* + *тир* + *ма* + *ларинг!* «не одевайте!».

Подпорядок 6.5б имеют аффиксы *-син*, *-синлар* (для 3-го лица ед. и мн. числа): *кий* + *ин* + *тир* + *ма* + *син*, *кий* + *ин* + *тир* + *ма* + *синлар* «пусть он, они не одева(ет, ют)».

Седьмой порядок приписывается аффиксу вопросительности *-ми*: *кий* + + *ин* + *тир* + *ма* + *яп* + *ман* + *ми?* «разве я не одеваю?», *кий* + *ин* + + *тир* + *ма* + *ди* + *м* + *ми?* «разве я не одел?», *кий* + *ин* + *тир* + + *ма* + *син* + *ми?* «пусть он не одевает?».

Лишь в трех глагольных формах наряду с последовательностью аффиксы лица +*ми* оказывается возможной последовательность *-ми* + аффиксы лица. Например: а) прошедшее перфективное: наряду с *ёзгансанми?* возможно и *ёзганмисан?* «писал ли ты?»; б) будущее предположительное: *ёзарсанми?* — *ёзармисан?* «напишешь ли ты?»; в) будущее категорическое: *ёзажаксанми?* — *ёзажакмисан?* «напишешь ли ты?».

Интересно, что наличие двух вариантов в следовании *-ми* отмечается лишь для 2-го лица ед. и мн. числа. Для остальных лиц возможна только последовательность — аффикс лица +*ми*; так, есть формы *ёзганманми*, *ёзганмизми*, *ёзганларми*, но нет форм **ёзганмиман*, **ёзганмимиз*, **ёзганмилар*.

По-видимому, выделение седьмого порядка проведено в тюркских языках с разной степенью последовательности, хотя именно в современном узбекском языке в большинстве случаев выдерживается строгая упорядоченность (заметим также, что неправильных форм наша грамматика не производит, она лишь неполна).

Существенно отметить и следующее. В то время как колебания в низких порядках грозят нарушить всю систему, ибо определение каждого последующего порядка зависит от предыдущего, колебания в последних двух порядках никоим образом не затрагивают остальную систему узбекского глагола, остающуюся строго упорядоченной.

Итак, для современного узбекского литературного языка мы выделили семь порядков и распределили по ним глагольные аффиксы. Полученные данные суммированы в табл. 1.

Подсчитаем меру упорядоченности и простоты построенной системы. Взаимно неупорядоченные элементы есть только во втором порядке, их три: **-тир*, *-иш/-ш*, **-л*. Всего порядков семь, поэтому мера упорядоченности равна

$$\frac{7-1}{7+3-1}=\frac{6}{9}.$$

Что касается простоты, то система оказывается сложной, ибо общее число подпорядков равно 26. Поэтому степень простоты равна $\frac{14}{26}$.

Итак, мы выделили семь порядков и распределили по ним глагольные аффиксы. Как следует из табл. 1, аффиксы с одним и тем же значением объединяются внутри одного порядка. Так, аффиксы интенсивности (многократности) входят в первый порядок, все аффиксы со значением лица и числа образуют пятый порядок и т. д. Становится возможным поставить каждому порядку в соответствие определенное значение. Тогда систему глагольного слова можно представить не только как последовательность аффиксов, но и как последовательность значений, которые будут расположены в следующем порядке: интенсивность (многократность) + возвратность + каузативность, взаимность, совместность, пассивность + отрицание + время, наклонение + лицо, число + вопросительность. Отсутствие в

Таблица 1

Порядок, подпорядок	Аффиксы	Значение аффиксов	Примеры
1.0	Ø	неинтенсивность	*бук + Ø + моқ*
1.1	*-ла* *-кила/-гила* *-қила/-гила*	интенсивность, (многократность)	*бук + ла + моқ* *тит + кила + моқ* *чӯз + гила + моқ*
2.0	Ø	невозвратность [1]	*ишқа + ла + Ø + моқ*
2.1	*-ин/-н*	возвратность	*ишқа + ла + н + моқ* *турт + кила + н + моқ*
3.0	Ø		
3.1	* *-тир (-тир/-дир, -ит/-т)*	каузативность	*бук + ла + т + моқ*
3.2	*-иш/-ш*	взаимность, совместность	*қув + ла + ш + моқ*
3.3	* *-л (-ил/-л, -ин/-н)*	пассивность	*қув + ла + н + моқ*
4.0	Ø		
4.1	*-ма*	отрицание	*юв + дир + ма!, ур + иш + ма!* *ёз + ил + ма!, кий + ин + ма!*
5.1	*-ап/-яп*	настоящее конкретное время	*кий + ин + тир + ма + яп + ман*
5.2	*-аётир/-ётир*		*кий + ин + тир + ма + ётир + ман*
5.3	*-а/-й*	настоящее-будущее время	*кий + ин + тир + ма + й + ман*
5.4	*-ди*	прошедшее категорическое время	*кий + ин + тир + ма + ди + м*
5.5	*-иб/-б*	прошедшее субъективное время	*кий + ин + тир + ма + б + ман*
5.6	*-ган*	прошедшее перфективное время	*кий + ин + тир + ма + ган + ман*
5.7	*-гандир*	прошедшее предположительное время	*кий + ин + тир + ма + гандир + ман*
5.8а	*-ар*	будущее предположительное время	*кий + ин + тир + ар + ман*
5.8б	*-с*		*кий + ин + тир + ма + с + ман*
5.9	*-ажак/-яжак*	будущее категорическое время	*кий + ин + тир + ма + яжак + ман*

[1] Ø всегда означает отрицание значения, приписанного порядку. Далее соответствующие отрицательные значения в таблицу не вписываются

Таблица 1 (продолжение)

Порядок, подпорядок	Аффиксы	Значение аффиксов	Примеры
5.10	*-са*	условность	*кий + ин + тир + ма + са + м*
5.11	*-ай/-й*	желательность	*кий + ин + тир + ма + й + ин*
5.12	Ø	повеление	*кий + ин + тир + ма + Ø + нг!*
6.1	*-ман* *-миз* *-сан* *-сиз* *-ти/-ди* *-тилар/-дилар*	1-е лицо ед. ч. 1-е » мн. ч. 2-е » ед. ч. 2-е » мн. ч. 3-е » ед. ч. 3-е » мн. ч.	*кий + ин + тир + ма + яп + ман* *кий + ин + тир + ма + яп + миз* *кий + ин + тир + ма + ян + сан* *кий + ин + тир + ма + яп + сиз* *кий + ин + тир + ма + яп + ти* *кий + ин + тир + ма + яп + тилар*
6.2	*-ман* *-миз* *-сан* *-сиз* Ø *-лар*	1-е » ед. ч. 1-е » мн. ч. 2-е » ед. ч. 2-е » мн. ч. 3-е » ед. ч. 3-е » мн. ч.	*кий + ин + тир + ма + ган + ман* *кий + ин + тир + ма + ган + миз* *кий + ин + тир + ма + ган + сан* *кий + ин + тир + ма + ган + сиз* *кий + ин + тир + ма + ган + Ø* *кий + ин + тир + ма + ган + лар*
6.3	*-м* *-к* *-нг* *-ингиз* *-нглар* *-нгизлар* *-ларинг* Ø *-лар*	1-е лицо ед. ч. 1-е » мн. ч. 2-е » ед. ч. 2-е » мн. ч. (вежливые формы 2-го лица мн. ч.) (фамильярная форма 3-е лицо ед. и мн. ч.	*кий + ин + тир + ма + ди + м* *кий + ин + тир + ма + ди + к* *кий + ин + тир + ма + ди + нг* *кий + ин + тир + ма + ди + нгиз* *кий + ин + тир + ма + ди + нглар* *кий + ин + тир + ма + ди + нгизлар* *кий + ин + тир + ма + ди + ларинг* *кий + ин + тир + ма + ди + Ø* *кий + ин + тир + ма + ди + лар*
6.4	Ø, *-ин* *-лик*	1-е лицо ед. ч. 1-е лицо мн. ч.	*кий + ин + тир + ма + й + Ø* *кий + ин + тир + ма + й + ин* *кий + ин + тир + ма + й + лик*
6.5а	Ø, *-кин/-гин* *-инг/-нг* *-ингиз/-нгиз* *-инглар/-нглар* *-ингизлар/-нгизлар* *-ларинг*	2-е лицо ед. ч. (вежливая форма 2-го лица ед. ч.) 2-е лицо мн. ч. (вежливые формы 2-го лица мн. ч.) (фамильярная форма 2-го лица мн. ч.)	*кий + ин + тир + ма + Ø!* *кий + ин + тир + ма + гин!* *кий + ин + тир + ма + нг!* *кий + ин + тир + ма + нгиз!* *кий + ин + тир + ма + нглар!* *кий + ин + тир + ма + нгизлар!* *кий + ин + тир + ма + ларинг!*
6.5б	*-син* *-синлар*	3-е лицо ед. ч. 3-е лицо мн. ч.	*кий + ин + тир + ма + син* *кий + ин + тир + ма + синлар*
7.0	Ø		
7.1	*-ми*	вопросительность	*кий + ин + тир + ма + син + ми?*

слове аффиксов одного из порядков свидетельствует об отсутствии соответствующего значения. Например, глагольная форма *бук + ла + ма + + яп + ти + ми?*, где отсутствуют аффиксы 2 и 3-го порядка, характеризуется как интенсивная (многократная), незалоговая, отрицательная, настоящего времени, 3-го лица ед. числа, вопросительная.

Легко заметить, что в каждом порядке есть нулевой аффикс. Поскольку значение нуля в этой системе целиком зависит от места, которое он занимает в системе, будем над соответствующим нулем писать порядок, к которому он относится. Например, глагольная форма *ёз!* «пиши!» будет представлена в виде $ёз + Ø^1 + Ø^2 + Ø^3 + Ø^4 + Ø^{5.12} + Ø^{6.5a} + Ø^7$, а форма *ёзар* «напишет» — в виде $ёз + Ø^1 + Ø^2 + Ø^3 + Ø^4 + ар + Ø^{6.2} + Ø^7$.

Важно отметить существенную разницу между двумя типами нулевых аффиксов. В одних порядках нулевой аффикс (Ø) означает лишь отрицательное значение данного признака. Таково положение в 1, 2, 3, 4, 7-м порядках. В других же, например, в 5, 6-м порядках мы имеем дело с некоторым положительным значением, выраженным через $Ø^{5.12}$ (повеление), $Ø^{6.2}$ и $Ø^{6.3}$ (*3-е лицо ед. числа*), $Ø^{6.4}$ (*1-е лицо ед. числа*), $Ø^{6.5a}$ (2-е лицо ед. числа). Рассмотрение порядков даст возможность внести существенные уточнения в трактовку нулевого знака.

Необходимо отметить и следующее. В последних работах по теории порождающих грамматик выяснено, что отрицательные предложения не следует считать трансформами положительных так же, как нельзя считать трансформами утвердительных вопросительные предложения [13]. По чисто теоретическим соображениям было выбрано такое представление структуры предложения, в которой имеется с самого начала абстрактный символ отрицательности, принимающий два значения: наличия или отсутствия отрицания и абстрактный символ вопросительности, также принимающий два значения. Таким образом, для европейского предложения используется абстрактная структура, *изоморфная описанной выше конкретной* структуре узбекского глагола.

До сих пор рассматривались аффиксы, каждый из которых занимает *место какого-то одного порядка*. Однако есть аффиксы, занимающие место нескольких порядков. Многоместным аффиксом выступает морфема *-моқ*. Она располагается после аффиксов третьего порядка (*қир + дир + моқ* «заставить скоблить», *ур + иш + моқ* «драться», *буз + ил + моқ* «быть разрушаемым») и не соединяется с порядками 4, 5, 6, 7. Это заставляет приписать морфеме *-моқ* в соответствии с принятым ранее соглашением порядок 4—7.

Смысл этого в следующем. Именное значение, придаваемое слову этим аффиксом, не допускает значения времени и глагольного лица (если его не толковать как принадлежность). Можно было бы считать, что здесь обязательно выступает отрицательное значение признака времени и лица, но мы уже видели, что $Ø^5$ и $Ø^6$ имеют другое значение. Значение отрицательности в принципе совместимо с именным значением, поэтому, вообще говоря, аффикс *-моқ* мог бы занимать место 5—7 порядков. Характерно, что в турецком языке соответствующая форма вполне может включать перед аффиксом инфинитива аффикс отрицания — *ver + me + mek* «не давать».

Особое положение аффикса *-моқ*, отделяющего два (или три — в турецком языке) первых порядка от остальных, можно сопоставить с той границей, которая проходит между словообразовательными (первые три порядка) и словоизменительными аффиксами (остальные порядки). Эта

---

[13] См.: N. Chomsky, Topics in the theory of generative grammar, «Current trends in linguistics», III — Theoretical foundations, The Hague — Paris, 1966, стр. 36—37.

граница, которую можно установить именно в связи с местом *-моқ*, подтверждается и другим чисто формальным соображением. Далее мы будем строить систему правил, которая вместе с таблицей составит грамматику порядков для узбекского глагола. Большинство правил носит безусловный характер. И только правила, касающиеся взаимодействия корня со вторым и третьим порядком, имеют условный характер. Это обстоятельство четко фиксирует ту особенность словообразовательных аффиксов, что употребление их зависит не только от непосредственно предшествующего аффикса, но и от корня, даже если он отделен аффиксами. Все глагольные корни делятся на классы по четырем категориям в зависимости от того, 1) допускает ли корень аффикс интенсивности (многократности), 2) допускает ли корень аффикс возвратности, 3) допускает ли корень удвоение аффикса каузативности, 4) допускает ли корень удвоение аффикса *-иш/-ш* (взаимность, совместность).

В соответствии с этим каждый глагол получает в двоичной записи четырехзначный код, который и используется в правилах [14].

Представляется, что приведенная выше классификация заслуживает внимания и сама по себе, но здесь нас интересует такая формулировка грамматики, при которой явным образом фиксируется вся информация, необходимая для порождения.

Теперь можно перейти к построению порождающей грамматики порядков узбекского языка. Таблица порядков и подпорядков имеется. Необходимо лишь дополнить ее правилами, а именно А) фонологическими правилами, регулирующими выбор алломорфа в зависимости от фонетических условий, и Б) морфологическими правилами, зависящими от выбора соответствующего подпорядка.

---

[14] I. Глаголы с кодом 0000 (не допускают интенсивности-многократности и возвратности, не удваивают **-тир* и *-иш/-ш*): *безмоқ* «терять охоту (к чему-либо)», *бормоқ* «идти», *босмоқ* «давить, жать», *бузмоқ* «разрушать», *буюрмоқ* «приказывать», *демоқ* «говорить, сказать», *етмоқ* «достигать, доходить», *ёзмоқ* «писать», *ёнмоқ* «гореть», *ёримоқ* «стать светлым, освещенным», *ёғмоқ* «идти (о дожде, о снеге)», *зерикмоқ* «скучать», *илмоқ* «повесить», *ичмоқ* «пить», *ишонмоқ* «верить», *йиҳмоқ* «разрушать», *кирмоқ* «входить», *озмоқ* «худеть», *олмоқ* «брать», *отмоқ* «бросать», *очмоқ* «открывать», *синғмоқ* «впитывать», *солмоқ* «класть», *сўкмоқ* «пороть», *сўлмоқ* «вянуть», *тешмоқ* «пробивать отверстие», *тикмоқ* «шить», *тиҳмоқ* «всовывать», *тилмоқ* «резать кусками», *томмоқ* «капать», *тошмоқ* «разливаться», *турмоқ* «стоять, находиться», *ҳўрҳмоқ* «бояться» и т. д.

II. Глаголы с кодом 0010 (не допускают интенсивности-многократности и возвратности, удваивают **-тир*, но не удаивают *-иш/-ш*): *англамоқ* «понимать», *бермоқ* «давать», *бўямоқ* «красить», *жаврамоқ* «болтать», *куймоқ* «гореть», *санамоқ* «считать», *сайрамоқ* «щебетать», *сакрамоқ* «прыгать», *сачрамоқ* «разбрызгиваться», *силамоқ* «массажировать», *синамоқ* «испытывать», *синмоқ* «разбиваться», *ситмоқ* «выдавливать», *совумоқ* «остывать», *сувамоқ* «штукатурить», *ташимоқ* «носить», *туламоқ* «платить», *тўлмоқ* «наполняться», *тўхтамоқ* «останавливаться», *уймоқ* «сгружать», *ўйламоқ* «думать», *ўймоқ* «долбить», *ўқимоқ* «читать, учить», *ҳайнамоқ* «кипеть», *ҳиймоқ* «резать», *ҳилмоқ* «делать», *ҳирмоқ* «скоблить», и т. д.

III. Глаголы с кодом 0011 (не допускают интенсивности-многократности и возвратности, удваивают **-тир* и *-иш/-ш*): *ажрамоқ* «расходиться», *ранжимоқ* «обижаться», *сўрамоқ* «спрашивать», *таламоқ* «набрасываться (с упреками)», *танимоқ* «узнавать», *тарҳамоқ* «расходиться», *ташламоқ* «бросать», *учрамоқ* «встречаться», *ушламоқ* «держать», *чайнамоқ* «перемывать косточки (кому-либо)» и т. д.

IV. Глаголы с кодом 0100 (не допускают интенсивности-многократности, допускают возвратность, не удваивают **-тир* и *-иш/-ш*): *атамоқ* «именовать», *безамоқ* «украшать», *буркамоқ* «закутывать», *ечмоқ* «снимать (одежду, обувь)», *ёпмоқ* «накрывать», *киймоқ* «надевать (на себя)», *койимоқ* «журить», *суямоқ* «прислонять», *тарамоқ* «причесывать», *ювмоқ* «мыть», *ҳашимоқ* «чесать» и т. д.

V. Глаголы с кодом 1000 (допускают интенсивность-многократность, не допускают возвратности, не удваивают **-тир* и *-иш/-ш*): *букмоқ* «сгибать», *кутмоқ* «одергивать», *титмоқ* «разметать», *тикмоқ* «втыкать», *тўмоқ* «рассеиваться», *чўзмоқ* «растягивать», *югурмоқ* «бегать», *ҳувмоқ* «преследовать», и т. д.

А. Фонологические правила:

1. Если корень (или основа) оканчивается на согласный, выбирается алломорф на гласный, если конечным корня (основы) является гласный, выбирается алломорф на согласный. Данное правило регулирует выбор следующих аффиксов: *-ит/-т*, *-иш/-ш*, *-ил/-л*, *-ин/-н*, *-аяп/-яп*, *-аётир/-ётир*, *-а/-й*, *-иб/-б*, *-ар/-р*, *-ажак/-яжак*, *-ай/-й*, *-инг/-нг*.

2. Если корень (основа) оканчивается на звонкий согласный, выбирается алломорф на звонкий согласный, если конечным звуком корня (основы) является глухой согласный, выбирается алломорф на глухой согласный. Данное правило регулирует выбор аффиксов *-тир/-дир*, *-ти/-ди*, *-тилар/-дилар*, *-кин/-гин*.

3. Если корень (основа) оканчивается на гласную, аффикс **-тир* выбирается в форме *-т* [15]. Например, *безамоқ* «украшать» — *безатмоқ*, *бўямоқ* «красить» — *бўятмоқ*.

4. Если корень (основа) оканчивается на *-л*, то аффикс **-л* выбирается в форме *-ин*: *қилмоқ* «делать» — *қилинмоқ*, *тилмоқ* «резать кусками» — *тилинмоқ*.

Б. Морфологические правила

1. Синтез начинается с корня и из каждого порядка выбирается один (или, если разрешено, два) подпорядка.

2. Подпорядок 1.1 может быть выбран только в случае, если первая цифра кода есть 1.

3. Подпорядок 2.1 выбирается лишь в том случае, если вторая цифра кода есть 1.

4. Подпорядок 3.1 разрешено удваивать, если третья цифра кода есть 1 и нет следующих запрещений:

а) удвоение запрещено, если порядок 2 выбран в форме 2.1;

б) удвоение запрещено, если первая цифра кода есть 1, а порядок 1 выбран в форме 1.0.

Например. *Букмоқ* «сгибать» допускает интенсивность (многократность) и возможность удвоения **-тир* реализуется при наличии аффиксов интенсивности (*бук + ла + т + тир + моқ*). Если аффикс интенсивности не представлен в слове (т. е. выбрана основа *бук* без *ла*, подпорядок 1.0), удвоение невозможно.

5. Подпорядок 3.2 разрешено удваивать, если четвертая цифра кода есть 1 и нет запрещений (а) и (б) из пункта 4 (*кий + ин + моқ* — возвратный глагол, не допускает удвоения *-иш/-ш*; *қувмоқ* «преследовать» допускает интенсивность, многократность, при наличии интенсивного аффикса показатель *-иш/-ш* может быть удвоен — *қув + ла + ш + иш + ди*. При отсутствии интенсивных аффиксов для глаголов с таким кодом удвоение невозможно).

6. Подпорядки 3.1 (в форме *-тир*), 3.2, 3.3 могут предшествовать друг другу: *ишон + тир + иш + ди* «они совместно заставили поверить, уверили», *тани + ш + тир + моқ* «знакомить кого-либо друг с другом», *буюр + тир + ил + моқ* «быть заказанным», *сол + ин + тир + моқ* «заставить обвиснуть», *англа + ш + ил + моқ* «быть понимаемым», *ёз + + ил + иш + моқ* «совместно подписаться, записаться».

7. Если в слове представлен подпорядок 4.1, то подпорядок 5.8 выбирается в форме 5.8б: *бор + ма + с + ман* «возможно, я не пойду».

---

[15] Данное правило не исключает возможности употребления **-тир* в форме *-ит* после основ на согласный. Например, *қўрқмоқ* «бояться» — *қўрқитмоқ*, *йиқмоқ* «разрушать» — *йиқитмоқ*. Подобные примеры встречаются довольно редко.

8. Если в слове представлены порядки или 5.1, или 5.3, или 5.5, то выбирается подпорядок 6.1: *бор* + *аяп* + *ман*, *сан*, *ти*, *миз*, *сиз*, *тилар* «Я, ты, он (она), мы, вы, они ид(у, ешь, ет, ем, ете, ут) в данный момент», *бор* + *а* + *ман*, *сан*, *ди*, *миз*, *сиз*, *дилар* «я, ты он (она), мы, вы они ид(у, ешь, ет, ем, ете, ут)», *бор* + *иб* + *ман*, *сан*, *ди*, *миз*, *сиз*, *дилар* «оказывается я, ты, он (она), мы, вы, они (с) ходил, (с)ходили».

9. Если в слове представлены подпорядки или 5.2, или 5.6, или 5.7, или 5.8, или 5.9, то выбирается подпорядок 6.2: *ёз* + *аётир* + *ман* + + *сан*, Ø, *миз*, *сиз*, *лар* «я, ты, он (она), мы, вы, они пиш(у, ешь, ет, ем, ете, ут) в данный момент», *ёз* + *ган* + *ман*, *сан*, Ø, *миз*, *сиз*, *лар* «я ты, он (она), мы, вы, они писал, писали», *ёз* + *гандир* + *ман*, *сан*, Ø, *миз*, *сиз*, *лар* «возможно я, ты, он (она), мы, вы, они писал, писали», *ёз* + *ажак* + *ман*, *сан*, Ø, *миз*, *сиз*, *лар* «я, ты, он (она), мы, вы, они напиш(у, ешь, ет, ме, ете, ут)».

10. Если представлены подпорядки или 5.4, или 5.10, выбирается подпорядок 6.3: *тик* + *ди* + *м*, *нг*, Ø, *к*, *нгиз*, *лар* «я, ты, он (она), мы, вы, они сшил, сшили», *тик* + *са* + *м*, *нг*, Ø, *к*, *нгиз*, *лар* «если я, ты, он(она), мы, вы, они (со)шь(ю, ешь, ет, ем, ете, ют).

11. Если представлен подпорядок 5.11, выбирается подпорядок 6.4: *бор* + *ай* + Ø, *ин*, *лик* «схожу, сходим-ка».

12. Если представлен подпорядок 5.12, выбирается подпорядок 6.5: *тик* + $Ø^{5.12}$ + Ø, *кин*! «шей!», *тик* + $Ø^{5.12}$ + *инг*, *ингиз*, *инглар*, *ингизлар*, *ларинг*! «шейте!», *тик* + $Ø^{5.12}$ + *син*, *синлар* «пусть он, они шь(ет, ют)!».

13. Если представлен подпорядок 6.5а, выбирается подпорядок 7.0 (т. е. запрещено употребление *-ми*).

Покажем теперь, как функционирует построенная грамматика порядков. Пусть нам нужно образовать от данного в словаре глагола *олмоқ* «брать» глагольную форму со значением пассивности, отрицания, настоящего времени, 3-го лица ед. числа. Для этого аффиксы, представляющие каждое из данных значений, нужно расположить в полном соответствии с таблицей порядков. Глагол *олмоқ* образует пассивность при помощи аффикса *-ин* (четвертое фонологическое правило; поскольку корень оканчивается на *л*, то аффикс пассивности *-*л* выбирается в форме *-ин*). К корню *ол* присоединяется аффикс *-ин* (первое фонологическое правило диктует выбор данного алломорфа, поскольку корень оканчивается на согласный), затем выбирается аффикс отрицания *-ма* (порядок 4), далее из порядка 5 выбирается аффикс настоящего времени *-яп*; и, наконец, выбирается аффикс лица *-ти* (по восьмому морфологическому правилу подпорядок 5.1 может сочетаться с подпорядком 6.1; второе фонологическое правило диктует выбор алломорфа). В результате образуется форма *ол* + *ин* + *ма* + *яп* + + *ти* «не поддается взятию» (ее схема *ол* + $Ø^1$ + $Ø^2$ + 3.3 + 4.1 + + 5.1 + 6.1 + $Ø^7$). Другой пример. От глагола *ташимоқ* «носить» следует образовать глагольную форму со значением каузативности, повеления, 3-го лица ед. числа. Для этого к глагольному корню *таши-* присоединяется каузативный аффикс в форме *-т* (по третьему фонологическому правилу), затем из подпорядка 5.12 выбирается нулевой аффикс повеления, после чего по морфологическому правилу 12 выбирается аффикс лица *-син*. В результате образуется глагольная форма *таши* + *т* + + *син* «пусть он заставит носить» (ее схема *таши* + $Ø^1$ + $Ø^2$ + 3.1 + + $Ø^4$ + $Ø^{5.12}$ + 6.5б + $Ø^7$) [16].

---

[16] Авторы выражают искреннюю признательность Г. Ф. Благовой, А. Г. Гулямову, А. М. Щербаку за чрезвычайно ценные критические замечания, касающиеся тюркологической части статьи.

V. Система наречных групп немецкого языка. В качестве примера использования грамматики порядка в синтаксисе (здесь элементом будет слово, а последовательностью синтаксическая группа), рассмотрим словосочетания немецкого языка, центром которых являются наречия места *unten*, *oben*, *innen*, *nebenan*, *außen*, *hinten*.

В грамматиках немецкого языка нет сведений о том, в каком порядке располагаются зависимые от таких наречий слова, например, можно ли сказать *genau tief unten*, **tief genau unten*, **unten tief genau* и т. п. Между тем, все соответствующие словосочетания легко порождаются весьма простой таблицей порядков, причем каждому порядку соответствует весьма ясное значение (см. табл. 2).

Таблица 2

Порядок	Слово	Значение	Примеры
0	1 *unten*, *innen* 2 *oben* 3 *außen*, *hinten*, *vorn*, *nebenan*	–	
—1	0 Ø 1 *tief* 2 *hoch*	вертикальная локализация	*tief unten*, *tief innen* *hoch oben*
—2	0 Ø 1 *ganz* 2 *genau*	степень точности реализации	*ganz unten* *ganz hoch oben*, *genau vorn*
—3	0 Ø 1 *so*	указательность	*so tief unten*, *so ganz hinten*
—4	0 Ø 1 *hier*, *dort*	локализация относительно субъекта	*hier so hoch oben*, *dort tief unten*
—5	0 Ø 1 *eben*	субъективное выделение	*eben hier so hoch oben*

Система регрессивная. Правила: 1) начинать с 0-го порядка; 2) если выбран 0.1, то 1 выбирается в форме —1.1 или 1.0; если выбран 0.2, то —1 выбирается в форме —1.2 или 1.0; если выбран 0.3, то —1 выбирается в форме —1.0.

Поскольку общее число порядков равно 5, а взаимно не упорядочены лишь элементы *so* и *ganz*, то система имеет достаточно высокую степень упорядоченности:

$$\mu = \frac{4}{6}.$$

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

Е. А. КРАШЕНИННИКОВА

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Понятие потенциальности в отношении к динамике строя языка можно раскрыть как свернутую до времени, едва внешне проявляющуюся, но важную для будущего способность изменения структуры. Обычно языковед располагает только незначительными с точки зрения языкового узуса, редкими проявлениями этой способности, отдельными частными примерами. Тем труднее вскрыть на их основе потенциальность языковых сдвигов, обнаружить ростки будущих закономерностей.

Термин «потенциальность» ввел в лингвистику В. Матезиус, подразумевая под нею статическое колебание языка у индивидуумов, образующих языковой коллектив. Будучи сторонником принципиального противопоставления синхронии и диахронии, но не учитывая специфики их применения к динамике строя современных языков, В. Матезиус с большой натяжкой и явной передержкой искусственно относил потенциальность к статике. Он писал, что под термином «потенциальность» он понимает «статическое колебание, то есть неустойчивость в данную эпоху в противоположность динамической устойчивости, проявляющейся во временной последовательности» [1].

При всей тонкости исследования эта работа В. Матезиуса очень страдает давлением схемы, уступками тезису и известным упрощением под влиянием узко понятой оппозиции диахронии и синхронии. В этом отношении к работе В. Матезиуса применимы его же слова: «мнимая простота языковых явлений зачастую рассматривается не как следствие лингвистического метода, а как действительное свойство этих языковых явлений, что нередко приводит к пагубным ошибкам» [2].

Такой ошибкой, на наш взгляд, можно считать стремление В. Матезиуса распространять жесткое противопоставление диахронии и синхронии на сферу таких динамико-системных явлений, как потенциальность языковых структур (а точнее языковых изменений) и как «статические тенденции». Именно стремление В. Матезиуса примирить два непримиримых плана — динамику языковых микроэволюций (в которых и реализуется потенциальность) со статикой узаконенных грамматических структур — привело к созданию таких противоречивых терминов, как «статические тенденции» [3].

Действительно, принципиально невозможны тенденции статики. Тенденции могут быть только принадлежностью движения или развития. Характерно, что все примеры, приводимые В. Матезиусом, свидетельствуют о том, что по существу его интересует не просто потенциальность явлений, а как раз потенциальность изменений, до времени таящихся в глубинах нормализованного строя языка. Например, В. Матезиус проводит четкое разграничение между обычным повторением и удвоением типа *very very*

[1] В. Матезиус, О потенциальности языковых явлений, сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 42.

[2] Там же, стр. 43.

[3] Там же, стр. 48.

often в быстрой английской разговорной речи[4]. Первое случайно, а второе «потенциально», т. е. зыбко, чревато изменениями в языке и при определенных условиях может стать нормой.

Проблема динамики строя языка, однако, живо интересует В. Матезиуса. У него в конечном счете потенциальность трактуется как некая подготовительная ступень к появлению нового. Но сам переход от потенциального к новому он представляет себе крайне упрощенно, не видя между ними множества ступеней. Он считает преждевременным для себя ставить вопрос о том, «как долго потенциальное явление мы можем рассматривать еще в качестве того же самого явления с небольшим лишь сдвигом потенциальности, и с какого времени нам придется говорить уже о новом явлении β, которое развилось из явления α»[5].

Со времени выхода в свет работы В. Матезиуса прошло больше полувека. За это время наука исследовала многочисленные категории грамматики различных языков и подошла вплотную к следующей ступени: изучению тех микроэволюций, из которой складывается потенциальность языковых изменений.

К мысли о необходимости специально исследовать потенциальность языковых изменений на всех стадиях перехода — от возможности проявления нового до вживания новации в язык — приходят теперь представители самых различных школ и направлений, как сторонники, так и противники де-соссюровской дихотомии. В частности, А. Мейе создал оригинальную теорию инновации[6], Э. Косериу предложил также учение о принятиях[7], Г. Мозер разработал проблему грамматических тенденций[8], Я. Малкиел предложил учитывать социально-мотивированные конфликты, влияющие на параллельные языковые тенденции[9], и даже самые последовательные сторонники де-соссюровской дихотомии — авторы структуральных исследований серии «Studia grammatica» (ГДР) — пишут о потенциальных проявлениях нового в языке[10].

Для того чтобы раскрыть механизм потенциальных грамматических изменений, их причины, интенсивность, удельный вес и тенденции, необходимо не просто указать на ту или иную ступень в обновлении языка, а выработать определенную систему критериев, способных устанавливать степень вероятности языковых сдвигов.

Первым и основным условием для выработки такого рода критериев является, как нам представляется, выяснение вопроса о том, всегда ли в грамматике одинаково противопоставлены диахрония и синхрония. Ведь, если следовать теории де Соссюра, диахрония предполагает противопоставление двух э п о х; иначе выглядит динамика языка внутри о д н о й эпохи, скажем до 100 лет. Здесь в силу вступают другие принципы взаимодействия диахронии и синхронии — прослеживается их стяжение, контаминация. Особенно четко специфика этого качественно нового отношения, так сказать нейтрализация оппозиции диахронии и синхронии, прослеживается в новейшем срезе современного языка, в котором и коренится потенциальность изменений его строя.

---

[4] Там же, стр. 55.

[5] Там же, стр. 69.

[6] A. M e i l l e t, La méthode comparative en linguistuque historique, Oslo, 1925, стр. 85—86.

[7] Э. К о с е р и у, Синхрония, диахрония и история, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 191—193.

[8] H. M o s e r, Entwicklungstendenzen des heutigen Deutsch, «Moderna språk», 50, Malmö, 1956, стр. 213—235.

[9] Y. M a l k i e l, Genetic analysis of word formation, сб. «Current Trends in linguistics», III, The Hague — Paris, 1966, стр. 359.

[10] См.: W. M o t s c h, Syntax der deutschen Adjektive, «Studia grammatica», III, Berlin, 1966, стр. 10—11.

Если изучаются грамматические законы уже «готовых», установившихся структур и категорий (назовем это макрограмматикой), то необходимость в противопоставлении их синхронного и диахронического анализа не подлежит сомнению. Именно это противопоставление лежит в основе современной исторической сопоставительной и описательной грамматики. Когда же речь идет о микроскопически малых, но потенциально очень важных для становления языка грамматических новациях и тенденциях его строя (назовем это микрограмматикой), то там законы диахронии и синхронии действуют иначе, они преобразуются и уже не противопоставляются друг другу. В микрограмматике оппозиция диахронии и синхронии заменяется их взаимодействием. Язык в микрограмматике рассматривается в границах одной эпохи и в этом смысле строго синхронно. Однако строй языка исследуется в микрограмматике не как замкнутая система уже «готовых» структур, а как некое средоточие динамических потенций, изучение которых дает возможность установить тенденции развития строя языка и прогнозировать его пути в будущем. В этом плане микрограмматика эволютивна в самом прямом де-соссюровском смысле слова. В микрограмматике единовременное, синхронное рассмотрение языка как бы цементирует эволюционную его сторону, не давая потенциальным изменениям выйти из рамок определенного грамматического поля [11].

В микрограмматике идет подготовка смены фаз языка, его состояний; в свернутом виде в них заложены будущие диахронические изменения строя языка. Именно в грамматических полях микрограмматики подспудно идет накопление количественных изменений, которые затем, будучи «приняты» языком, дают качественные сдвиги в макрограмматике.

Строгое и последовательное разграничение макро- и микрограмматики не менее важно для поступательного развития науки о языке, чем противопоставление диахронии и синхронии. Но совершенно необходимо оно для адекватного изучения динамических систем на новейшем срезе современных языков.

Сложность лингвистического анализа в сфере микрограмматики начинается уже с того, что до сих пор еще не раскрыты наиболее фундаментальные свойства языка. В то же время потенциальность языковых изменений дает основание полагать, что язык — это континуум (ибо только тогда он при всех изменениях остается тождественным себе самому) и дискретное явление (так как сдвиг качественного характера в его строе может происходить только в момент перерыва постепенности). Но сам сдвиг качественного характера возможен только благодаря постепенному накоплению количественных изменений, вызванных к жизни потребностями общения.

Обычно ощущение необходимости изменений по времени совпадает с объективной возможностью (потенциальностью) сдвигов и преобразований в тех областях системы, где нейтрализуются узаконенные в макрограмматике оппозиции, где снимаются привычные противопоставления. В действие вступает микрограмматика. Например, в основе микрограмматического взаимозамещения немецких залогов (пассив теряет страдательное значение, а активные конструкции начинают выражать пассивность) лежит нейтрализация классического противопоставления этих залогов. Или, например, склонение несклоняемых прилагательных (*rosaes Kleid* вместо *rosa Kleid*) могло возникнуть в микрограмматике только потому, что в макрограмматике современного немецкого язы-

---

[11] О грамматическом поле см.: Е. А. Крашенинникова, Новое в немецкой грамматике, 4 — Словообразование, М., 1965, стр. 61—62 и сл.

ка нейтрализовалась корреляция оппозиций:

$$\frac{\text{склоняемые прилагательные}}{\text{несклоняемые прилагательные}} : \frac{\text{исконно немецкие}}{\text{заимствованные}}$$

Язык онемечил прежде ненемецкие и соответственно несклонявшиеся прилагательные.

Итак, нейтрализация макрограмматической оппозиции — вот объективный критерий этой первой ступени грамматических изменений, первого проявления действия микрограмматики.

Сущность второй ступени заключается в том, что создавшаяся лингвистическая ситуация способствует появлению новаций (или грамматических новообразований), пусть еще только просторечных или случайных, построенных на аналогии или даже основанных на ошибке. Именно на этой, второй ступени реализуется имплицитно образовавшаяся, но потенциально весьма активная, потребность в модернизации грамматических структур, однако еще не самой нормы языка.

Новации, образованные на второй ступени грамматических изменений, не случайны в языке. Они подготавливаются длительное время, назревают под влиянием напряженности грамматических полей и, наконец, реализуются эксплицитно в момент употребления. Правда, форма, в которую выливается потребность в обновлении строя языка, может быть самой различной. Она может, несмотря на внешние отличия, быть закономерным продолжением прежде существовавших норм (тогда можно говорить о грамматических мутациях), а нередки и отступления от правил, преобладание элементов случайного, резко противоречащего законам макрограмматики (тогда речь идет о грамматических флуктуациях микрограмматики). Именно этот последний случай представлен в таких грамматических новациях как постановка глагола с неотделенной приставкой на первое место в предложении: «Auftreten die drei Vettern, blutig, zerfetzt, erschöpft (M. Frisch, Don Juan oder die Liebe zur Geometrie). Критерий этой, второй ступени грамматических изменений — обязательное несовпадение новации с макрограмматической нормой, отклонение от нее.

Третья ступень, которую также проходит любая новация строя языка — это перепроверка с помощью основных, доминирующих тенденций этого языка. Здесь новое, уже появившееся в сфере микрограмматики, должно быть как бы оценено с точки зрения вероятности его будущего «вживания» в макрограмматику.

Основной критерий этой ступени — соответствие или несоответствие новаций тенденциям развития строя языка. Если новация, которая может субъективно оцениваться как положительная (скажем, стремление языка к более логичным формам согласования в числе) или как отрицательная (например, нарочитое оригинальничание в образование рекламных суперлативов или ошибочное образование слабого имперфекта от сильного глагола), «накладывается» на доминирующую тенденцию и совпадает с ней, то объективно есть вероятность, что она может проникнуть в макрограмматику. Следовательно, для того чтобы дать более или менее объективную оценку того или иного грамматического новшества, необходимо знать доминирующие тенденции строя языка и потом уже рассматривать новации применительно к этим тенденциям. Например, в грамматическом поле управления (в сфере словосочетаний) новации, свидетельствующие о возможных изменениях самой макрограмматической нормы, укладываются в четкие рамки двух преобладающих тенденций: 1) к образованию аналитических конструкций и 2) к унификации типов управления. Первая из этих тенденций проявляется в том, что, скажем аккузатив все чаще уступает место предложным конструкциям (вместо *feilen* + Akk.

теперь говорят *an etwas* — Dat. *feilen*: «„Ich wäre dir dankbar", sagte Thomas Lieven, an seinen Nägeln feilend» (J. M. Simmel, Es muß nicht immer Kaviar sein). Что же касается потенциальной унификации управления в немецком языке, то К. Э. Зоммерфельт наглядно изобразил уже имеющиеся сдвиги в этом направлении следующим образом:

	1860 г.	1964/65 гг.
Дополнение в форме генитива	1,5%	0,6%
Дополнение в форме датива	15%	10,9%
Дополнение в форме аккузатива	60,3%	56,2%
Предложное дополнение	22,2%	32,3% [12]

Новации, совпадающие с сильными тенденциями, становятся, таким образом, неоформами языка.

В то же время некоторые новации, не совпадающие с преобладающими, наиболее сильными тенденциями, вероятнее всего не удержатся в языке; напряженность соответствующих грамматических полей сдвигает их на периферию и выбрасывает за ненадобностью. Например, не совпадает с наиболее сильными тенденциями модное смешанное словообразование в ФРГ, где за последние годы появилось много слов-кентавров типа: *Nonstopkino* (англ. *non-stop* — без остановок), это же относится к словам типа *Teppich-Pool* (объединение по производству ковров), *Screening-Schein* (свидетельство о лояльности), и т. п. [13].

Здесь на третьей ступени, где осуществляется неосознанная говорящим перепроверка новаций с помощью тенденций, заканчивается подготовительная стадия грамматических изменений, протекающих в микрограмматике — дальше начинается перестройка макрограмматической нормы. Важнейшим условием для этой перестройки является п р о д у к т и в н о с т ь нового. Продуктивность модели — это мера ее потенциального заряда, она опирается на микрограмматику, а воздействует на будущее макрограмматических норм. Не случайно в «Тезисах Пражского кружка» (1929 г.) говорится, что «различие продуктивных и непродуктивных форм есть факт диахронии, который невозможно исключить из синхронной лингвистики» [14].

Частотность и продуктивность — это две стороны одного явления. Только если частотность предполагает макрограмматический подсчет чего-то уже «готового», устоявшегося в языке, то ее микрограмматическое соответствие — продуктивность — опирается на потенциальность изменений, на возможные результаты действия тенденций в той или иной стороне языка. Не все, что чаще встречается, можно оценивать как потенциально значительное, как продуктивное. Например, частотно преобладает употребление определенного артикля перед определением в родительном падеже. А с точки зрения потенциальных сдвигов, с позиций продуктивности следует признать более активной модель с неопределенным артиклем.

Таким образом, потенциальность грамматических изменений представляет собой сложное явление, в котором коренятся существенные преобразования строя языка. Поэтому ее нельзя ограничивать понятием зыбкости и неустойчивости, как это делал в свое время В. Матезиус. Потенциальность — это не только отправная точка, первичное условие динамики языка, но и ее первый этап. Она перебрасывает мост от расшатанных категорий макрограмматики к соответствующему микрограмматическому полю и таким образом соединяет статический и эволютивный моменты, открывая научные пути прогнозирования возможных свойств и качеств нового грамматического строя языка.

---

[12] K. E. S o m m e r f e l t, Zu einigen Entwicklungstendenzen im Satzbau der deutschen Sprache, «Deutsch als Fermdsprache», 4, Leipzig, 1966, стр. 36.

[13] Ср.: B. C a r s t e n s e n, H. G a l i n s k y, Amerikanismen der deutschen Gegenwartssprache, Heidelberg, 1963.

[14] TCLP, I, 1929, стр. 8.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

О. Д. ЛЕЙЗЕРСОН

К ВОПРОСУ О «ГРАММАТИЧНОСТИ» СЛОЖНОГО СЛОВА

Проблема закономерностей, действующих в словообразовательных процессах, привлекла к себе в последнее время внимание лингвистов различных направлений.

Закономерностям словосложения уделяется до сих пор меньше внимания, очевидно, в связи с тем, что они носят менее системный характер, в большей степени связаны со значением входящих в сложное слово основ, с бóльшим удельным весом логических и ассоциативных связей между компонентами сложного слова, с одной стороны, и всем словом и называемым им предметом, с другой стороны.

Между тем вопрос о том, «как делаются слова», был поставлен еще Л. В. Щербой, который считал, что «все правила образования слов, форм слов и других языковых единиц высшего порядка — грамматика» (при этом Л. В. Щерба имеет в виду не только производные, но и сложные слова, которые создаются в процессе речи согласно определенным закономерностям) [1].

В настоящее время вопрос о «грамматике» словосложения ставится, в частности, в связи с возможной трансформацией словосочетаний в сложные слова.

Вслед за Р. Лизом можно считать, что стяжение словосочетаний в сложные слова должно подчиняться каким-то грамматическим правилам, т. е. допускается наличие «грамматики словосложения», в связи с чем можно ставить задачу выявления закономерностей, действующих при словосложении.

Естественно, что такая задача может ставиться применительно к таким сложным словам, значение которых эквивалентно словосочетаниям и является мотивированным, т. е. выводится из значения компонентов и отношений между ними. «Идиоматичные сложные слова,— пишет М. Д. Степанова,— в большинстве случаев представляют собой лексические единицы, прочно вошедшие в словарный состав языка и используемые в потоке речи наравне с другими общепринятыми словами; неидиоматичные обычно создаются в процессе речи так же, как любое свободное синтаксическое соединение, хотя и по другому образцу, при использовании других законов и средств» (разрядка наша.— *О. Л.*) [2]. Нас интересуют, следовательно, те законы и средства, по которым сложные слова формируются в речи.

Важной категорией грамматики словообразования является словообразовательный образец, который включает в себя семантику полнозначных морфем как фактор формирования и восприятия производных или сложных слов, причем «особый интерес для установления связей слово-

[1] См.: Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, 3—4; ср. еще: R. B. Lees, The grammar of English nominalizations, IJAL, 26, 3, 1960, стр. 119.

[2] М. Д. Степанова, К вопросу о синтаксической природе словосложения, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XIX, 1959, стр. 308.

образования с лексикой представляет закономерность связей словообразовательных и лексических значений в морфологически однородных словах»[3].

Ясно, что собственно грамматика и грамматика словосложения существенно отличаются друг от друга своими средствами, отношением к семантике, степенью абстракции и прежде всего различной строгостью своих правил. В этой связи М. Д. Степанова совершенно правильно замечает, что «несмотря на наличие формальной близости ряда сложных слов и синтаксических соединений, выражение синтаксических отношений при помощи словосложения происходит по особым нормам, отличающимся от обычных грамматических норм...» (разрядка наша.— *О. Л.*)[4]. Если для собственно грамматики значение оформляемых ею единиц не играет роли, то для грамматики словообразования, в особенности грамматики словосложения, семантика основ, составляющих сложное слово, является существенным фактором.

Особенность грамматики словосложения в отличие от собственно грамматики состоит в том, что отношения между компонентами сложного слова не имеют формального выражения; в то же время эти отношения так или иначе выражены, в противном случае всякое новое сложение, возникающее в речи, либо представляло бы идиоматическое образование (с точки зрения отношений между компонентами), либо могло бы восприниматься только на базе данных контекстуальных условий, что практически не имеет места, и сложные слова, сформированные в речи ad hoc, часто приобретают статус лексических единиц, обладающих четким значением вне всякого контекста.

Нам представляется, что выявление закономерностей словосложения следует начинать с наблюдений над закономерностями, действующими при формировании сложных слов какой-то определенной модели. С этой целью мы остановились на сложных словах модели «существительное + + причастие II», которые получили особенно большое распространение в современном английском языке.

Под словообразовательной моделью мы имеем в виду схему объединения морфем с двухступенчатой абстракцией от конкретных слов, образуемых по этой модели, а именно с абстракцией от отношений между компонентами сложного слова и абстракцией от лексической наполняемости образцов.

Таким образом, модель предопределяет лишь состав и порядок следования морфем, т. е. лишь морфологическую структуру слова и не отображает различных смысловых отношений между этими морфемами, формирующихся под влиянием определенных факторов.

Внутри разбираемой словообразовательной модели действуют различные структурно-семантические типы, намечаемые по отношениям между компонентами сложного слова. Набор этих структурно-семантических типов (их количество и характер) и принадлежит к тому, что мы называем грамматикой сложного слова.

Что касается конкретной лексической наполняемости, то таковая не имеет отношения к грамматичности сложного слова[5].

Применительно к нашему случаю это значит, что при наличии, например, локативного структурно-семантического типа, представленного та-

---

[3] Н. А. Янко-Триницкая, Закономерность связей словообразовательного и лексического значений в производных словах, в кн.: «Развитие современного русского языка», М., 1963, стр. 84.

[4] М. Д. Степанова, указ. соч., стр. 323.

[5] Ср.: R. B. Lees, указ. соч., стр. 119.

кими образованиями, как *London-born*, *-educated*, *-made*, и т. д., нас не может интересовать отсутствие таких образований, как * *London-killed*, *-bought*, и т. д.

Поскольку разбираемая модель сложного слова не располагает ничем, кроме двух полнозначных морфем, можно полагать, что отношения между ними должны выражаться самими этими морфемами в их взаимодействии.

Наблюдения над словами изучаемой модели позволили выделить два основных фактора, действующих регулярно при формировании этих сложных слов: 1) семантика (категориальное значение) первого компонента и 2) сильное управление второго компонента.

1. Под категориальным значением здесь имеется в виду то, в каком значении предмет, выраженный первым компонентом, выступает по отношению к действию, выраженному вторым компонентом.

Согласно категориальному значению первого компонента внутри рассматриваемой нами модели можно наметить следующие структурно-семантические типы.

Агентивный структурно-семантический тип, где в роли агента действия могут выступать самые различные по семантике существительные: лицо или группа лиц — *Negro-edited*, *union-condemned*; техническое средство — *motor-driven*, *machine-produced*; животные — *dog-drawn*, *ox-powered*, *animal-driven*; силы природы — *wind-beaten*, *rain-swept*, *flood-affected*:; разные физические и химические агенты — *steam-driven*, *oil-fired*.

Отношения между компонентами таких сложных слов и тем самым их значения легко воспринимаются при опоре на категориальное значение первого компонента (агент).

Локативный структурно-семантический тип, где первый компонент представлен существительным с категориальным значением места. Это географические названия (*US*, *London* и др.): *US-made*, *London-born*, *Paris-educated*, *country-bred*, *town-made*; слова «предприятие», «завод», «университет» и т. п., обозначающие, где производится действие, выраженное вторым компонентом: *factory-packed*, *college-bred*, *university-trained*; некоторые другие слова (например, *home*): *home-cooked*, *-made*, *-spun*.

Темпоральный структурно-семантический тип представлен очень редкими примерами: *spring-sown* (*flowers*), *autumn-born* (*children*,) но этот тип несколько расширяется за счет того, что ряд существительных, обозначающих события (война, сражение и под.), приобретают способность служить обозначением периода времени: *war-damaged* = *damaged during/in war*, *battle-scarred* = *scarred in battle*.

Структурно-семантический тип с первым компонентом «материал» представлен такими словами, как *stone-built*, *paper-made*.

Инструментальный тип включает слова с первым компонентом, выражающим средство выполнения действия, например, *silk-embroidered*, *soap-lathered*. Особенность слов этого типа (например, по сравнению с агентивным и локативным типами) состоит в том, что здесь существительные — первые компоненты не обладают четким категориальным значением, в результате чего восприятие таких слов в известной мере происходит с опорой на ассоциативные связи между первым и вторым компонентом. Слова этого типа находятся на периферии грамматичности сложного слова. Такие сложные слова не образуют рядов со стандартным значением, как это имеет место в агентивном, локативном и темпоральном типах: Ср.: *city-*, *family-*, *American-*, *state-*, *government-*, *coin-*, *machine-operated*; *German-held*, *-occupied*, *-built*, *-infested*; *London-born*, *-educated*, *-trained*,

где первые компоненты обладают настолько четким категориальным значением, что даже искусственные (экспериментальные) образования легко воспринимаются: * *government-swept* = *swept by the government*, * *snow-operated* = *operated by snow*. Слова же инструментального типа воспринимаются в значительной степени благодаря ассоциативным смысловым связям между компонентами, и экспериментальная подмена компонентов ведет к невозможности их понимания: * *silk-lathered*, * *soap-embroidered* не имеют никакого значения, так как ассоциативные связи нарушены, а категориальное значение первого компонента, которое могло бы детерминировать отношения, отсутствует.

2. Вторым фактором, действующим при формировании сложных слов по разбираемой модели, является сильное управление причастия — второго компонента.

В общей массе сложных слов такие образования составляют значительное количество, хотя их гораздо меньше, чем слов, формируемых по категориальному значению первого компонента. Приведем несколько примеров: *British-derived* (*songs*) = (*songs*) *derived from the British*; *teacher-centered* (*methods*) = (*methods*) *centered round the teacher*; *London-bound* (*plane*) = = (*plane*) *bound for London*; *war-oriented* (*politicians*) = (*politicians*) *oriented on war*.

Анализ смысловой структуры таких образований показывает, что принадлежность существительных к категориям «агент» (*the British*, *teacher*), «место» (*London*), «период» (*war*) утрачивает значение для формирования структурно-семантических отношений между компонентами сложного слова. Первые компоненты здесь как бы поступают в распоряжение вторых, характер управления которых и детерминирует смысловую структуру сложного слова.

Таким образом, сильное управление слов *centre on* (*round*, *about*) детерминирует смысловые отношения в сложном слове *teacher-centred*, в результате чего оно воспринимается как «centred on (round, about) the teacher».

Сложные слова, формируемые по семантике (категориальному значению) первого компонента и по сильному управлению второго компонента, представляют собой системное, типизированное словосложение, выполняемое по модели «существительное + причастие II», что характеризуется следующими признаками: 1) возможностью построения ряда слов со стандартным значением с подменой одного из компонентов; 2) возможностью расшифровки характера отношений при одном неизвестном компоненте (например: *government* + причастие II = причастие II + *by the government*, существительное + *based* = *based on* + существительное; 3) невозможностью стяжения причастного оборота в сложное слово, если существительное не проявляет категориального значения или причастие не характеризуется сильным управлением.

Категориальное значение первого компонента или сильное управление второго компонента определяет грамматичность сложных слов, формируемых по модели «существительное + причастие II», т. е. обуславливает возможность их восприятия в значении, заданном говорящим в процессе речи.

Этот вывод легко проверить путем экспериментального стяжения причастных оборотов (существительное + предлог + причастие II). Такое стяжение показывает, что там, где отсутствуют выявленные нами условия формирования сложных слов данной модели, стяжение не приводит к формированию значимых лексических единиц.

В самом деле, следующие образования, полученные в результате экспериментального стяжения причастных оборотов в сложные слова, не имеют никакого значения: * *tour-submitted*, * *block-marked*, * *English-published*, * *disaster-given*, * *article-adopted*, * *line-engraved*, * *acre-used*,

* *car-described*. Напротив, значения других экспериментальных стяжений легко воспринимаются благодаря факторам, определяющим их грамматичность: *pump-created*, *saber-split*, *plant-trained*, *oak-built*, *home-earned*, *court-appointed*, *water-torn*.

Известны, однако, сложные слова, формирующиеся вне рамок грамматики, выявленной для данной модели. К ним относятся: 1) слова, образованные из устойчивых сочетаний: *capacity-filled* ← *filled to the capacity*; 2) слова, в которых первый компонент адвербиализуется, например, *town-clad*, что значит не «одетый в городе», а «одетый по-городскому»; 3) образования с непосредственной опорой на контекст, т. е. такие сложные слова, которые сопровождаются специальным пояснением. Например: «In such circumstances one measures the „s p i n - a v e r a g e d" nuclear interaction, that is the nuclear forces a v e r a g e d o v e r all possible orientations of the particles spin» («Scientific American», July 1966, стр. 68).

Такие образования находятся в стороне от системного, типизированного словосложения «существительное + причастие II»; они индивидуальны, в то время как образования по категориальному значению существительного или сильному управлению причастия представляют собой определенные типы, образцы, по которым регулярно формируются сложные слова внутри данной модели и которые составляют ее системные признаки.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. А. ЗОЛОТОВА

О РЕГУЛЯРНЫХ РЕАЛИЗАЦИЯХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В синтаксических исследованиях все отчетливее обозначается стремление упорядочить типологию простого предложения на более строгой и вместе с тем реальной основе, стремление найти внутренние связи между основными типами предложений и их различными проявлениями, видоизменениями. Синтаксические поиски в этом направлении Н. Ю. Шведовой, связанные с подготовкой новой грамматики русского языка, ведутся, бесспорно, на передовой линии синтаксической науки, с использованием последних достижений грамматической мысли и с исключительно характеризующей работы этого автора широтой и полнотой охвата материала русской речи. В концепции Н. Ю. Шведовой особенно ценным представляется то, что предложение изучается не как изолированное явление в той или иной классификационной системе, но само оказывается системой, которая, сохраняя неизменной свой синтаксический каркас (структурная схема, предикативный минимум, по Н. Ю. Шведовой, или модель предложения), способна поворачиваться разными гранями — модальными, временными (формы предложения, по Н. Ю. Шведовой) и другими, которые Н. Ю. Шведова назвала регулярными реализациями [1].

Каково содержание понятия «регулярные реализации», какова их природа? Термин позволяет предположить, что это модификации, которые последовательно проходит тот или иной тип предложения, оставаясь в пределах своей структурной схемы, или модели [2]. Обнаружить систему таких реализаций было бы весьма перспективно для синтаксической теории.

Предлагаемые в указанной работе регулярные реализации тех или иных структурных схем представляют собой очень разные языковые явления и в большинстве случаев не оказываются регулярными в ожидаемом смысле этого слова. Первые примеры — бесподлежащные предложения *Читаю*, *На всех не угодишь*, трактующиеся как «регулярные неполные реализации» двусоставной глагольно-именной модели, представляют собой лишь определенные формы этой модели, с конкретно закрепленным значением лица и числа, между тем как Н. Ю. Шведова категории лица и числа не включает в понятие формы предложения. В других случаях неполнота реализации схемы — явление контекстное, возможное для любой синтаксической конструкции.

[1] См.: Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке (опыт типологии), в кн.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967.

[2] «Модель предложения... — минимально достаточное сочетание синтаксических форм, образующее коммуникативную единицу с определенным типовым значением в ряду аналогичных единиц с тем же типовым значением» (Г. А. Золотова, О структуре простого предложения в русском языке, ВЯ, 1967, 6, стр. 94).

Более последовательно проходят реализации с модально-экспрессивными частицами. Подвижность этих частиц, способность многих из них присоединяться к словам различных категорий и форм, придавая им при поддержке специфической интонации предикативно-оценочное значение [*Ну и (вот так, тоже мне, какое) поет! Ну и... секретарь! Ну и... у себя! Ну и... все! Ну и... в беспокойстве! Ну и... интересно!* и т. д.], создает фонд экспрессивно-стилистических вариантов многих конструкций, но прикрепленность их к тем или иным структурным схемам еще требует выяснения.

Регулярнее других проводятся реализации с полузнаменательными глаголами, которые могли бы составить базу для проверки моделей на «реализуемость». С помощью полузнаменательных глаголов реализуются структурные схемы двусоставных именных предложений, односоставные именного и наречного типа, однако не все схемы в пределах этих типов, не все предложения, приводимые в качестве примеров данной схемы, и не со всеми названными глаголами. Так, из примеров к схеме А. 2 [3] с глаголами *становиться*, *делаться*, *оставаться* реализуются предложения *Отец учитель*, *День пасмурный* и др., но не реализуются *Боец ранен*, *Запасы все*; из примеров к схеме Б. 1 с теми же глаголами не реализуются *Желающие налицо*, *Он мне сродни*, *Отец дома*; из примеров к схеме Б.4 — *Директор у себя*, *Я — от дирекции*, *Он со мной*, *Телеграмма от матери*, *Эта сабля — отца*, *Письмо тебе* и др.

Дело не в отдельных неточностях — они поправимы и не колеблют самой плодотворной идеи о возможности регулярных реализаций моделей предложения. Однако возникает вопрос: не скрываются ли иные принципы в основании этой возможности? У автора встречаются ссылки на то, что последовательности в «регулярных реализациях» и в парадигмах мешают в отдельных случаях лексические и семантические значения. Возможно допущение: а что, если это не отдельные помехи, а закономерности, которые и управляют регулярностью реализации?

Вопрос о соотношении лексики и синтаксиса мало исследован и представляется довольно сложным. Очевидно лишь, что нет прямой соотнесенности между лексическим и синтаксическим уровнями языка. Когда в качестве примера такой соотнесенности приводят факт выявления многозначности слова в предложении [4], недостаточно учитывается, что то или иное значение полисемичного слова выявляется вообще в контексте, но не связано, как правило (за исключением предикативно-характеризующих значений [5]), с определенными структурами предложений, следовательно, не обуславливается собственно конструктивным, синтаксическим уровнем. С другой стороны, вряд ли правомерно искать объяснения синтаксическим явлениям и в сопротивлении отдельных лексических единиц.

Материал показывает, что в синтаксисе «работают» не значения отдельных слов, а семантические категории — результат более высокой абстракции. Категориально-семантическое значение слов в единстве их с морфологической формой образует структурно-смысловые компоненты предложений той или иной модели с заданным, соответствующим мысли говорящего, типовым значением. Такое понимание синтаксической семантики и ее роли в организации предложения может оказаться плодотворным и для изучения регулярных реализаций.

---

[3] Здесь и далее примеры и обозначения рубрик приводятся по указ. соч. Н. Ю. Шведовой.

[4] См., например: Б. Трнка и др., К дискусии по вопросам структурализма, ВЯ, 1957, 3, стр. 50.

[5] См.: В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, 5.

В самом деле, нельзя не видеть, что сами способы регулярной реализации и результаты, получаемые с их помощью, семантически значимы.

Полузнаменательный глагол *оказаться* вносит в предложение значение выявления, обнаружения признака, воспринимаемого наблюдателем, глаголы *становиться*, *делаться* — значение изменения состояния. Естественно, что глаголы *становиться*, *делаться* не вводятся в предложения, не содержащие сообщения о состоянии. Этим и объясняется, почему не поддаются данной реализации отмеченные выше примеры. Не говорит ли это о том, что эти примеры должны представлять иные структурные схемы? Так или иначе, не признавая роль семантики в организации структурных схем предложения, нам предлагают в качестве регулярных реализаций семантические модификации структурной схемы.

Именно семантические модификации и представляют собой, на наш взгляд, рациональное зерно идеи о регулярных реализациях. Развитие этой идеи позволяет наметить некоторые контуры системы регулярных реализаций моделей предложения, упорядочивающие, с одной стороны, возможности регулярных реализаций, а с другой стороны, самое типологию простого предложения, выявляя таким образом внутреннюю структурно-смысловую обусловленность этой системы.

Наиболее общими представляются модальный и фазисный виды регулярных реализаций. Эти явления частично описываются грамматиками в разделах о сложных и составных сказуемых.

1. Под модальной реализацией имеется в виду не та объективная модальность, выражающая отношение высказывания к действительности, которая входит в общую характеристику предложения, или в его грамматическую парадигму, по Н. Ю. Шведовой. Здесь под модальностью понимается внутрифразовое отношение субъекта действия к действию [6], выражаемое вспомогательными глаголами и другими известными средствами: значения желательности, возможности действия, способности, предрасположенности к действию и т. п. При сохранении структурной схемы, модели, предложение последовательно принимает различные модальные реализации, оставаясь при этом способным и к изменениям по грамматической парадигме:

Я читаю;	*Пятеро пришли*;
Я хочу читать;	*Пятеро хотели прийти*;
Я умею читать;	*Пятеро постарались прийти*;
Я пытаюсь читать;	*Пятеро собирались прийти*; и т. д.

Из глагольных предложений, приводимых в пункте А.1, не принимают модальной реализации следующие: *Время есть*, *Опоздавшие не допускаются*, *Много вопросов решается* [7]. Для этого есть структурно-смысловые основания: в этих предложениях нет значения субъекта и его действия,— в первом сообщается о наличии предмета, вторые два представляют собой страдательные конструкции, где подлежащее обозначает не субъект, а объект действия.

Таким образом, способность/неспособность глагольного предложения принять модальные реализации оказывается формальным средством отграничения типовых значений «предмет и его действие» от иных, исключаю-

---

[6] О разграничении внешнесинтаксической и внутрисинтаксической модальности см.: Г. А. Золотова, О модальности предложения в русском языке, ФН, 1962, 4, стр. 76. Ср.: П. Адамец, К вопросу о модификациях (модальных трансформациях) со значением необходимости и возможности, «Československá rusistika», 1968, 2.

[7] Модальная реализация с глаголом *мочь* не показательна в силу своей двусмысленности: *могут прийти* означает и *способны прийти* и *им разрешено прийти* (ср. англ. глаголы *can* и *may*, нем. *müssen* и *sollen*).

щих возможность волюнтативного отношения субъекта действия к действию.

Для неодушевленных предметов модальное отношение к действию возможно в случае их олицетворения, в других случаях глагол при них обозначает по существу не действие, а свойство, признак [8].

Типовое значение «предмет и его действие», выраженное не глагольной моделью, а номинативным предложением, состоящим из отглагольного имени и родительного или творительного субъекта, отличается той же способностью к модальной реализации. Модальное имя занимает при этом место главного члена, а отглагольное имя примыкает к нему в форме инфинитива. Ср. *Ржание лошадей. Стоны раненых. Попытки демонстрантов прорвать полицейскую цепь* (при исходной модели: *Прорыв демонстрантами полицейской цепи*).

К модальным реализациям способны также двусоставные именные модели, в которых утверждается процессуальное состояние одушевленного предмета. Под процессуальным состоянием понимается пребывание предмета в состоянии, которое может быть ограничено временными пределами и противопоставляется статическому признаку, составляющему постоянное свойство предмета, которое исключает временные пределы. Теми же лексическими средствами, что и в глагольных предложениях, здесь выражается модальное отношение субъекта к признаку: *Отец учитель*, *Отец хочет быть учителем*, *Отец мечтает быть учителем*; *Девочка умна*, *Девочка хочет быть умной*, *Девочка старается быть умной*; *Он никто*, *Он хочет быть никем*, *Он пытается быть никем*. По отношению к неодушевленному предмету допустимо олицетворение: *День и хотел бы быть солнечным, да тучи не дают...* Но предложение *Запасы все* (пункт А.2) не проходит этой реализации, потому что оно иного значения: в нем утверждается не признак, а отсутствие предмета.

II. Способность предложений к регулярным фазисным реализациям основана на том, что действие или состояние предмета, выраженное в той или иной структурной схеме, может быть зафиксировано на одном из этапов, фазисов своего развития: в начальной точке (начинательное, или инхоативное значение семантической модификации), в продолжении и в конечной точке (финитивное значение).

В моделях с глаголами несовершенного вида фазисное значение реализуется с помощью полузнаменательных глаголов *начать*, *стать*, *продолжать*; *кончить*, *прекратить*: *Он говорит — Он начинает говорить*, *стал говорить*, *продолжает говорить*, *кончает говорить*, *прекратил говорить*. Для глаголов совершенного вида обычным способом выражения начинательных и финитивных значений служат приставки.

Из двусоставных именных моделей принимают фазисную реализацию те, в которых содержится сообщение о процессуальном состоянии предмета, и реализуется это значение также через эквивалент глагола *быть* + *кем-чем*, *каким* с помощью полузнаменательных глаголов *стать*, *становиться*, *делаться* (= *начинать быть*), *оставаться* (= *продолжать быть*) и *перестать быть*.

Не принимают фазисных реализаций двусоставные именные модели, сообщающие о постоянном, неизменном признаке предмета [со значением классификационным, материала, происхождения, пространственного отношения, назначения: *Слон — млекопитающее*, *Дом — каменный*, *Дом из камня*, *Платье из бархата*, *Платье бархатное* (но ср.: *Ты стал какой-то каменный*, *Небо делалось бархатным*), *Масло — вологодское*, *Они из дворян*,

[8] Об ограничении модальных возможностей у глаголов с предикативно-характеристическими, определительными значениями см.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 26.

Он с Урала, *Письмо от матери*, *Книги — детям* и т. п.], модели со значением результативного состояния (*Боец ранен*, *Клевер скошен*, так же, как глагольная модель с перфективным значением: *Пруд застыл*).

Система фазисных значений характеризуется тем, что в выражении ее участвуют средства разных уровней — лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, создавая иногда вариативные способы тех или иных реализаций. Ср. например:

Он запел	*Он поет*	*Он кончил петь* [9])
Он начал петь		
Он забеспокоился	*Он беспокоится*	*Он успокоился*
Он стал беспокоиться	*Он в беспокойстве*	*Он перестал беспокоиться*
Он пришел в беспокойство		
Он бледнеет	*Он бледен*	
Он стал бледнеть		
Он становится бледным		
Он стал пенсионером	*Он пенсионер*	
Он вышел на пенсию	*Он на пенсии*	

Отсюда становится ясным, что некоторые модели, не способные изменить свое временнбе значение, которые принимаются за самостоятельные структурные схемы, на самом деле представляют собой фазисные реализации с начинательным значением. Так, *Мать в слезы* — это начинательная реализация исходной модели *Мать в слезах*; ср. еще:

Он в залу — *Он в зале*;
Мы на работу — *Мы на работе*;
Секретарь к директору—*Секретарь у директора* и т. п.

Ср. фразеологически связанные способы выражения фазисных соотношений:

Он упал в обморок — *Он в обмороке*;
Он впал в отчаянье, в забытье — *Он в отчаянье, в забытьи*;
Он пришел в волненье, в негодованье — *Он в волнении, в негодовании*;
Он вышел в отставку — *Он в отставке*;
Он ушел в партизаны — *Он в партизанах. Он партизан* и т. п.

Отсюда прямая аналогия с моделями, сообщающими о движении предмета (в состав которых входят моторно-некратные глаголы, приставки, предложно-падежные формы): ту же трехфазисную схему составляет ряд предложений, где начинательная фаза сообщает о движении, направленном к указанному пункту, исходная (или средняя) фаза — о пребывании в этом пункте, финитивная — об удалении из пункта, окончании пребывания:

Он вошел (пришел) в дом — *Он (находится) в доме* — *Он ушел из дому*
Он едет в Москву — *Он (находится) в Москве* — *Он уехал из Москвы*
Он лезет на дерево — *Он (находится, сидит) на дереве* — *Он слезает с дерева*
и т. п.

Впрочем поскольку конечная точка движения может стать начальной точкой для его продолжения, то отчетливым остается фазисное противопоставление движения, направленного в пункт (из пункта), и пребывания в этом пункте.

Конечно, аналогия действительна с существенной оговоркой: если во фразеологических оборотах лексическое значение глаголов движения ослаблено, почти сводится к выражению фазисного значения, то в сообще-

[9] В интересах схематического изображения фазисных отношений отвлекаемся здесь от видо-временных значений, которые существенно усложняют и многообразят представляемые отношения и изучение которых в рамках данной схемы составляет особую задачу.

ниях о движении глаголы сохраняют полновесное лексическое значение. Поскольку движение — это развитие действия и во времени и в пространстве, здесь важно обозначение способа преодоления пространства.

К фазисным реализациям способны не только двусоставные предложения, но и те из односоставных, содержанием которых является утверждение состояния, события, явления, но не наличия конкретного предмета. В этом можно видеть свидетельство того, что способность к регулярным реализациям — свойство не просто сказуемого, а структуры предложения. Большинство отвлеченных имен со значением действия, состояния, явления способны образовать экзистенциальные номинативные предложения. С помощью глаголов *начинаться* и *кончаться*, *прекращаться* эти предложения реализуют начинательное и финитивное значения. Для многих из этих имен наряду с названными глаголами или вместо них употребляются другие синонимичные им глаголы, сочетаемость которых с именами лексически ограничена [10]:

Началась *Наступила* *Пришла* *Настала* } *зима*	Ср. *Зима.* *Стоит* *Продолжается* *Была* } *зима*	*Зима* { *кончилась* *прошла*
Начался *Поднялся* } *шум*	*Шум* Ср. *Стоит* *Продолжается* } *шум*	*Шум прекратился*
Началась *Вспыхнула* } *революция*	Ср. *Революция.* *Происходит революция* *Революция продолжается*	*Революция* { *закончилась* *совершилась* *произошла*
Раздался звонок	*Звонок.* Ср. *Звонок* { *звенит* *продолжается*	*Звонок прекратился*
Началась уборка	*Уборка.* Ср. *Уборка продолжается* *Происходит* *Проходит* } *уборка*	*Уборка кончилась*
Начался *Полил* } *дождь*	*Дождь.* Ср. *Идет* *Льет* *Продолжается* } *дождь*	*Дождь прекратился*

С точки зрения структуры предложения важно отметить вспомогательную роль глаголов, способствующих реализации фазисных значений номинативов (ср. роль фазисных глаголов при инфинитиве) [11]: введение фазис-

[10] Ср. наблюдения над начинательным и финитивным «семантическими параметрами» в статье А. Жолковского и И. Мельчука «О системе семантического синтеза» («Научно-техническая информация», серия 2, 1967, 2, стр. 51) и в их предшествующих публикациях в том же журнале (1965, 6 и 1966, 11). См. также: В. П. Сухотин, Из материалов по синтаксической синонимике в русском языке, «Исследования по синтаксису русского литературного языка. Сб. статей», М., 1956.

[11] Ср.: В. В. Виноградов, Введение в кн. «Грамматика русского языка», II, Синтаксис, ч. I, М., 1954, стр. 39. На особый характер отношений между именем и глаголом в фазисных реализациях предложений неизменно наталкиваются исследователи порядка слов и актуального членения. Интересно наблюдение И. И. Ковтуновой: «В нерасчлененных предложениях..., в которых сказуемое выражено глаголами со значением бытия, движения, начала, продолжения или окончания действия, ... оно образует с подлежащим более тесное синтаксическое объединение, чем сочетание подлежащего со сказуемым, выраженным глаголом с другим значением. По тесноте синтаксической спаянности и устойчивости порядка слов эта конструкция приближается к составному сказуемому» (И. И. Ковтунова, Принципы словорасположения в современном русском языке, «Русский язык. Грамматические исследования», стр. 118—119; разрядка наша.— *Г. З.*). Отмечая то же явление, П. Адамец, связанный концепцией глагольного господства, дает другое объяснение: «Между *V* и *S*, выступающими в данном типе, наблюдается некоторая семантическая связанность или взаимообусловленность... Подлежащее в этих случаях фактически является обязательным пополнением глагола» («Порядок слов в современном русском языке», Praha, 1966, стр. 51).

ных глаголов не изменяет структурной схемы модели предложения, лишь модифицируя ее установленным образом; вспомогательные глаголы с фазисным и модальным значением не обладают структурными свойствами, т. е. не образуют ни предложений, ни их компонентов без тех структурно-семантически полновесных слов, с которыми они сочетаются.

Отсюда закономерен следующий вывод, важный для типологии простого предложения: если в определении состава модели исходить из количества необходимых, но структурно самостоятельных его компонентов, фазисные реализации номинативных предложений, так же как и их исходная, безглагольная форма, остаются моделями односоставными (можно назвать их одноместными или однокомпонентными, чтобы ослабить полемичность этой идеи) [12].

Аналогичным образом реализуются фазисные значения безличных предложений, сообщающих о состоянии среды или субъекта: наречных — как именных, и глагольных: *Становится светло*, *Делается грустно*, *Начинает светать*, *Начинает знобить*, *Ветром начало подгонять лодку к берегу* и т. п.

Для финитивных значений в системном ряду и здесь остается законное место, но в речи часто оказываются предпочтительнее другие синонимичные модели. Ср., например:

Начинает знобить	*Знобит*	(*Кончило знобить*)
Начинается озноб	*Озноб*	*Озноб кончился*
Начинает таять	*Тает*	(*Кончило таять*)
Начинается таяние	*Таяние снега*	(*Кончилось таяние снега*)
Снег начинает таять	*Снег тает*	*Снег растаял*

Описанные в грамматиках так называемые трех- (четырех-) членные, или сложносоставные сказуемые («Озорник тяжело дышал и, судя по всему, *хотел продолжать шалить*» — Чехов; «Если бы он захотел, то *мог бы стать настоящим ученым*» — Чехов; «Аполлинария Петровна *умудрялась* всегда *оставаться опрятной*» — Саянов; «*Он переставал стараться быть умником*, отчего сразу становился и умнее и интереснее» — Горький), представляют собой примеры взаимодействия модальных и фазисных регулярных реализаций; при этом видоизменяется, усложняясь, реализационная ось модели предложения, но сами модели, выражающие значение субъекта и его действия или предикативного состояния разными грамматическими средствами, остаются неизменными. Ср.: *Озорник шалил* (*продолжал шалить*, *хотел продолжать шалить*) — двусоставная глагольная модель; *Он — ученый* (*стал ученым*, *мог стать ученым*) — двусоставная именная модель; *Она опрятна* (*оставалась опрятной*, *умудрялась оставаться опрятной*)— двусоставная адъективная модель и т. д.

Наблюдения над модальными и фазисными регулярными реализациями моделей предложения выявляют противопоставленность классов предложения с общим динамическим значением (значения действия, процессуального состояния в широком смысле) классам предложений с общим статическим значением (значение наличия в широком смысле).

В последней группе, кроме названного выше типа, утверждающего статический признак предмета, выделяются следующие типы предложений:

1. Утверждающие наличие конкретного предмета, воспринимаемого наблюдателем. Ср.: *Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.* Первое в ряду этих

---

[12] В. В. Виноградов в 1950 г. писал: «Предложение *Была зима* — для современного сознания так же одночленно, как *Зима*. Это—простое называние явления, относимого к прошлому, простая констатация явления в прошлом» (В. В. Виноградов, «Синтаксис русского языка» акад. А. А. Шахматова, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 114).

номинативных предложений выражает предикативное состояние и принадлежит к динамическому классу. Три следующих имеют статическое значение, следовательно, представляют другую модель с другими свойствами. Таким образом, здесь граница проходит внутри разряда номинативных предложений. Ср. также: *Ни огня, ни темной хаты.*

2. Утверждающие посессивное наличие, отношение субъекта и объекта принадлежности: *У них дом и сад*; *У нее есть дети*; *У него новый костюм.* Ср.: *У нее нет детей.*

3. Утверждающие локализованное наличие, наличие предмета в определенном месте: *Здесь есть грибы*; *Здесь нет грибов*; пространственные отношения предметов, локальную прикрепленность предмета: *Грибы — на опушке*; *Маяк за мысом*; *Возле дома скамья*; *Комиссия в зале.*

Перечисленным типам предложений, в силу их структурно-смыслового значения, не свойственны регулярные реализации модального и фазисного характера. Вспомогательный глагол *стать* может включаться в эти модели лишь тогда, когда в них вносятся динамические оттенки значения: переход от наличия к отсутствию или изменение количества: *Был фонарь, не стало фонаря* или *стало три фонаря*; *У нее стало трое детей*; *Нас стало трое*; *На опушке стало много грибов.*

Все сказанное должно подтвердить, что именно в структурно-смысловой организации предложения заключен механизм управления и его регулярными реализациями.

III. По-иному группируются те же виды значений предложения с точки зрения способности к регулярным реализациям еще одного типа. С помощью полузнаменательного глагола *оказаться* в предложения регулярно вносится значение выявления, обнаружения признака, воспринимаемого наблюдателем. Этот тип реализаций свойствен предложениям с общим статическим значением и не свойствен динамическим.

В этом случае к динамическим, не принимающим данной реализации, относятся все глагольные предложения разных значений и безглагольные с начинательным фазисным значением (*Татьяна в лес*, *Мы на работу*, *Мать в слезы*).

Принимают реализацию выявления признака все двусоставные именные модели с широким значением утверждения признака предмета (*Отец оказался учителем*, *День оказался пасмурным*, *Он оказался никем*, *Сын оказался умнее*, *Мальчик оказался без пальто*, *Брат оказался высокого роста*, *Телеграмма оказалась от матери* и т. п.), утверждения наличия предмета (*У нее оказались дети*, *У нее не оказалось детей*, *Ветра не оказалось*, *Запасов оказалось мало*, *Здесь оказались грибы*, *Возле дома оказался сад*, *Татьяна оказалась в лесу*, *Рожь оказалась сжата* и т. п.).

В реализациях с глаголом *оказаться* предложение отличается от исходной модели тем, что признак предстает не открытым, не готовым для восприятия, а открываемым, узнаваемым в результате некоторого усилия наблюдателя или вопреки его ожиданию, в преодолении какой-то грани между предметом и его признаком. Заметим, что для одной из моделей, утверждающей локализованное наличие одушевленного предмета (*Татьяна оказалась в лесу*), возможно совпадение субъекта пребывания и наблюдателя.

Не принимают реализации выявления собственно односоставные модели — номинативные и безличные, сообщающие о состоянии субъекта или состоянии среды,— именно потому, что в них нет расчлененности предмета и признака. Если и возможно *Оказалась полночь*, *Оказалось светло*, то лишь в контексте, как бы ставящем вопрос, ответом на который станет данное предложение (например: *Он потерял представление о времени. Оказалась полночь*).

Односоставные предложения, воспроизводящие состояние субъекта (*Смешно. Больно. Знобит. Тоска* и под.), всегда определенно-личны. Если субъект состояния в них не назван, то это всегда сообщения о 1-м лице (от 1-го лица или — в несобственно-прямой речи — как бы от лица персонажа), т. е. субъект состояния и субъект речи совпадают. Чтобы отнести состояние к другому лицу, это лицо должно быть указано (*Тебе весело, Его знобит, У него тоска*).

По отношению к синтаксической категории лица эти предложения аналогичны глагольным определенно-личным предложениям (Ср. *Грустно* = = *Мне грустно* и *Люблю* = *Я люблю*), с той разницей, что в глаголе лицо выражено морфологически, а в безличном предложении — в синтаксической структуре, и что граница выраженности/невыраженности проходит в глагольном предложении между 1, 2 и 3-м лицами, а в безличном — между 1 и 2, 3-м лицами.

Односоставные предложения, воспроизводящие состояние среды или обстоятельственное состояние (*Рассвет. Тишина. Морозно. Вьюжит*), возникают как бы в точке пересечения линии бытия, существования во времени объективной действительности и линии восприятия субъекта речи. Это «точечное» значение обуславливает их принципиальную односоставность, нерасчлененность. Между тем, с введением второго структурного компонента, создающего расчлененность предмета и признака, односоставное предложение приобретает способность к регулярной реализации выявления: *На дворе оказалась ночь, В комнате оказалось грязно, С утра оказалось тепло* и т. п. (Ср.: *Комната оказалась грязной*; *Утро оказалось теплым* и под.).

Структурно-смысловое понимание двукомпонентности (фактически двусоставности) позволяет более последовательно представить систему регулярных реализаций, чем чисто морфологический подход к разграничению односоставности — двусоставности [13]. Не случайно лишь для 3 и 7 структурных схем инфинитивных предложений регулярны реализации с полузнаменательными глаголами (стр. 23 рассматриваемой работы): именно эти схемы являются фактически двусоставными (*Его оказалось не узнать, Пойти оказалось некуда*), точно так же, как принимающие те же реализации схемы из именного типа (стр. 21): *Нас оказалось трое, На обед оказались щи, Дела оказалось на полчаса* и т. д.

Реализации с полузнаменательными глаголами фазисными и выявления, на первый взгляд — структурно-однородные, по существу внутренне различны не только по смыслу, но и синтаксически. Если с фазисным глаголом развитие признака — имманентное его состояние, то с глаголом выявления в предложение вводится неназванный, но тем не менее структурно реализуемый субъект, через восприятие которого преломляется соответствующий признак. Ср., например: *Сын становился умнее* (чем был раньше); *Сын оказался умнее* (чем ожидал субъект восприятия).

Включение нового субъекта всегда влечет за собой усложнение структуры предложения, чреватость ее дальнейшими делениями и преобразованиями. Новое «субъектное начало» может быть «вынесено за скобки» из основной модели и образует само предикативную единицу, взаимодействующую с основной в структуре сложного целого: *Оказалось, что сын умнее* (при невозможности подобной операции с фазисной реализацией).

Выясняется таким образом, что роль глагола *оказаться*, в отличие от *стать, становиться*, может быть не вспомогательной, а структурной. Значит, по существу за реализацией выявления кроется взаимодействие

[13] «Вообще „морфологизм“ в чистом виде как принцип построения теории предложения не может привести к пониманию всего разнообразия структурных типов предложения» (В. В. Виноградов, Введение..., стр. 78).

двух моделей, одна из которых сообщает о признаке предмета, другая — о характере восприятия этого содержания субъектом речи.

Глагол *оказаться* находится в соотносительном ряду с другими средствами выражения характера восприятия. Различаются они между собой прежде всего по смыслу. Ср.: *Он кажется умным* (говорящий либо не уверен в адекватности своего наблюдения, либо знает о несоответствии между видимостью и действительностью); *Он считается умным*, *Он слывет умным* (говорящий сообщает о признаке предмета не на основании своего наблюдения, а ссылаясь на мнение других лиц, при возможности своего незнания, сомнения или несогласия).

Кроме смысловых различий, у каждого из этих глаголов различные конструктивные возможности. *Слывет* самостоятельным структурным значением не обладает. *Оказалось*, «вынесенное за скобки», не принимает обозначения субъекта восприятия; может быть, тем и объясняется широкая употребительность и «универсальность» этого глагола как средства реализации выявления, что он выражает субъектное восприятие обезличенным способом. *Кажется* сочетается с субъектом (*мне казалось*, *тебе*, *ему кажется* ...). *Считается* в самостоятельном предикативном употреблении безлично (*Считается, что он умный*), но соотносительно с личным. Ср.: *Я считаю, она, они считают, что он умный*...

Далее обнаруживаем соотносительность конструкций *Он считается умным* и *Его считают умным*. Их объединяет неопределенно-личное значение субъекта восприятия (заметим, что субъект речи, говорящий, и субъект восприятия здесь разошлись), а также то, что обе конструкции представляют собой результат взаимодействия двух моделей (сообщение о признаке предмета и сообщение о характере восприятия) [14]. Конструкции, совместившие эти два значения, будем для удобства именовать а в т о р и з о в а н н ы м и.

Однако способ взаимодействия двух значений в этих конструкциях различен. В предложении *Он считается умным* глагол восприятия включается в двусоставную именную (адъективную) модель, не нарушая ее, уподобляясь вспомогательному глаголу (субъект восприятия принял бы форму объектную: *Он всеми считается умным*). Во втором предложении *Его считают умным* (ср. *Все считают его умным*), наоборот, грамматически господствует глагольная модель восприятия, а модель «предмет и его признак» включается в нее, причем субъект — носитель признака принимает подчиненную форму объекта.

Намечаются, таким образом, разнообразные пути развития, наращивания смысла и грамматического усложнения исходных моделей предложения, в том числе переходы от регулярной реализации одной модели к взаимодействию двух. Учитывая, что реализация выявления вносит в предложение дополнительное значение авторизованности, можем считать, что изменения эти происходят в пределах регулярной реализации до тех пор, пока сохраняется структурная схема, исходная модель предложения.

Описанные здесь регулярные реализации нуждаются в дальнейшей разработке и не исчерпывают всех возможных реализаций моделей предложения. Вопросительные и отрицательные модификации предложений, по-видимому, тоже представляют собой регулярные реализации соответствующих моделей. Выявлению новых аспектов преобразования моделей, в частности, могут способствовать упомянутые исследования А. Жолковского и И. Мельчука, поставленные на синтаксическую основу.

---

[14] Подобные явления интерпретирует с точки зрения трансформационной грамматики Д. С. Уорт. См.: D. S. W o r t h, The role of transformations in the definition of syntagmas in Russian and other Slavic languages, «American contributions to the V International congress of slavists», The Hague, 1963, стр. 68—72.

Таблица 1

Исходные модели и их грамматические модификации	Семантические модификации (регулярные реализации)		
	модальная реализация	фазисная реализация	реализация выявления
А. Динамического класса			
Отец работает	*Отец хочет работать*	*Отец начинает работать*	———
Отец работал	*Отец хотел работать*	*Отец начал работать*	———
Отец будет работать	*Отец захочет работать*	*Отец начнет работать*	———
Отец работал бы...	*Отец хотел бы работать*	*Отец начал бы работать...*	———
и т. д.	и т. д.	и т. д.	
Он инженер	*Он хочет быть инженером*	*Он становится инженером*	*Он оказывается инженером*
Он был инженером	*Он хотел быть инженером*	*Он стал инженером*	*Он оказался инженером*
Он будет инженером	*Он захочет быть инженером*	*Он станет инженером*	*Он окажется инженером*
Он был бы инженером...	*Он хотел бы быть инженером...*	*Он стал бы инженером ...*	*Он оказался бы инженером...*
и т. д.	и т. д.	и т. д.	и т. д.
Б. Статического класса			
Клевер скошен	———	———	*Клевер оказывается скошен*
Клевер был скошен	———	———	*Клевер оказался скошен*
Клевер будет скошен	———	———	*Клевер окажется скошен*
Клевер был бы скошен...	———	———	*Клевер оказался бы скошен...*
и т. д.			и т. д.

Изложенные наблюдения подтверждают мысли Н. Ю. Шведовой о важности изучения единой и целостной сферы организации простого предложения, внутренних связей и системно выявляющихся видоизменений в этой сфере.

Вместе с тем эти наблюдения говорят в пользу классификации предложений не по типам парадигмы, а по структурно-смысловым типам, которые в единстве грамматической модели и типового значения строятся из реально-необходимых значимых компонентов. Реальным составом и семантикой модели предложения обусловливаются как модально-временная парадигма — модификация грамматических значений предложения, так и регулярные реализации — модификации его структурно-смыслового значения.

Каково соотношение между этими двумя видами модификаций? Схематически оно показано в табл. 1. Принадлежность к модально-временной парадигме — непременное условие существования предложения; форма со значением настоящего времени и реальной модальности занимает одно из мест в соотносительном вертикальном ряду грамматических модификаций.

Семантические же модификации привносят элемент значения, которого нет в исходной модели, которое она лишь способна принять соответственно своим структурно-смысловым возможностям. Естественно при этом, что этот семантический элемент может быть придан любой грамматической форме модели, которая выступает в качестве исходной по отношению к регулярным реализациям в горизонтальном ряду. Или иначе: каждая из семантических модификаций основной модели может занимать одно из мест в соотносительном вертикальном ряду грамматических модификаций в пределах данной реализации. Здесь важно признать не приоритет одной из координат, а их пересечение.

Если грамматические модификации отличаются несовместимостью, невозможностью соединить в одной форме противопоставленные временные и модальные значения, то семантические модификации, наоборот, совместимы, склонны к взаимодействию. Предложение *Он не хочет стать инженером?* представляет собой комплексную реализацию модели *Он инженер*, результат взаимодействия вопросительной, отрицательной, модальной и фазисной модификаций (ср. *Он не хотел стать инженером? Он не захочет стать инженером?* и т. д.).

Дальнейшее изучение регулярных закономерностей в организации предложения должно способствовать разрешению типологических проблем синтаксиса [15].

---

[15] Автор благодарит за ценные замечания Ю. Д. Апресяна и З. Д. Попову, прочитавших статью в рукописи.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

Г. Л. НАХУЦРИШВИЛИ

ОБ АГГЛЮТИНАТИВНОМ ХАРАКТЕРЕ ОСЕТИНСКОГО ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ

Одной из характерных черт современного осетинского языка, выделяющей его среди всех новоиранских языков, является многопадежное агглютинативное склонение имен существительных [1]. По мнению В. Ф. Миллера, «осетинские падежи частью, возможно, унаследованы от древности, большей частью, однако, вновь образованы, а именно с помощью присоединения послелогов к основе, совпадающей с им. падежом ед. ч.» [2]. Агглютинативный характер падежных форм не смущал В. Ф. Миллера, подчеркнувшего, что «как и другие новоиранские языки, осетинский имеет одни и те же окончания для единственного и множественного числа, только во множественном они присоединяются к основе, снабженной показателем множественности» [3].

Такое объяснение осетинского склонения не нашло поддержки у иранистов последующего поколения. В. И. Абаев, например, критикуя концепцию В. Миллера, отметил, «что модель осетинского склонения стоит совершенно особняком в иранском мире, что такого склонения, многопадежного и агглютинативного, нет ни в одном иранском языке» [4]. Придавая большое значение кавказскому субстрату, который «... вошел в осетинский ... как самостоятельный структурный фактор, как своего рода вторая его природа» [5], и усматривая типологическое тождество между осетинским склонением и склонением в новогрузинском языке [6], В. И. Абаев полагает, что на становление осетинского многопадежного агглютинативного склонения оказали определяющее влияние кавказские, в частности, картвельские и некоторые восточногорские языки [7].

---

[1] Парадигму осетинского склонения см., например: «Грамматика осетинского языка», I, под ред. проф. Г. С. Ахвледиани, Орджоникидзе, 1963, стр. 87—88. Наша транскрипция совпадает с транскрипцией, принятой в «Грамматике».

[2] Вс. Миллер, Язык осетин, М.— Л., 1962, стр. 77.

[3] Там же, стр. 73.

[4] В. Абаев, От редактора, в кн.: Вс. Миллер, Язык осетин, стр. 8.

[5] См. далее: «... кавказская языковая среда наложила заметный отпечаток на все стороны осетинского языка: на фонетику, морфологию, синтаксис, лексику, семантику, идиоматику» (В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949, стр. 76). См. также: В. И. Абаев, Грамматический очерк осетинского языка, Орджоникидзе, 1959, стр. 5; его же, Скифо-европейские изоглоссы, М., 1965, стр. 3 и сл.

[6] Там же, стр. 99—101.

[7] Там же, стр. 99 (см. еще: В. И. Абаев, Скифо-европейские изоглоссы, стр. 77; см. также его доклад на заседании Ученого совета Ин-та языкознания АН СССР — ВЯ, 1955, 5, стр. 172). В настоящее время этот тезис можно считать общепризнанным в иранистике, см., например: Г. Ахвледиани, Сборник избранных работ по осетинскому языку, I, Тбилиси, 1960, стр. 189; G. Morgenstierne, Neu-iranische Sprachen, «Handbuch der Orientalistik», 4—Iranistik, 1 Absch.—Linguistik, Leiden — Köln, 1958, стр. 161—167 (странным кажется тот факт, что автор в библиографии по осетинскому языку не указывает на капитальные труды В. И. Абаева); «Грамматика осетинского языка», I, стр. 30 и сл.

Значительное количество «кавказских» слов, специфические «кавказские» фонемы и ряд других явлений в осетинском [8] не позволяют сомневаться в наличии кавказского субстрата в осетинском. Тем не менее, объяснение типа осетинского именного склонения только в результате воздействия кавказского субстрата представляется недостаточно обоснованным — особенно если учесть, что при изучении осетинского склонения соответствующий материал из близкородственных языков привлекался далеко не в широком объеме.

Продолжая мысль В. И. Абаева о том, что «яркие черты параллелизма в развитии средне- и новоиранских языков, с одной стороны, и средне- и новоиндийских — с другой», наблюдаются «на всех уровнях: в фонетике, морфологии, синтаксисе» [9], проследим эволюцию именного склонения в родственных осетинскому индо-иранских языках.

Склонение имен существительных в древнеиндоиранских языках (Веды, санскрит, Авеста) было флективным и богатым формами (восемь падежей с разными окончаниями в единственном, двойственном и множественном числах, несколько типов склонения и т. д.). В ранних среднеиндоиранских языках (пали, пракриты, древнеперсидский) началось разрушение флексии имен (исчезло двойственное число, дательный падеж совпал с родительным и т. д.) [10]; этот процесс завершился в поздний среднеиндоиранский период, когда имя уже не склоняется [11]. В ранних новоиндоиранских языках взамен старых флективных форм появляются аналитические: послелоги и предлоги выполняют функции падежных окончаний [12].

В большинстве современных индо-иранских языков именные формы аналитические, однако ввиду неравномерных темпов развития в целом наблюдается довольно пестрая картина. В некоторых из этих языков наряду с аналитическими формами сохранились отдельные старые падежные формы (в синдхи: твор. п. *kamã* «работой» от *kamu* «работа», местн. п. *hathe* «в руке» от *hathu* «рука» [13]; в талышском: отложительно-исх. п. *osmono* «с неба» от *osmon* «небо» [14]). В других современных языках имя не изменяется, и падежные отношения передаются только при помощи служебных слов — например, в персидском, таджикском и в диалекте бходжпури из группы диалектов бихари [15]. В значительной части новоиндоиранских языков имя выступает в двух формах: в прямой и косвенной, причем к последней присоединяются служебные слова для выражения падежных отношений (в хинди: прям. п. *laṛᵃkā* «мальчик», косв. пад. *laṛᵃke*, *laṛᵃke ko* «мальчику»;

---

[8] См., например: Вс. Миллер, указ. соч., стр. 21—26, 28—30 и сл.; М. И. Исаев, Осетинский язык, «Языки народов СССР», I, М., 1966, стр. 237; его же, Дигорский диалект осетинского языка, М., 1966, стр. 15 и сл.; Э. Бенвенист, Очерки по осетинскому языку, М., 1965, стр. 32 и сл.; В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, II, М.— Л., 1953, стр. 36.

[9] В. И. Абаев, Скифо-европейские изоглоссы, примеч. 36 к стр. 77.

[10] См.: И. Минаев, Очерки фонетики и морфологии языка пали, СПб., 1872, стр. 17 и сл.; R. G. Kent, Old Persian, New Haven, 1950, стр. 57 и сл.

[11] См.: А. П. Баранников, Флексия и анализ в новоиндийских языках, «Уч. зап. [ЛГУ]». Серия востоковедч. наук, 1, 1949, стр. 9 и сл.; И. М. Оранский, Введение в иранскую филологию, М., 1960, стр. 141. Эта тенденция к исчезновению именной флексии наблюдается на всей индоевропейской территории (см.: А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 44).

[12] См.: А. П. Баранников, указ. соч., стр. 10 и сл.; И. М. Оранский, указ. соч., стр. 141 и сл.

[13] Р. П. Егорова, Язык синдхи, М., 1966, стр. 30, 31.

[14] Б. В. Миллер, Талышский язык, М., 1953, стр. 75.

[15] И. К. Овчинникова, Синтаксическое использование персидского послелога *ра* в его истории (К вопросу о способах выражения падежных отношений в новоперсидском языке). Автореф. канд. диссерт., М., 1951; А. А. Керимова, Таджикский язык, «Языки народов СССР», I, стр. 216; Г. А. Зограф, Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала, М., 1960, стр. 34.

в курдском: прям. п. *кэч'ьк* «девушка», косв. п. *кэч'ьке*, совм. п. *кэч'ькева* «с девушкой» [16]).

В некоторых новоиндоиранских языках можно заметить процесс сращения служебных слов с основами и образования новой именной флексии. Этому способствует ряд общеизвестных изменений послелогов (фонетических, семантических и пр.) и их все более тесная связь с основами управляемых ими имен. Так, в ишкашимском языке среди послелогов, имеющих в основном именное происхождение, два послелога — *'-bo* и *'-no* (*y*) — выделяются «тем, что они выполняют только служебную функцию... Это своего рода послелоги-суффиксы» [17]. Фактически такими же послелогами-суффиксами стали в курдском языке *-r̄a*, *-va* и *-da*, в хинди и урду *-kā*, *-ko*, *-se*, *-meṅ*, *-ne* [18].

В ходе дальнейшего развития служебные слова в отдельных индо-иранских языках превратились в падежные окончания. Так, в бенгальском языке окончание *-er* родительного падежа (*ghar-er* «комнаты») восходит к древнеиндийскому причастию *kṛta*, которое сперва использовалось как служебное слово; небезынтересно отметить, что в бенгальском наряду с четырьмя падежами, образующимися посредством окончаний, существует и иной способ для выражения творительного, дательного, отложительного и местного падежных отношений — при помощи послелогов [19].

Процесс сращения служебных слов с основами в новоиндоиранских языках протекает неодинаково интенсивно: в одних языках сращение еще не наблюдается (персидский, таджикский, диалект бходжпури), в других оно только началось (ишкашимский, курдский, хинди, урду), в третьих уже образовались три-четыре некогда «послеложных» падежа (белуджский, бенгальский), а в некоторых имеются уже шесть, восемь, а то и девять (если не десять) таких падежей (цыганский, маратхи, осетинский). Таким образом, появление новой именной флексии в осетинском обусловлено общими тенденциями развития индо-иранских языков. Новые падежные формы (а ими признаны все, «кроме номинатива, генитива и, возможно, локатива» [20]) возникли в результате сращения служебных слов с основой имени.

Что же касается агглютинативности осетинского склонения, то в современной иранистике это явление рассматривается как результат влияния кавказского субстрата. Такое объяснение было бы убедительным, если бы в других близко родственных осетинскому языках вновь возникшие системы склонений относились к другому морфологическому типу. Обратимся к фактам.

В новоиндийских языках (причем в восточных более интенсивно, нежели в западных) «окончательно складывается аналитический строй, а в отдельных языках появляется агглютинация (разрядка наша. — *Г. Н.*) и намечается тенденция к образованию новых синтетических форм», из числа которых «новые способы образования множественного числа (в частности, агглютинацией)» признаны одной из характерных черт этих языков [21]. В восточной группе новоиндийских языков (орья,

---

[16] Т. Е. Катенина, Язык хинди, М., 1960, стр. 46; К. К. Курдоев, Грамматика курдского языка, М.— Л., 1957, стр. 74.

[17] Т. Н. Пахалина, Ишкашимский язык, «Языки народов СССР», I, стр. 423.

[18] К. К. Курдоев, указ. соч., стр. 66—73; З. М. Дымшиц, Язык урду, М., 1962, стр. 84—89.

[19] Е. М. Быкова, Система падежей в древнебенгальском языке, «Вопросы грамматики бенгальского языка», М., 1964, стр. 33; ее же, Значения и синтаксические функции падежных форм имен существительных в современном бенгальском языке, сб. «Бенгальский язык», М., 1962, стр. 3—5.

[20] См., например: В. И. Абаев, Скифо-европейские изоглоссы, стр. 77.

[21] Г. А. Зограф, указ. соч., стр. 15, 16.

бихари, бенгальский, ассамский) падежные формы существительных строятся по принципу агглютинативности. Уже в древнебенгальском именном склонении обнаружилась общая тенденция к развитию агглютинации [22], а в современном бенгальском «типологически иной в сравнении с древнеиндоарийской стала система форм слов — словоизменительных и словообразовательных», «господствующим принципом организации которых является агглютинация» (например: *balɔk* «мальчик», генит. ед. ч. *balɔk-er*, генит. мн. ч. *balɔk-dig-er*; *balika* «девочка», генит. ед. ч. *balika-r*, генит. мн. ч. *balika-dig-er*) [23]. Аналогичную картину можно наблюдать в ассамском языке, в котором имеются пять падежей с одинаковыми окончаниями для обоих чисел, а также в языке орья, в группе диалектов бихари [24].

Агглютинативный способ склонения имен распространяется и в южной группе новоиндийских языков. В языке маратхи «зависимость имен от других слов в предложении выражается... тремя различными грамматическими средствами: флексией, агглютинацией (в сочетании с флексией) и сочетанием флективного и агглютинативного способа с аналитическими» [25]. Элементы агглютинации можно обнаружить и в некоторых других новоиндийских языках, например, в восточном пахари, в синдхи [26].

В образовании нового, агглютинативного типа именного склонения дальше всех новоиндийских языков продвинулся цыганский; приводим парадигму склонения существительных в севернорусском диалекте цыганского языка.

	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед. ч.	Мн. ч.
Им.	*ром* «цыган»	*рома-á*	*ромн-ы* «цыганка»	*ромн-я́*
Вин.	*ром-ɜ́с*	*ром-ɜ́н*	*ромн-я́*	*ромн-ẽн*
Дат.	*ром-ɜ́с-кэ*	*ром-ɜ́н-гэ*	*ромн-я́-кэ*	*ромн-ẽн-гэ*
Местн.	*ром-ɜ́с-тэ*	*ром-ɜ́н-дэ*	*ромн-я́-тэ*	*ромн-ẽн-дэ*
Отл.	*ром-ɜ́с-тыр*	*ром-ɜ́н-дыр*	*ромн-я́-тыр*	*ромн-ẽн-дыр*
Твор.	*ром-ɜ́с-са* > *ромэса*	*ром-ɜ́н-ца* (*-са*)	*ромн-я́-са*	*ромн-ẽн-ца* (*-са*) [27].

В более близко родственных осетинскому других современных иранских языках преобладающий аналитический строй зачастую совмещается, однако, с зачатками агглютинации. В частности, множественное число, как и в новоиндийских языках, образуется специальным, агглютинативным показателем: в персидском *-ān*, *-hā*; в таджикском *-on*, *-ho*; в курдском *-a* (*-an*); в татском *-ha/-a*; в талышском *-on*; в белуджском *-ān*; в ягнобском *-t*; в шугано-рушанских диалектах *-en*; в ишкашимском *-o* и т. д.

Падежная система в современных иранских языках, по сравнению с новоиндийскими, мало развита. Во многих из них имеются только два падежа: прямой и косвенный. В прямом падеже имя стоит в виде основы, а косвенный падеж принимает, как правило, один из показателей *-a*, *-i*, *-e* [28]. Вот как выглядит это двухпадежное склонение существительных в ягнобском языке:

	Ед. ч.	Мн. ч.
Прям.	*inč* «женщина»	*inč-t*
Косв.	*inč-i*	*inč-t-i* [29].

[22] Е. М. Быкова, Система падежей в древнебенгальском языке, стр. 36 и сл.
[23] Е. М. Быкова, Бенгальский язык, М., 1966, стр. 27—28.
[24] Г. А. Зограф, указ. соч., стр. 42—43, 45, 34—38.
[25] Т. Е. Катенина, Очерк грамматики языка маратхи, М., 1963, стр. 42.
[26] Г. А. Зограф, указ. соч., стр. 66; Р. П. Егорова, указ. соч., стр. 27—30.
[27] Т. В. Вентцель, Цыганский язык, М., 1964, стр. 57—58, 61.
[28] См.: «Grundriss der iranischen Philologie», I, 2. Abt., Strassburg, 1898—1901, стр. 315.
[29] Там же, стр. 337.

Аналогичная картина наблюдается в талышском и татском языках [30]. Представляется, что агглютинативный характер этих падежных форм не вызывает сомнений [31].

В некоторых из современных иранских языков и диалектов именное склонение получает дальнейшее развитие. Г. Грирсон в зебакском диалекте ишкашимского языка выделяет три падежа:

	Ед. ч.		Мн. ч.
Nom.	*tāt*	«отец»	*tāt-en, -e, -ai*
Akk.	*tāt-i*		*tāt-eni, -aii*
Gen.	*tāt-e, -a*		*tāt-ena, -aie* [32]

Трехпадежная система развилась и в белуджском языке:

	Ед. ч.		Мн. ч.
Осн.	*asp*	«лошадь»	*asp-ān*
Посесс.	*asp-ây*		*asp-ān-i*
Объект.	*asp-ā*		*asp-ān-ā*

Следует тут же заметить, что в белуджском языке в посессивном падеже ед. числа, наряду с показателем *-ay* встречается, правда, реже и *-i* [33].

Парадигма еще более сложного склонения наблюдается в ваханском языке:

	Ед. ч.	Мн. ч.
Nom.	*xūn* «дом»	*xūn, xūn-išt*
Akk., Gen.	*xūn*	*xūn-aw*
Dat.	*xūn-ar*	*xūn-aw-ar*
Abl.	*tsa-xūn-an*	*tsa-xūn-aw-an*
Instr.	*da-xūn-an*	*da-xūn-aw-an* [34].

Можно спорить о количестве падежей в ваханском языке, но агглютинативный характер образования падежных форм, как и в вышеприведенных примерах из других иранских языков, вне всякого сомнения. Видимо, аналогичные факты из иранских языков имел в виду Г. Моргенстьерне, когда писал: «в некоторых языках возникли новые падежи посредством агглютинации старых послелогов» [35].

Произведенный анализ фактов из новоиндоиранских языков позволяет утверждать, что склонение имен существительных там, где оно возникало, по своему типу оказывалось агглютинативным. Таким образом, осетинский со своим агглютинативным типом склонения не стоит особняком среди новоиндоиранских языков. Наличие в нем агглютинативного склонения наряду со сходными фактами других родственных языков является одним из аргументов, подтверждающих развитие в новоиндоиранских языках тенденции к образованию нового, агглютинативного типа склонения [36].

Если осетинский «противостоит всем остальным новоиранским язы-

[30] См.: Л. А. Пирейко, Талышский язык, «Языки народов СССР», I, стр. 305; А. Л. Грюнберг, Татский язык, там же, стр. 286—287.

[31] Как «агглютинативные моменты в талышском склонении» характеризовал подобные падежные формы и связанные с ними явления Б. В. Миллер (см. его «Талышский язык», стр. 93—95).

[32] Приводится по кн.: P. Tedesco, Ostiranische Nominalflexion, «Zeitschrift für Indologie und Iranistik», 4, 1926, стр. 155.

[33] В. С. Расторгуева, Белуджский язык, «Языки народов СССР», I, стр. 329.

[34] P. Tedesco, указ. соч., стр. 155.

[35] G. Morgenstierne, указ. соч., стр. 162.

[36] Такой вывод находится в полном соответствии с указанием А. Мейе: «Дело в том, что языки, развившиеся из одного и того же „общего языка“, сохраняют не только определенные древние черты, но и устойчивую склонность к тождественным либо сходным новообразованиям» (А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, стр. 20. См. еще: его же, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.— Л., 1938, стр. 421—424).

кам», то только лишь тем, что в нем уже установился четко выраженный многопадежный агглютинативный тип именного склонения, тогда как в большинстве языков этой группы процесс образования указанного типа находится в зачаточном состоянии, что объясняется неравномерными темпами развития языков. Влияние кавказского субстрата явилось как бы катализатором в становлении осетинского многопадежного агглютинативного склонения.

При учете вышеизложенного становится очевидным все значение замечания В. Ф. Миллера об осетинском склонении, рассматриваемого им в связи со склонением в других новоиранских языках [37]. В этом замечании отразилась точка зрения В. Ф. Миллера на осетинское агглютинативное склонение как на общеиранское явление.

Возникает вопрос: почему за аналитическим типом следует именно агглютинативный? По нашему мнению, основа для возникновения агглютинативного склонения заложена в самом аналитическом строе: для выражения тех или иных падежных отношений в индо-иранских языках используются одни и те же послелоги и в ед. и во мн. числах, а это при постепенном сращении их с косвенными формами имен создает предпосылки для образования одинаковых падежных окончаний в обоих числах.

Напомним, однако, что именное склонение в украинском диалекте цыганского языка стало «более флективным», а именно, в формах аблатива и инструментального падежа ед. и мн. чисел произошли изменения, сближающие их с флективными образованиями:

	Ед. ч.		Мн. ч.		Ед. ч.	Мн. ч.
Им.	*ром*	«цыган»	*рома*	Абл.	*ромэстэр*	*ромэндар*
Вин.	*ромэс*		*ромэн*	Лок.	*ромэсте*	*ромэндэ*
Дат.	*ромэсти*		*ромэнди*	Инстр.	*ромэда*	*ромэнца* [38].

Изменения такого рода не чужды вообще языкам агглютинативного строя. Так, один из тунгусо-маньчжурских (и шире — алтайских, т. е. агглютинативных) языков — эвенский, по свидетельству В. А. Аврорина, «твердо стал на путь превращения в язык с флективной морфологией» [39].

В осетинском языке склонение имен также сопровождается некоторыми фонетическими изменениями в именной основе (чередование согласных, чередование гласных), в суффиксе мн. числа (геминация суффикса, вставка гласного *ы*), в самих падежных окончаниях (направительный падеж ед. числа *-мæ*, мн. числа *-æм*; отложительный падеж ед. числа *-йæ*, мн. числа *-æй*) [40]. Общеизвестно, что именно с изменений такого рода и начинается переход агглютинативного типа склонения во флективный.

Рассмотренный путь индо-иранского типа склонения подтверждает правильность положения о том, что «в образовании морфологического строя языков наблюдается известная последовательность»: некогда самостоятельное слово через ступень служебного может превратиться в суффикс (агглютинация); далее «оно может превратиться в более прочно спаянный со словом форматив, образуя тем самым соединение типа флексии индоевропейских языков. Различные внутренние противоречия флективного строя приводят к его распаду и образованию аналитического строя. Новые служебные слова могут снова превращаться в морфемы, возникает новый агглютинативный строй» [41].

---

[37] См.: В с. Миллер, указ. соч., стр. 73.

[38] А. П. Баранников, указ. соч., стр. 15.

[39] В. А. Аврорин, Об основных различиях между агглютинативной и флективной аффиксацией, «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.— Л., 1963, стр. 212.

[40] «Грамматика осетинского языка», I, стр. 79—93.

[41] Б. А. Серебренников, О причинах устойчивости агглютинативного строя, ВЯ, 1963, 1, стр. 46.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

Г. К. ВЕРНЕР

К ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛАРИНГАЛЬНОГО СМЫЧНОГО В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Часто встречающийся в кетских словах и словоформах ларингальный смычный представляет собой явление, которое до настоящего времени еще не нашло удовлетворительного освещения в литературе с точки зрения фонологической; между тем оно представляет большой интерес, так как обусловлено системой слоговой акцентуации, а с последней связано все своеобразие фонологической системы языка. Более того, выявление акцентных отношений сможет, на наш взгляд, сыграть существенную роль в истолковании тех или иных фактов грамматического строя языка, например, способа инфиксации типа индоевропейского качественного [1] и количественного аблаута; ср.: ел. *hu'γ* «мужчина», мн. число *həʔн'*; *haʔй* «кедр», мн. число *hu' ɥ*; сым. *фас* «бубен», мн. ч. *фаʰ:с* [2].

Первые подробные сведения о ларингальной смычке в кетском языке сообщил Н. К. Каргер, который был, по-видимому, склонен рассматривать ее всего лишь как особенность произношения кетских гласных в рекурсии [3]. На ее фонологическое значение впервые указывается в работах А. П. Дульзона и Е. А. Крейновича, в которых она рассматривается как согласная фонема [4]. Само собой разумеется, что окончательное решение этого вопроса возможно только на основе привлечения экспериментальных

---

[1] Согласно традиционной точке зрения, индоевропейский аблаут возник под воздействием музыкального ударения (см.: H. Hirt, Der indogermanische Ablaut, Straßburg, 1900). Если в данном случае иметь в виду прежде всего слоговую акцентуацию, то эта гипотеза подтверждается фактами языков, в которых отмечается взаимосвязь между слоговыми акцентами и качественной характеристикой гласных (см.: С. Д. Кацнельсон, Сравнительная акцентология германских языков, М.— Л., 1966, стр. 312; В. Гринавецкис, Историческое развитие ударения и интонаций жемайтских говоров литовского языка, «Славянская и балтийская акцентология», М., 1964, стр. 9; М. В. Гордина, Длительность гласных вьетнамского языка, «Уч. зап. [ЛГУ]», 325. Серия филол. наук, 69 — Вопросы фонетики, 1964, стр. 176; ср. иную точку зрения: Нгуен Хай Зыонг, Система тонов и спектры гласных вьетнамского языка. Автореф. канд. диссерт., [М.], 1963, стр. 17).

[2] В статье используются следующие знаки транскрипции: ^{h} — фарингализация, ʔ — ларингальный смычный, *h* — фарингальный щелевой; γ — звонкий и *x* — глухой велярный щелевой (в сымских словах *x* обозначает увулярный щелевой); *ə* — безударный неопределенный гласный; *e*, *ъ*, *ô* — закрытые и *ə*, *л*, *o* — открытые гласные соответственно переднего, среднего и заднего рядов. В приведенных многосложных словах первый слог — ударный.

[3] См.: Н. К. Каргер, Кетский язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.— Л., 1934, стр. 225 и сл.

[4] Обосновывая это, А. П. Дульзон приводит, например, минимальные пары типа ʔə: «железо» — ʔə:ʔ «да» и отмечает возможность замещения этого звука согласными [г], [γ] (*тогул'* — *тогул'* — *тоγул'* «соленая вода») — см.: А. П. Дульзон, Очерки по грамматике кетского языка, I, Томск, 1964, стр. 49. Вместе с тем он отмечал, что ларингальной смычке предшествует восходящее движение голоса (см. : А. П. Дульзон, Кетские сказки, Томск, 1966, стр. 156).

данных; исходя из них ларингальная смычка рассматривается здесь как элемент просодической системы языка [5].

При исследовании природы ларингальной смычки у сымских кетов было обнаружено, что некоторые односложные слова, произнесенные изолированно, отличаются друг от друга только различными мелодическими характеристиками при одинаковом фонемном оформлении, например: *ы:т'* «чуман (большой берестяной сосуд)» — *ы*^{h}: *т'* «весна», *ч'и:к* «лебедь», *ч'и*^{h}*:к* «змея», *и* «имя» — *и*^{ʔ} «лабаз». Дальнейшее выявление подобных минимальных пар показало, что в сымском диалекте кетского языка различаются несколько фонологически самостоятельных движений голоса; полученные затем рентгенограммы и осциллографическая обработка магнитофонных записей подтвердили наличие нескольких слоговых тонов [6].

В сымском диалекте имеется два слоговых тона с активным участием фаринкса: один из них представляет собой краткое и отрывистое движение голоса, а другой — долгое и плавное; кроме того, первый характеризуется более высоким регистром по сравнению со вторым. Противопоставление этих двух тонов по признаку долгота — краткость не так существенно, как противопоставление по признаку отрывистость — плавность, особенно, если учесть, что при сонантном исходе слога общая долгота отрывистого тона сильно возрастает за счет фазы падения и может достигать длительности плавного тона. Однако подобная нейтрализация противопоставления долготы и краткости, а также встречающиеся случаи нейтрализации противопоставления по регистру обоих тонов, вовсе не означают, что выделенные тоны фонологически иррелевантны. Это сразу же ощущается, если сравнить их в слогах с исходом на глухую финаль: в таких слогах плавный тон сохраняет свою обычную длительность, а отрывистый — резко сокращает всю нисходящую фазу [7]. Возможность удлинения отрывистого тона при сонантном исходе слога заложена, таким образом, в самой природе сонанта; ее следует рассматривать лишь как позиционную особенность.

Участие фаринкса как у отрывистого, так и у плавного тонов проявляется в его сужении и мускульном напряжении стенок. Степень сужения и напряжения фаринкса у обоих тонов точно установить не удалось, но его сужение вплоть до образования смычки [8], наблюдается только при отрывистом движении голоса, в частности при гласном исходе слога, например: *ди*^{ʔ} «орел», *хə*^{ʔ} «большой», *дə*^{ʔ} «озеро». Однако и в этой позиции ларингальная смычка появляется более или менее последовательно только в имбацких говорах. В сымском же диалекте в большинстве случаев фаринга-

---

[5] Небезынтересно в этом отношении отметить, что еще К. Доннер сравнивал ларингальную смычку в кетском языке с датским stød'ом (K. Donner, Über die Jenissei-Ostjaken und ihre Sprache, JSFOu, XLIV$_2$, 1930, стр. 17), который, как известно, рассматривается большинством исследователей в качестве явления просодического порядка.

[6] Краткую общую характеристику выделенных нами четырех слоговых тонов в сымском диалекте см.: Г. К. Вернер, Звуковая система сымского диалекта кетского языка. Автореф. канд. диссерт., Томск, 1966, стр. 17 и сл. В транскрипции различие между этими слоговыми тонами проводится знаками долготы и фарингализации или ларингального смычного.

[7] Типологически сходное явление наблюдается, например, в сайгонском диалекте вьетнамского языка, в частности у 5 и 6-го тонов (см.: М. В. Гордина, И. С. Быстров, Тональная система сайгонского диалекта вьетнамского языка, сб. «Вопросы грамматики языков стран Азии», [Л.], 1964, стр. 40, 41).

[8] Поскольку не удалось точно установить, образуется ли смычка смыканием стенок фаринкса или смыканием голосовых связок, то пользуемся традиционным термином «ларингальная».

лизация сопровождается лишь резким падением интенсивности, что при восприятии на слух и производит впечатление смычки [9].

Если слог оканчивается на согласный, то наблюдается только сужение фаринкса, смычка же в этой позиции вообще не возникает [10]. Но отрывистый тон вызывает заметное изменение у соответствующего конечнослогового согласного. В этом плане интересно наблюдение К. Доннера, ограничивающееся, правда, только сонантами [11]. Конечнослоговые сонанты в подобных случаях, удлиняясь, как бы делятся на две части, из которых первая произносится интенсивно, а вторая оглушается, например: *ба^{h}ӈ* «земля», *и^{h}н* «игла», *и^{h}р* «песня». Глухие финали также в известной степени удлиняются, и, кроме того, произносятся более интенсивно.

Особенно отчетливо это удлинение воспринимается как у сонантов, так и у других согласных, когда они оказываются в многосложных словах в позиции между гласными, ср.: *ду^{h}ккуӈ* «поймаю», *дико^{h}рруӈ* «я-поймал», *ду^{h}ттахот* «он-лежит», *ба^{h}ттэт* «лицо», *ду^{h}ггуӈ* «прыгну», *до^{h}рруӈ* «я-прыгнул». В подобных примерах мы имеем фактически дело с согласными геминатами, которые при ослаблении или полном отсутствии фарингализации, а также компонентов мелодики, могут представлять собой единственный рефлекс былого акцентного оформления слога.

Таким образом, следует разграничивать геминаты с прочими долгими согласными, возникшими в результате соединения соседних одинаковых согласных или в результате ассимилятивных явлений в системе консонантизма. Сделать это не всегда легко — особенно в тех случаях, где могут наличествовать оба фактора, как, например, в глагольной форме *ду^{h}ббет'* «он-делает (это)» [12] или в примерах типа *ба^{h}ӈӈуш* (= *ба^{h}ӈ* + *ху^{h}ш*) «землянка», *и^{h}ррут'* (= *и^{h}р* + *хут'*) «шамань!», *бы^{h}л'л'а* (ср. имбацк. *был'д'а*) «все».

В качестве рефлекса этого явления могут также рассматриваться различия в способе примыкания [13] и противопоставление в некоторых случаях глухих и звонких согласных, хотя последнее может восходить к противопоставлению фарингализованных и нефарингализованных тонов вообще, ср. кетск. *ду^{h}т*, мн. ч. *дутыӈ* «шило»; *и^h:т*, мн. ч. *итыӈ* «зуб». Для тюркских языков это отмечается в недавней работе А. М. Щербака, ср. турец. *ат* «имя», *адї* «его имя», но *ат* «лошадь», *атї* «его лошадь»; *от* «огонь», *оду* «его огонь», но *от* «трава», *оту* «его трава» [14]. Очень интересное сооб-

---

[9] В открытых слогах за падением интенсивности можно наблюдать иногда частичное ее усиление, что производит впечатление разрыва гласного на две части (*ди^{h}е* «орел»). Очень часто подобные примеры встречаются у М. А. Кастрена (M. A. Castrén, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre, 2. Aufl., SPb., 1858, стр. 157 и сл.), например: *aʔa* «да», *ӄaʔa* «слово», *deʔä* «озеро», *kiʔe* «моток». Подобным же образом обозначаются у М. А. Кастрена и те слоги, в которых реализуется плавный акцент с фарингализацией: *îʔet* «зуб», *ûʔot* «мышь», *ûʔos* «береза»; но в последних примерах знак [ʔ] передает, видимо, фарингализацию без смычки, в то время как в первых примерах он передает фарингализацию, которая могла сопровождаться смычкой.

[10] На имплозивный характер смычки в этой позиции указывал уже Н. К. Каргер (указ. соч., стр. 225—226).

[11] K. Donner, указ. соч.

[12] А. Кастрен, как известно, объяснял появление *бб* в таких случаях, как результат ассимиляции *г* после *б* (см.: M. A. Castrén, указ. соч., стр. 9), что, однако, не оправдывается действующими фонетическими закономерностями; если же выделить в качестве корневой морфемы *-бет'* (см.: Е. А. Крейнович, О явлениях развития кетского языка от форм аналитических к формам синтетическим, сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.— Л., 1965, стр. 288), то появление *бб* объяснимо прежде всего с точки зрения морфологической (*ду^h- б-бет'*, где *-б* —показатель неодушевленности объекта).

[13] См. об этом: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 242.

[14] А. М. Щербак, О происхождении первичных долгих гласных в тюркских языках, ВЯ, 1967, 6, стр. 46.

щение на этот счет находим у В. И. Рассадина, обнаружившего связь между фарингализацией и глухостью последующего консонантизма в тофаларском языке: *qaъrt* «слой бересты», «кора ивы, черемухи» — *qaъrtы/qaъrt:ы* «его слой бересты»,; *aъt* «лошадь» — *aъtы/aъt:ы* «его лошадь», но *эд* «желчь»— — *эдит* «моя желчь», *ад* «имя» — *адыт* «мое имя». В этом языке глухость согласного после фарингализованного гласного сохраняется при всех обстоятельствах и восходит к глухости согласного в древнетюркском [15].

В связи с тем, что в позиции перед согласными фарингализация, как правило, остается, а ларингальная смычка исчезает, может создаться впечатление, будто процесс фарингализации не имеет ничего общего со смычкой, которая появляется только при гласном исходе слога и подвергается полной ассимиляции в позиции перед согласными. Поскольку смычка своим исчезновением как бы подтверждает свое участие в сандхиальных процессах (тем более, что это сопровождается геминацией), вполне правомерен вопрос, нельзя ли ее рассматривать как согласную фонему [16]. Такая фонологическая трактовка смычки была бы возможной в случае, если бы смычка неизменно появлялась в слогах с гласным исходом, но, как уже отмечалось, она в общем носит факультативный характер [17], хотя и появляется в имбацких говорах более последовательно, чем в сымском диалекте. Однако решающим в данном случае является другой момент.

Еще Н. К. Каргер отмечал, что ларингальная смычка исчезает, если слово становится компонентом сложного слова при словосложении или превращается в многосложное при формообразовании [18]. Это замечание очень существенно, хотя и не совсем точно сформулировано. Дело в том, что в подобных случаях может происходить полное изменение акцентного оформления соответствующего слога, а это и является главным. Либо происходит мена слогового тона в ударной позиции, либо его исчезновение в безударной позиции [19]. Первый случай можно проиллюстрировать следующими примерами: *ды*ʔ «шапка», мн. число *дыныӈ* [20]; *a*ʰ*m* «кость», мн. число *адиӈ*; *xy*ʰ*n* «косач», мн. число *хуфын*. Впрочем в таких случаях прослеживается не только мена краткого отрывистого, но и других слоговых тонов, ср.: *a*ʰ*:ш*, мн. число *ашиӈ* «перо»; *a*ʰ*:ӈ*, мн. число *аӈын* «веревка»; *ы:m'*, мн. число *ыд'иӈ* «чуман». Следует еще отметить, что это явление наблюдается не только в многосложных, но и в односложных словоформах:

---

[15] В. И. Рассадин, Лексика современного тофаларского языка. Автореф. канд. диссерт., Улан-Удэ, 1967, стр. 18, 19.

[16] См., например, соответствующее явление в бирманском языке: Н. Д. Андреев, М. В. Гордина, О. А. Тимофеева, Система тонов бирманского языка, «Уч. зап. [ЛГУ]», 294. Серия востоковедческих наук, 12 — Филология и история стран Востока, 1961, стр. 80.

[17] «Необязательность гортанного взрыва является фонетическим признаком того, что сжатие гортани в данном языке выступает фонологически в качестве просодического средства» (Вяч. Вс. Иванов, О прерывистой интонации в латышском языке, «Rakstu krājums veltījums akadēmiķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam», Rigā, 1959, стр. 140).

[18] Н. К. Каргер, указ. соч., стр. 225.

[19] В многосложных словах словесное ударение накладывается на соответствующий слоговой тон, способствуя более четкому его проявлению, в то время как в безударных слогах противопоставление слоговых тонов, как правило, нейтрализуется (ср.: П. С. Кузнецов, К вопросу о фонологии ударения, «Доклады и сообщения филологич. фак-та [МГУ]», 6, 1948, стр. 16, 17; И. Б. Ефремова, Мелодика простого распространенного предложения в норвежском риксмоле, «Уч. зап. [ЛГУ]», 308. Серия филол. наук, 62 — Скандинавская филология, I, 1961, стр. 21, 35; см. также: Н. Д. Андреев, М. В. Гордина, Тональная система и ударение в бирманском и вьетнамском языках, «Филология стран Востока», Л., 1963, стр. 63, 64).

[20] Чередование ʔ:*н* в первом примере лишь кажущееся, так как *-н-* — это показатель мн. числа наряду с *-ыӈ*: для кетского языка характерно двухкратное и даже трехкратное выражение мн. числа (например, сым. кет. *ун'иӈ* мн. число от *уй* «детская люлька», кет. *ӈаӈн'иӈ* мн. число от *ӈаʔй* «гора, яр»).

*дэ*ʔ, мн. число *дёӈ* «озеро»; *д'и*ʔ, мн. число *д'аӈ* «комель»; *фа*ʰ*й*, мн. число *фиӈ* «кедр»; *са*ʰ*р*, мн. число *сан* «карась»; *э*ʰ*л*, мн. число *е*: *л'* «чашка».

Исчезновение слогового тона в безударной позиции видно из следующих примеров: *а*ʰ*т* «кость», *ул'ат* «ребро» (буквально «гладкая кость»); *дэ*ʔ «озеро», *сандэ* «карасевое озеро», *ч'ы*ʰ*с* «камень», *ач'ис* «напильник»; *а*ʰ:*ӈ* «веревка», *ч'афэӈ* «собачья упряжка»; *кэ*ʰ*т* «человек», *дЛйгит* «юрак» (ненец)»; *у*ʰ*т* «мышь», *аут* «крыса».

Приведенные примеры показывают, что если бы ларингальная смычка функционировала как сегментная фонологическая единица, ее исчезновение в данном случае было бы неоправданным. Тот факт, что она исчезает вместе с утратой фарингализации и вообще данного слогового тона в целом, говорит о том, что ларингальная смычка является компонентом надсегментной фонологической единицы, а точнее — краткого отрывистого тона.

Рассмотрим далее вопрос о чередовании ларингальной смычки с заднеязычными шумными согласными *к*, *г*, *х* (*γ*). Фактически в данном случае представлено чередование *ʔ*: *нуль*. Нуль появился вследствие выпадения соответствующего заднеязычного шумного согласного в процессе исторического развития языка, но происходило это не без участия системы слоговой акцентуации, которая могла способствовать стяжению, как это, например, произошло в словах *са*ʰ:*р* (вместо *сагар*, *саγар*) «ночевать», *са*ʰ:*н'* (вместо *сан'и*) из русск. «сани».

Собственно, видимость чередования ларингальной смычки с заднеязычными шумными согласными возникает только в примерах типа *ч'Л* «соль» (ср. ост. [21] *чыыг* «соль») — *ч'Лгур* «соленая вода» (*ур* «вода»); *ду*ʔ «дым» (ср. кот. *туг*, пумп. *дукар* «дым») — *дугбгбес* «через дымовое отверстие». Но в этих примерах смычка обусловлена наличием краткого отрывистого тона в соответствующих слогах [22] и не имеет никакого отношения к названным шумным согласным. Это подтверждается тем, что в слогах без ларингальной смычки (т. е. в слогах, в которых реализуется не краткий, отрывистый тон, а любой другой) тоже очень часто восстанавливается исторически исчезнувший шумный согласный: сым *и*:, мн. число *экӈ* «день» (ср. кот. *и*:*г*, *и*:*х*); сым. *сы*:, мн. число *сыкӈ* «год» (ср. кот. *шега*); сым., имб. *е*, кур. *э*:*γе до*ʰ*н* «железный нож» (ср. также пумп. *аг*, э.-ш. *ыг* «железо»); сым., *съ*: «тяжелый», ср. *съ*:*ге* «тяжело»; сым., имб. *си* «ночь», ср. *сигдабаӈе* «темно» (ср. также кот. *ши*:*г*, *ши*:*х* «ночь»); сым. *ха*:, ср. кот. *хе*:*г* «слово»; сым. *и*, ср. кот. *их* «имя».

Процесс исчезновения заднеязычных шумных согласных, который иллюстрируют приведенные примеры, следует, видимо, объединить с апокопой конечных слогов (ср. имб. *эдэ*, сым. *э*ʰ:*т'* «соболь»; имб. *hиγэ*, сым. *фи*:*к* «мужчина»; кот. *hуja*, сым. *ху*ʰ:*т'* «щука»), обусловленной слоговой акцентуацией [23]. Правда, это предположение трудно согласовать с исчезновением этих же согласных в начальной позиции (ср. ар. *кус.* — асс., кот. *уча*, сым., имб. *у*ʰ:*с* «береза»; ар. *кул*—асс., кот. *ул*, имб. *ул*, сым. *ур* «вода»; ар. *кина* —асс. кот. *ин'е*, пумп. *hинеаӈ*, сым. *ыне* «два», *ынеӈ*, «двое»;

---

[21] В статье приняты следующие сокращения: ост. — остяцкий (о нем см.: А. П. Дульзон, Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, «Уч. зап. Томск. пед. ин-та», XIX, 2 — Лингвистические науки, 1961, стр. 154, 156, 157), сым. — сымский, имб.— имбацкий, кот.— коттский, ар.— аринский, асс.— ассанский, пумп.— пумпокольский, э.-ш.— говор р. Эдт-шеш, кур.— курейский говор.

[22] К подобным случаям следует, видимо, причислить и вариант *ди*ʔ*уӈ* (от *ди*ʰ*ггуӈ*) «прыгну», записанный в свое время А. Кастреном у сымских кетов. В связи с этим едва ли можно согласиться с морфологическим членением *ди-*ʔ*уӈ* (см.: E. Lewy, Zum Jenissei-Ostjakischen, UJb, XIII, 3/4, 1933, стр. 300); как компонент тона в первом слоге ларингальный смычный не может быть отнесен к последующему слогу.

[23] О подобном же явлении в германских языках см.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 57—80, 100—114, 268 и сл.

пумп. *hихем* — кот., асс. *ега*, сым., имб. *и*: «день»; ар. *куши* «жаркий» — сым. *у:ше* «тепло»), но это последнее могло быть обусловлено и совсем другими причинами.

Как бы ни решался вопрос о причинах исчезновения заднеязычных шумных согласных, совершенно очевидно, что в современном кетском языке нет чередования этих согласных с ларингальной смычкой, и, следовательно, нельзя привлекать это явление для определения смычки в качестве согласной фонемы [24].

Следует к тому же отметить, что подобный процесс исчезновения заднеязычных шумных согласных наблюдается не только в енисейских, но и во многих других языках, например, тюркских [25], монгольских, палеоазиатских, индоевропейских и др. Так, в германских языках имеются точно совпадающие с енисейскими языками фонетические параллели, ср. англ. *day* [deī], дат. *dag* [dæˑ?], нем. *Tag* [ta:k] «день»; англ. *nail* [neīl], нем. *Nagel* [na:gəl], нем. диалектн. *na:l* «гвоздь»; др.-в.-нем. *agalstra*, нем. диалектн. *eilster*, *e:lster*, нем. *Elster* «сорока»; нем. *Schuh* [šu:], нем. диалектн. *šuk* «ботинок»; дат. *bog* [boˑ?], англ. *book* [bu:k], нем. *Buch* [bu:x] «книга».

Представляется, что с тем же самым процессом связано и исчезновение так называемых индоевропейских «ларингальных» [26]. Это тем более вероятно, что на основе данных анатолийских языков, во-первых, имеющимися в литературе примерами подтвержден заднеязычный характер этих звуков, а во-вторых, представляется возможность реконструировать не четыре или даже восемь [27], а всего лишь один или два «ларингальных» [28]. Поскольку утрата индоевропейских «ларингальных» является фактически процессом исчезновения заднеязычных шумных согласных, характерным для многих языков — как индоевропейских, так и неиндоевропейских, то это явление едва ли может привлекаться для удовлетворительного объяснения индоевропейского аблаута. Как качественный, так и количественный аблаут в индоевропейском может, на наш взгляд, найти удовлетворительное объяснение с точки зрения слоговой акцентуации, особенно, если, с одной стороны, учесть, что «развитие сравнительной грамматики от Ф. Боппа до Э. Бенвениста подводит к гипотезе, что древнейшую эпоху развития индо-

---

[24] Вместе с тем нельзя, видимо, полностью отрицать, что исчезновение этих согласных могло сопровождаться теми или иными изменениями в системе слоговой акцентуации, например, обусловливать появление фарингализации (ср., например, гипотезу А. Вайана о развитии индоевропейского акута из сочетаний с ларингальными; см. об этом: Вяч. Вс. Иванов, О прерывистой интонации в латышском языке, стр. 145 и сл.; С. Д. Кацнельсон, Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и ее значение в свете современных данных, ВЯ, 1954, 6, стр. 60).

[25] У Ф. Г. Исхакова (см. его «Тувинский язык. Очерк по фонетике», М.— Л., 1957, стр. 32) на основании сравнения параллелей типа тув. *чаъс*, туркм. *ягыш* «дождь» допускается, что тувинские гласные получили в подобных случаях свой гортанный оттенок от исчезнувшего заднеязычного согласного. Более реально, однако, что фарингализация в тувинском является отражением речевых особенностей енисейского языкового субстрата, тем более, что исчезновением заднеязычных согласных не объясняются все случаи наличия фарингализации (см. об этом: В. И. Рассадин, указ. соч., стр. 19).

[26] Ср. замечание Вяч. Вс. Иванова о том, что стяжение двух гласных в один долгий в греческом после исчезновения заднеязычного шумного согласного (например, хет. *paḫhur*, тох. А *pōr*, греч. πυρ) «имеет точную фонетическую параллель в монгольских языках, ср., например, *aγur* „гнев“ > *a'ur* > совр. монг. *уур* „зло, злоба“» (Вяч. Иванов, Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник МГУ», Историко-филолог. серия, 2, 1957, стр. 38). Ср. также гипотезу о развитии ларингального в *i* в хеттском (В. В. Иванов, Хеттский язык, М., 1963, стр. 89; его же, Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965, стр. 17, 18), что также находит точную параллель в других языках (ср., например, факты енисейских и германских языков).

[27] J. Puhvel, Hittite evidence for Indo-European laryngeals, «Evidence for laryngeals», Austin (Texas), 1960, стр. 171.

[28] См.: Вяч. Иванов, Проблема ларингальных..., стр. 44.

европейских языков характеризует корнеизолирующий строй языка...»[29], а с другой — замечательную гипотезу Н. Д. Андреева, что индоевропейский корнеслов древнейшей поры обладал несколькими тонами[30]. Правда, распространено мнение, что в тональных языках тоны не влияют на качество гласных. При этом исходят обычно из того факта, что все гласные фонемы в этих языках могут встречаться во всех тонах[31]. С точки зрения фонологической гласный, встречающийся в различных тонах, действительно функционирует как одна единица, но с точки зрения фонетической в различных тонах могут появляться различные качественные и количественные оттенки одного и того же гласного. Особенно важно в этом отношении различие между фарингализованными и нефарингализованными тонами[32]: поскольку при фарингализации деформируются соответствующие резонаторы, то это не может не сказываться на качественной характеристике гласных[33], приводя к чередованию не только узких и широких гласных, но и лабиализованных и нелабиализованных. Последнее легко объяснимо, если учесть, что лабиализация и фарингализация с точки зрения восприятия очень сходны[34]. Подобные оттенки одной и той же гласной фонемы, появившись под воздействием различных тонов, могут при определенных условиях, например, при конвергенции тонов в ходе исторического развития языка, стать самостоятельными фонемами[35]. Фарингализация может, таким образом, оказывать на гласные такое же влияние, как и фарингальные или ларингальные согласные фонемы[36].

Гипотеза Н. Д. Андреева позволяет, кроме того, объяснить и количественный аблаут в индоевропейском (на полной ступени): соображения типологического характера дают основание интерпретировать древние долготы как просодический, а не фонемный признак, как это характерно для современных политонических языков[37]. Однако с исчезновением системы

---

[29] Г. С. Клычков, Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка, ВЯ, 1963, 5, стр. 4.

[30] Н. Д. Андреев, Периодизация истории индоевропейского праязыка, ВЯ, 1957, 2, стр. 14.

[31] Там же, стр. 9.

[32] Относительно того, существовали ли в индоевропейском такие тоны, не приходится сомневаться, ибо это подтверждают факты балтийских и германских языков (см.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч.; Вяч. Вс. Иванов, О прерывистой интонации в латышском языке, стр. 133—140; его же, [рец. на кн.:] J. Kuryłowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, ВЯ, 1954, 4, стр. 135).

[33] Ср.: А. Ч. Кунаа, Звуковой состав тесхемского говора тувинского языка. Автореф. канд. диссерт., Л., 1958, стр. 6, 7; К. А. Новикова, Очерки диалектов эвенского языка, ч. I, М.— Л., 1960, примеч. к стр. 40.

[34] См.: Р. Якобсон, Г. М. Фант, М. Халле, Введение в анализ речи, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 196, 200.

[35] Примечательно, что рефлексы былой слоговой акцентуации в языках, в которых она исчезла, прослеживаются прежде всего в системе вокализма (см.: В. Гринавецкис, указ. соч., стр. 9; Г. С. Клычков, Типологические изменения в развитии индоевропейских языков, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965, стр. 252, 253).

[36] Ср.: П. Я. Скорик, Грамматика чукотского языка, ч. I, М.— Л., 1961, стр. 20. Учитывая влияние на тембр и долготу гласных смежных фарингальных согласных фонем в семитских и северокавказских языках, Т. В. Гамкрелидзе, например, допускает, что индоевропейские «ларингальные» характеризовались фарингальной артикуляцией, и, развивая эту мысль, объясняет индоевропейский аблаут (Т. В. Гамкрелидзе, Анатолийские языки и реконструкция системы «ларингальных» в индоевропейском, «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Научная сессия. Тезисы докладов», [М.], 1964, стр. 49, 50).

[37] См., например: Т. П. Задоенко, Краткий очерк системы тонов современного китайского языка, сб. «Вопросы китайской филологии», [М.], 1963, стр. 191 и сл.; М. В. Гордина, указ. соч., стр. 192, 193; М. В. Соколов, Тональная система шанхайского диалекта, сб. «Спорные вопросы строя китайского языка», М., 1965, стр. 62 и сл.; Н. Д. Андреев, М. В. Гордина, О. А. Тимофеева, указ. соч.,

слоговой акцентуации на более поздних этапах развития языка признаки, которые были просодическими, могли быть переосмыслены и стали функционировать как признаки гласных или согласных фонем [38]. Не исключено, что и ларингальная смычка может в таких случаях при известных условиях приобрести функцию согласной фонемы [39]. Но такая интерпретация ларингальной смычки в современном кетском языке, на наш взгляд, не соответствует реальному положению вещей. Как было показано, она не является ни сегментной, ни надсегментной фонологической единицей, а всего лишь факультативным дополнительным признаком, сопутствующим фарингализации краткого отрывистого тона в случае его реализации в открытых слогах.

стр. 71 и сл.; в отношении германских языков см.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 276. Небезынтересно и замечание Вяч. Вс. Иванова о наличии в индоевропейском долгих гласных до падения «ларингальных» (Вяч. Вс. Иванов, Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, стр. 23, 24).

[38] Ср.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 312; ср. также противопоставление фарингализованных и нефарингализованных гласных фонем в тувинском (А. Ч. Куная, указ. соч., стр. 6—7; Ф. Г. Исхаков, указ. соч., стр. 32) и эвенском (К. А. Новикова, указ. соч., стр. 40) языках, противопоставление прерывных и непрерывных придыхательных и непридыхательных гласных в удэйском языке (В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 64—68).

[39] Ср.: П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 18, 19; S. Bhattacharya, Glottal stop and checked consonants in Bonda, «Indo-Iranian journal», IX, 1, 1965, стр. 70, 71.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Е. Н. ВИНАРСКАЯ

К ИЗУЧЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вероятностный аспект весьма существен для изучения закономерностей речевой деятельности. За последние годы в лингвистике накапливается все больше данных о том, что каждый носитель языка подсознательно располагает сведениями об относительных вероятностях встречаемости слов в данном языке и о различных вероятностных связях слов в речевой деятельности [1]. Однако выявление этих подсознательных сведений человека оказывается далеко не простым делом, поскольку на использование тех или иных элементов языка в речевой деятельности влияет чрезвычайно большое число факторов, в том числе и сугубо индивидуальных.

Примерно в те же годы в физиологии оформилось представление о том, что целенаправленная деятельность невозможна без ее вероятностного прогнозирования, опирающегося на предшествующий опыт человека [2]. Вероятностное прогнозирование необходимо и для любого вида целенаправленной речевой деятельности. Можно думать, что вероятностное прогнозирование в актах речевой деятельности базируется на использовании подсознательных сведений о вероятностной структуре языка и закономерностей речевой коммуникации. Удобной моделью для проверки этого предположения явились некоторые формы речевой патологии у больных с поражением мозга.

Было сделано предположение о том, что вероятностная структура словаря должна проявиться в компенсаторных функциональных перестройках целостной речевой системы ошибочным употреблением слов в актах собственной речи, чтения и письма (соответственно: вербальные, т. е. словесные, парафазии, паралексии, параграфии), когда больной пытается осуществить целевую задачу коммуникации, несмотря на имеющийся у него дефект.

Было проведено специальное исследование 15 больных—носителей русского языка, у которых были расстройства анализа фонологических противопоставлений и навыков артикуляторного праксиса [3]. Такие больные затрудняются в различении основных

---

[1] См., например: K. Z i p f, Human behavior and the principle of least effort, Cambridge (Mass.), 1949; F. A t t n e a v e, Psychological probability as a function of experienced frequency, «Journal of experimental psychology», 46, 2, 1953; е г о ж е, Applications of information theory to psychology, New York, 1959; C. C h e r r y, On human communication, London, 1961; О. С. А х м а н о в а, И. А. М е л ь ч у к, Е. В. П а д у ч е в а, Р. М. Ф р у м к и н а, О точных методах исследования языка, М., 1961; D. H o w e s, Application of the word-frequency concept to aphasia, Ciba foundation Symposium «Disorders of language», Churchill, 1964; Р. М. Ф р у м к и н а, Статистические методы изучения лексики, М., 1964; е е ж е, Объективные и субъективные оценки вероятностей слов, ВЯ, 1966, 2; Р. Г. П и о т р о в с к и й, Информационные измерения языка, Л., 1968.

[2] См., например: Л. Г. В о р о н и н, Е. Н. С о к о л о в, Корковые механизмы ориентировочного рефлекса и его отношение к условному рефлексу (Доклад на Международном симпозиуме по электроэнцефалографии в Москве, 1958); Д. Н. У з н а д з е, Экспериментальные основы психологии установки, Тбилиси, 1961; Н. А. Б е р н ш т е й н, Очередные проблемы физиологии активности, «Проблемы кибернетики», 6, М., 1961; е г о ж е, Очерки по физиологии движений и физиологии активности, М., 1966; П. К. А н о х и н, Теория функциональной системы как предпосылка к построению физиологической кибернетики, сб. «Биологические аспекты кибернетики», М., 1962; И. С. Б е р и т о в, Нервные механизмы поведения высших позвоночных животных М., 1961.

[3] Под артикуляторным праксисом понимают наиболее сложный уровень организации речевых движений, связанный с деятельностью коры мозга. Навыки артикуляторного праксиса формируются у человека в процессе индивидуального развития и только в речевой среде.

фонологических противопоставлений русского языка, и следовательно, не всегда понимают значения услышанных и прочитанных слов, а также не всегда правильно находят артикуляторную форму для тех или иных значений слов. Расстройства навыков артикуляторного праксиса обнаруживаются в смешениях близких артикуляционных движений и тем самым в искаженном произношении слов [4].

Естественно, что наибольшие трудности такого типа для больных возникают в заданиях с бессмысленными слогами (их повторение или записывание) [5], т. е. в заданиях с минимальной контекстной избыточностью. Несравненно чаще, чем здоровые, испытуемые в тех же условиях, больные воспроизводят бессмысленные слоги как полнозначные слова.

Записывание под диктовку: *шеть* / *шесть*; *чесь* / *честь*; *пась* / *пасть*; *ность* / *нос*; *гуть* / *гусь*; *длин* / *дни*; *жась* / *жесть*; *цой* / *соль*; *штай* / *стой*; *дес* / *десять* и пр. Повторение: *чтал* / *читал* или *сталь*; *хач* / *харч*; *здес* / *здесь*; *боть* / *боль*; *фсен* / *всем*; *ноть* / *ночь* и пр.

Это позволяет сделать вывод о том, что в условиях затрудненного фонологического анализа или распада артикуляторных навыков больные используют автоматизмы своего предшествующего речевого опыта. Другими словами, больные пытаются выполнить задание путем вероятностного прогнозирования требуемого эффекта по доступным им элементам артикуляторно-фонологического анализа. При этом очевидно, что основой семантизации бессмысленных слогов служит фонетико-фонологическое сходство предъявленных слогов с соответствующими значимыми словами.

В ряде случаев фонетико-фонологическое сходство предъявленных слогов и соответствующих слов становится весьма отдаленным. Однако учитывая исходную специфическую недостаточность больного, можно бывает понять произведенный им лексический выбор. Так, семантизация при записывании под диктовку слога *мифь* как *мышь*, очевидно, обусловливается недостаточной дифференцированностью фонологических противопоставлений *м'* — *м*; *и* — *ы*; *ф'* — *ш*; слога *нуц* как *нос* — противопоставлений *у* — *о*; *ц* — *с*; слога *здап* как *знак* — противопоставлений *д* — *н*; *п* — *к* и пр.

Из этих фактов следует, что больные используют свой предшествующий речевой опыт для вероятностного прогнозирования требуемого эффекта в зависимости от тех специфических изменений, которые произошли в их речи, в данном случае — в возможностях осуществления фонологического анализа.

Наконец, в наиболее тяжелых случаях расстройств фонологического анализа или навыков артикуляторного праксиса фонетико-фонологическое сходство предъявленных слогов и воспроизведенных слов почти или вовсе исчезает. Например:

вур / *тут*; *стар* / *так*; *жен, фсен, люпь, фиш* / *нет*; *рёть, торь, гуть, лёнь, тюль, чтуй* / *вот*.

В этих случаях речевые реакции больных ограничиваются пределами небольшого числа слов с наибольшей частотой употребления и с тем же ритмическим рисунком, что и исходные слоги. Частота встречаемости слов *тут*, *так*, *нет* и *вот* характеризуется цифрами 407, 1373, 763 и 1283 [6].

Таким образом, материал заданий с бессмысленными слогами, в наименьшей степени поддающийся вероятностному прогнозированию, а потому тем более доказательный, показывает, что у больных с частным речевым дефектом структура речевой деятельности перестраивается в процессе решения поставленной перед ними задачи (например, вместо фонологического анализа, необходимого для записывания бессмысленных слогов, больные пользуются в большей или меньшей степени автоматизмами своего речевого опыта).

Принципиально то же самое наблюдается в актах речевой коммуникации: понимании речи окружающих и собственной речи, чтении и письме. Больные «спотыкаются» на словах малознакомых и редко употребляемых, которые у них не вызывают каких-либо ассоциаций и, следовательно, не прогнозируются. Напротив, привычные, хорошо знакомые слова больными свободно понимаются и употребляются в собственной речи. Роль вероятностной догадки в такой, казалось бы, полноценной речевой деятельности обна-

---

[4] См.: Е. Н. Винарская. Нейролингвистический анализ звуковой системы речи, «Вопросы психологии», 1967, 1; ее же, Сопоставление ошибок при артикуляторной апраксии и распаде фонологической системы языка, «Доклады VI Всесоюзной акустической конференции», М., 1968.

[5] Для заданий с бессмысленными слогами были использованы слоговые таблицы, применяемые для оценки технических средств связи артикуляционным методом.

[6] Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

руживается в характерных ошибочных заменах слов (в вербальных парафазиях, паралексиях, параграфиях). Соответствующая проверка показывает, что вероятностные характеристики слов, выступающих в роли вербальных парафазий, оказываются, как правило, более высокими, чем у слов, ими замененных.

Приведем вероятностные оценки вербальных парафазий, встретившихся у обследованных больных в задании называния предметных картинок (см. табл. 1). Пары слов, относительно которых в словаре Э. А. Штейнфельдт не было данных, проверялись по устаревшему, но более полному словарю Г. Иоссельсона [7]. Эти пары слов отмечены звездочкой.

Табл. 1 показывает, что из 54 вербальных парафазий 33 являются словами с большей частотностью, чем у слов ожидаемых, и только 9 парафазий менее частотны (о 12 вербальных парафазиях подобные сведения в указанных словарях отсутствуют).

Таблица 1

Сравнительная частотность ожидаемых слов и слов, употребляемых больными в качестве вербальных парафазий

№№ п/п.	Вербальные парафазии более частотны, чем замещаемые ими слова	Вербальные парафазии менее частотны, чем замещаемые слова	Вербальные парафазии, о частоте встречаемости которых в сравнении с замещаемыми словами нет данных
1	*Клюв — рот*	*лампа — подсвечник*	*древко — дрель*
2	*древко — палка*	*трамвай—троллейбус*	*шарманка — шарнир*
3	*древко — палка*	*чернила — спирт*	*браслет—бриллиант*
4	*чернильница — чернила*	*яблоко — груша*	*штепсель — штемпель*
5	*спинка* (дивана) — *спина*	*бутылка — миска*	*клавиши — Клаусы*
6	*рояль — радио*	*чемодан — сундук*	*кузов — шайба*
7	*объектив — зритель*	*книга — букет*	*яхта — ялик*
8	*объектив — кадр*	*ведро — чайник* *	*ботинки — галоши*
9	*кузов* (грузовика) — *часть грузовика*	*змея — уж* *	*ботинки — штиблеты*
10	*яхта — лодка*		*ботинки — боты*
11	*стрелки — часы-показатели*		*жеребенок — телок*
12	*стрелки — секундо-показатели*		*обезьяна — попугай*
13	*стрелки — минуто-показатели*		
14	*клюв — губы*		
15	*ботинки — сапоги*		
16	*трамвай — автобус*		
17	*петух — собака*		
18	*очки — часы*		
19	*шуба — одёжа*		
20	*ножницы — ножка*		
21	*ведро — бутылка*		
22	*шкаф — диван*		
23	*шуба — шапка*		
24	*шуба — пальто*		
25	*велосипед — машина*		
26	*очки — часы*		
27	*бабочка — бабушка*		
28	*петух — курица* *		
29	*петух — курица* *		
30	*носки — чулки**		
31	*поросенок — свинья* *		
32	*ящерица — ява* *		
33	*чайник — чашка* *		

При этом можно видеть, что одни слова вербальных парафазий вероятностно прогнозируются на основе фонетико-фонологических факторов (*рояль — радио*; *очки — часы*; *бабочка — бабушка*), другие — семантических (*объектив — зритель*, *кадр*; *шуба — одёжа*; *велосипед — машина*; *клюв — губы*, *рот*; *древко — палка* и пр.). Некоторые из парафазий обращают на себя внимание своим характером: на основе семантически

[7] H. Josselson, The Russian word count, Detroit, 1953.

подходящих слов высокой частотности больной творчески старается сконструировать по известным ему грамматическим правилам необходимые словесные обозначения картинок (*кузов — часть грузовика; стрелки часов — часы-показатели, минуто-показатели, секундо-показатели*).

В характере набора вербальных парафазий у отдельных больных сказываются индивидуальные факторы — такие, например, как их диалектная или профессиональная принадлежность. Учитывая эти факторы, можно перенести в число парафазий первого столбца таблицы 1 еще 10 парафазий из второго и третьего столбцов.

Точно так же в наборе вербальных парафазий сказывается и имеющаяся у больных специфическая недостаточность речевой деятельности. Называние картинок, обозначаемых знакомыми словами с простым артикуляторно-фонологическим составом, избранную группу больных не затрудняет. Но трудности отчетливо возрастают, если артикуляторно-фонологический состав требуемого слова (также хорошо знакомого больному) сложен и предполагает тонкое артикуляторно-фонологическое дифференцирование. В этих случаях больной больше использует различные контекстные вероятностные факторы и, следовательно, вербальных парафазий становится больше.

При наиболее тяжелых формах распада фонологического анализа и навыков артикуляторного праксиса возможности речевого общения все больше сокращаются; в частности, все сильнее страдает возможность развертывания собственной мысли в акте внешней речи. Однако даже у самых тяжелых больных имеется некоторый запас привычных слов и устойчивых сочетаний слов, которыми они охотно и более или менее удачно пользуются в процессе общения с окружающими. К таким словам и выражениям можно от-

Таблица 2

Частота употребления автоматизированных слов

№№ п/п	Слова	Словарь Штейнфельдт		Список слов Маркова и Вишняковой
		частота встречаемости	кол-во текстов	показатель распространенности (% встречаемости в 100 источниках)
1	*взять*	311	161	53
2	*видеть*	457	200	66
3	*вот*	1283	около 350	99
4	*всё*	346	200	
5	*всё равно*			33
6	*господин (господи!)*	58	17	14
7	*да*	900	около 350	97
8	*девочка*	278	84	13
9	*здравствовать (здравствуйте)*	92	53	37
10	*знать*	926	266	95
11	*конечно*	261	138	79
12	*ладно*	66	51	50
13	*можно*	412	194	68
14	*мочь*	1076	279	90
15	*не*	6096	около 350	100
16	*нет*	763	около 350	94
17	*ну*	711	около 350	99
18	*ой*	42	22	31
19	*пока*	125	84	21
20	*пожалуйста*	97	64	49
21	*равно*	88	61	
22	*сказать*	1419	264	95
23	*спасибо*	76	48	35
24	*так*	1373	344	87
25	*ты*	2166	около 350	70
26	*хорошо*	413	189	80
27	*черт*	48	34	20
28	*что*	4799	около 350	91
29	*это*	86	43	100
30	*я*	5242	около 350	100

нести следующие: *да, нет, вот, это, конечно, ладно, хорошо, можно, спасибо, пока, здравствуйте, пожалуйста, так сказать, все равно, не знаю, я не знаю, не могу, я не могу, видишь?, господи!, ой!, что?, что ты?, ну, ну что ты?, ой, девочки!, черт возьми!*

Проверка этих слов как по частотному словарю современного русского языка Э. А. Штейнфельдт, так и по списку наиболее употребительных слов современной разговорной русской речи Ю. Маркова и Т. Вишняковой [8] (см. табл. 2), показывает, что все они входят в число 2500 (или соответственно 1200) наиболее часто употребляемых слов. Такая статистически высокая вероятность использования этих слов подкрепляется и тем, что большинство этих слов отражает эмоциональное поведение говорящего в определенной ситуации (встреча, расставание, выражение согласия, одобрения, надежды, досады и пр.).

Таким образом, наблюдения над актами речевой коммуникации больных приводят к тем же результатам, что и анализ выполнения ими заданий с бессмысленными слогами. До тех пор пока речевая деятельность больного имеет целенаправленный приспособительный характер, в ней постоянно происходят компенсаторные функциональные перестройки, позволяющие решать определенные смысловые задачи в условиях того или иного частного дефекта. В этих функциональных перестройках речевой деятельности прошлый вероятностно организованный речевой опыт больного имеет существенное значение, а в ряде случаев, по-видимому, даже исключительное. Тем самым анализ ряда проявлений речевой патологии (например, вербальных парафазий, паралексий, параграфий) может помочь изучению вероятностной структуры речевой деятельности.

Поскольку в случаях патологии речевая деятельность данного больного в функциональном отношении определенным образом перестраивается, то можно говорить о ее определенном патологическом развитии. Вряд ли возможны прямые аналогии между патологическим развитием речевой деятельности у больных, страдающих очаговыми поражениями мозга, и нормативным развитием языка; тем не менее, представляется, что изучение тех и других закономерностей не должно быть изолировано друг от друга. В конечном счете в обоих случаях развитие структуры языка и речевой деятельности определяется их социально-приспособительной значимостью для человека. Можно предположить поэтому, что изучение различных случаев патологического развития речевой деятельности будет способствовать пониманию потенциально возможных тенденций ее нормативного развития.

---

[8] Ю. Марков, Т. Вишнякова, Русская разговорная речь: 1200 наиболее употребительных слов, «Р. яз. в нац. шк.», 1965, 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

ЗАМЕЧАНИЯ О «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СПИСКЕ» И «СВОДНОМ КАТАЛОГЕ» СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ

В ближайшие годы Археографическая комиссия АН СССР должна приступить к составлению «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР» (до конца XIV, а может быть, и включая XV в.). По мысли М. Н. Тихомирова, это должен быть единый общегосударственный каталог рукописей, написанных на всех языках. Первым пробным трудом в этой серии явился «Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв., хранящихся в СССР» [1].

Такой каталог — дело огромного научного значения. Им будет пользоваться не одно поколение ученых. Каталог необходим представителям всех областей гуманитарных наук и прежде всего тех, которые свои материалы черпают в сокровищнице древней славянской письменности. Нужен он и представителям точных и естественных наук, которые используют памятники письменности для изучения истории своей науки. Следовательно, значение будущего «Сводного каталога» практически трудно переоценить.

Известно, что литературоведение и история имеют дело преимущественно с памятниками письменности, а лингвистика — с рукописями. Типологическое и текстологическое исследование сохранившихся древних рукописей одного и того же или близкого содержания позволяет установить, какие из них являются списками одного памятника, а какие относятся к разным памятникам. В большинстве случаев в филологической науке это было выявлено еще в XIX в., но есть и сложные и даже спорные вопросы (ср., например, представленные во многих десятках списков Сказание о Борисе и Глебе и так называемое Чтение о Борисе и Глебе). Таким образом, без изучения конкретных списков не может быть исторического и литературоведческого исследования древнерусских памятников. После выхода в свет «Текстологии» Д. С. Лихачева [2] это положение уже ни у кого не вызывает сомнения. Наоборот, в среде лингвистов еще нужно очень и очень много говорить о необходимости внимания не только к рукописи, но и к памятнику, представленному иногда многими десятками, а то и сотнями древних конкретно существующих и сохранившихся до нашего времени списков.

Для многих видов исследования нашей древней письменности и культуры вообще и для многих направлений литературоведения, лингвистики, собственно истории бывает необходимо привлечь в с е рукописные источники одного и того же содержания или близкие по содержанию, а для этого нужно знать о существовании всех рукописей этого содержания, об их местонахождении, объеме, а также располагать необходимыми, хотя бы самыми минимальными археографическими данными.

В «Предварительном списке» (далее — ПС) и содержатся такие сведения о всех существующих в наших книгохранилищах рукописях. ПС помогает выяснить самый объем литературы раннего средневековья. Здесь впервые в таком большом (почти всеохватывающем) объеме сведено хранящееся у нас славянское древнее рукописное наследие, что делает ПС выдающимся явлением в славяно-русской археографии. Уже сейчас он может быть использован в самых разных областях гуманитарного знания. Насчитывающий 1493 единицы хранения, ПС, несмотря на свои недостатки, естественные для первого издания такого рода, еще долгое время будет настольной книгой всех

[1] «Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв., хранящихся в СССР (для „Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до конца XIV в. включительно“)», в кн.: «Археографический ежегодник за 1965 год», М., изд-во «Наука», 1966, стр. 177—272.

[2] Д. С. Л и х а ч е в, Текстология на материале русской литературы X—XVII вв., М.— Л., 1962; е г о ж е, Текстология. Краткий очерк, М.— Л., 1964.

лиц, так или иначе интересующихся славянскими памятниками письменности в древнейших их списках.

ПС — коллективный труд. В нем участвовали работники 38 хранилищ [3]. Это труд не только ныне работающих хранителей. ПС содержит в себе обобщенный опыт и знания их предшественников, поскольку в подавляющем большинстве случаев основные данные почти о каждой рукописи уже имеются в карточных или печатных каталогах, в инвентарных книгах, которые в течение ста и более лет ведутся в хранилищах. Как всякий труд, создававшийся многими лицами разной квалификации, ПС не свободен от недостатков. В известной степени ПС представляет собой еще сырой материал, в котором подчас чувствуются разные редакции хранителей рукописных собраний.

Составитель ПС Н. Б. Шеламанова проделала огромную работу по сведению воедино присланных сведений об отдельных рукописях, но все же осталось немало расхождений в подаче однотипного материала. Можно думать, что она даже выборочно не просмотрела по-разному описанные рукописи хотя бы доступных московских собраний. При составлении будущего «Сводного каталога» необходимо избежать разнобоя, добиться максимальной точности определений и единства подачи однотипного материала. Ниже высказывается ряд соображений в этом направлении.

В ПС включены только литературные памятники, правда, в очень широком смысле слова: сюда включается и переводная, византийская по своему происхождению, литература, так или иначе обслуживавшая нужды древней и средневековой славянской церкви. Памятники деловой письменности — грамоты и разнообразный актовый материал — в ПС не включались. Не включались в ПС и берестяные грамоты, не зависимо от содержания последних. В него вошли лишь рукописные книги или их части, написанные на пергамене и бумаге (для немногих в качестве материала указана бомбицина). В ПС вошли только рукописи, написанные пером и чернилами. Разнообразные надписи на предметах материальной культуры (граффити, надписи на утвари и прочем), так же как и надписи на объектах естественного происхождения (как, например, надписи на Борисовых камнях), в ПС не включались.

В ПС указаны рукописи, начиная с древнейших и до конца XIV в. включительно, а также рукописи, не имеющие точной даты, но датируемые по палеографическим или историческим данным концом XIV — началом XV в. Всего в ПС включено от XI в. 33 единицы хранения, от рубежа XI—XII вв.—17, от XII в.—85, от рубежа XII—XIII вв.— 40, XIII в.— 215, рубежа XIII—XIV вв.— 85, от XIV в.— 817, рубежа XIV—XV вв.— 201 [4]. Таким образом, по векам (XI—XIV) древнейший рукописный материал наших книгохранилищ распределяется примерно так: не более 3%, 8%, 20% и около 70%.

Основная часть древнейших рукописей находится в пяти крупнейших книгохранилищах нашей страны: ГПБ — 424 рукописи, ГИМ — 306, ГБЛ — 262, ЦГАДА — 165, БАН — 152. В остальных 33 хранилищах находится всего 184 рукописи [5]. Из последних очень ценные и древние находятся в Одессе (например, Охридские листки, написанные глаголицей), Киеве (например, знаменитый глаголический Киевский миссал), а также во Львове, Вильнюсе и Ярославле.

Выявленные для ПС полторы тысячи рукописей более чем в два раза превышают количественные данные труда Н. В. Волкова «Предварительные сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков и их указатель», в котором сообщалось о 691 рукописи [6]. Это в полтора раза превосходит и ориентировочные данные Н. Н. Дурново, говорившего о существовании «не более тысячи рукописей» [7].

Единицами описания в ПС являются не только отдельные рукописи, но и их части, попавшие в разные собрания одного и того же хранилища или даже в разные книгохранилища. Число 1493 примерно соответствует действительности, так как, с одной стороны, какое-то количество пергаменных рукописей еще до сих пор находится в частных руках. Примером этому может служить пергаменное евангелие XIV в., на 148 лл., прекрасной сохранности, приобретенное ИРЛИ (Пушкинским домом) незадолго до выхода в свет ПС и потому не включенное в число 1493 [8]. Но, с другой стороны, в числе 1493 единиц хранения есть немало таких случаев, когда части одной и той же рукописи, находящиеся в одном или разных книгохранилищах, имеют в ПС свой

[3] Вызывает сожаление, что в ПС не названы лица, приславшие сведения о рукописях. Указание 38 фамилий не намного увеличило бы объем ПС, но читатель знал бы, кем проведен последний просмотр de visu самих рукописей, что повысило бы ответственность этих лиц.

[4] См.: «Археографический ежегодник за 1965 год», стр. 182.

[5] Там же, стр. 181.

[6] «Памятники древней письменности», № 123, изд. ОЛДП, СПб., 1897, стр. 40.

[7] Н. Н. Дурново, Введение в историю русского языка, Brno, 1927, стр. 25.

[8] См.: Л. П. Жуковская, Пергаменная рукопись XIV в. из собрания Пушкинского дома, «Литературные связи древних славян» (ТОДРЛ, XXIII), Л., 1968.

порядковый номер. Например, под №№ 74, 75, 76 и 77 указаны части Слепченского апостола, находящиеся в ГПБ, ГБЛ, БАН и ЦБАН УССР. Под разными номерами в большинстве случаев указываются и части одной и той же рукописи, находящиеся в одном и том же книгохранилище. Здесь, наоборот, как исключение можно отметить № 666 — рукописи ГПБ, QnI 36 и QnI 59, а также № 261 — две части одной рукописи в ГИМ: 139 лл. из Музейского собрания № 3178 и 16 лл. из собрания Уварова № 289 (правда, последние уже давно хранятся в одном месте и, вероятно, поэтому под одним номером вошли в ПС). Во многих других случаях установленная принадлежность разных единиц хранения к одной и той же древней книге (особая заслуга в этом принадлежит главному библиотекарю Отдела рукописей ГБЛ Н. Б. Тихомирову, проведшему новый пересмотр древнейших рукописей ГБЛ и отчасти ГИМ и ГПБ в ходе подготовки материалов для включения их в ПС) в ПС не отражена или отражена лишь в форме отсылки к соответствующему порядковому номеру в нем самом. Например, два фрагмента одной рукописи в ГБЛ — ф. 29, собр. Беляева № 62 и ф. 310, собр. Ундольского № 1275 — вошли под №№ 1303 и 1311; таковы же №№ 1308 и 1310 — Клементьевское евангелие и из ГБЛ же из собр. Ундольского № 1045. Более закономерно это в случаях, когда части одной и той же по происхождению рукописи находятся в разных книгохранилищах. Например, таковы №№ 395, 396 и 216 (ГБЛ, ф. 87, собр. Григоровича № 10; ГБЛ, ф. 310, собр. Ундольского № 965 и ГПБ, собр. ОЛДП, О. 75); №№ 970 и 235 (ГБЛ, ф. 87, собр. Григоровича № 11 I и ГПБ, собр. Гильфердинга № 61); №№ 689 и 788 (по определению Н. Б. Тихомирова; это рукописи ГБЛ, ф. 178, собр. Музейное № 1417 и рукопись ГИМ, собр. Барсова № 46); №№ 533, 790 и 934 (по определению Н. Б. Тихомирова; это рукопись ГБЛ, ф. 178, собр. Музейное № 11030, и две рукописи ГИМ, собр. Музейское № 44 и собр. Соколова № 147) и некот. др.

В ПС иногда не указывается принадлежность разных номеров его в прошлом к одной и той же рукописной книге и в случаях, когда об этом указано читателями на листах использования рукописей. Например, устно и на листах использования в ГПБ и БАН мною уже лет десять назад было сообщено о принадлежности к одной рукописной книге 20—113 лл. рукописи ГПБ, QnI 1 и рукописи БАН, собр. Археографической комиссии № 159 (листы 3 и 4 рукописи БАН изъяты между 36 и 37 лл. рукописи ГПБ, а лл. 1 и 2 между 105 и 106). Однако ни при № 263, ни при № 255 нет этого указания.

Все это свидетельствует о том, что в наших книгохранилищах имеется не так уж мало единиц хранения, восходящих к одной и той же по происхождению рукописи. Далеко не все они учтены в ПС.

Вместе с тем некоторые рукописные книги, считающиеся одной единицей хранения, являются разновременными по происхождению и могут быть признаны разными рукописями. Это было бы правильнее и во всяком случае удобнее для исследователей, интересующихся сравнительно небольшими хронологическими периодами, особенно поздними, так как подобные рукописи в ПС указаны только под ранней датой. Показательным примером может явиться Саввина книга (ПС № 2), в которой соединены: собственно Саввина книга — лл. 25—151, 164 (рукопись XI, а по мнению В. А. Погорелова, В. Ивановой-Мавродиновой и некоторых других — даже X в.) и два поздних дополнения ее — XII и XIV вв. Интересна и упоминавшаяся рукопись ГПБ QnI 1. Листы 20—113 ее датируются XII—XIII вв. (к ним относится и рукопись БАН, собр. Археографической комиссии № 159), но лл. 114—226 написаны примерно веком позже, а лл. 1—19 — не ранее XV в. Эти разновременные части вполне могли бы, с палеографической точки зрения, именоваться отдельными рукописями и иметь в «Сводном каталоге» хотя бы буквенное обозначение в рамках общего номера.

По языку последнего переписчика (или нескольких последних) $^2/_3$ рукописей из числа 1493 являются древнерусскими (это определение предпочтительнее, чем данное в ПС «русские», см. табл. на стр. 182, так как они в то же время в равной степени являются и древнеукраинскими и древнебелорусскими), $^2/_{15}$ рукописей — болгарскими (также имеется в виду общий предок болгарского и македонского), $^1/_5$ — сербскими; одна рукопись — молдавская, 13 — старославянские. Это меньше процента в общем количестве, но больше половины всего их числа (остальные старославянские единицами разбросаны в книгохранилищах разных стран). Впрочем данные о языке, может быть, не совсем точны, так как имеются случаи, когда язык указан неверно (см. ниже).

Большинство рукописей пергаменные. Бумажных все же немало — 12% от общего числа (точнее — 178). Из них русских — 52, что составляет 8% от общего числа русских рукописей XIV в., а южнославянских 126, что составляет 37% от общего числа болгарских и сербских рукописей XIV в. Эта разница — 12 и 37 процентов — объясняется, видимо, более тесными на Балканах торговыми связями с европейскими и ближневосточными центрами бумажного производства, чем в разгромленной монголо-татарским нашествием Руси XIV в.

В ПС рукописи указаны с такими данными: порядковый № по ПС (это важно

для ссылок); время написания данной рукописи или отдельных ее частей; раскрывающее содержание памятника название рукописи; в скобках — место хранения и шифр; особенности языка и орфографии, в совокупности называемые словом «извод»; формат; количество листов в рукописи; материал (пергамен, реже — бумага); в конце указана литература. Остановимся на составных частях описания именно в этом порядке, выделив ниже в качестве наиболее важного для кодикологии вопрос о родовых названиях памятников письменности.

Как во всяком труде, создававшемся многими участниками и в разное время, хронологические данные в ПС представлены очень разнотипно; даже рукописи с косвенно установленной датой написания приведены неодинаково. О таких случаях, как необходимость передатировки отдельных рукописей, как ошибки (может быть, опечатки — ?) в определении даты говорить не приходится — они на совести работников местных, иногда крупных и имеющих государственное значение, книгохранилищ.

Весь материал в ПС дан по хронологическому принципу, хотя некоторые отклонения все же есть. Внутри определенных хронологических периодов рукописи приведены по алфавитному порядку названия памятников. Низшим элементом систематизации рукописных материалов внутри каждого периода является принятая в ПС последовательность названий современных книгохранилищ: сначала указываются рукописи крупнейших — БАН, ГБЛ, ГИМ, ГПБ и ЦГАДА, затем следуют также в алфавитном порядке мелкие книгохранилища.

Каждый век разбит на многочисленные рубрики, что сильно затрудняет отыскание необходимого памятника. Например, рукописи XIV в. могут оказаться в рубриках: XIII—XIV в. (стр. 210—215), XIV в. (стр. 215—258), XIV—XV в. (стр. 258—271) и в не имеющих заголовка рубрикациях, никак не выделенных типографскими средствами: рукописи с точной датой (стр. 215—221), начало XIV в. (стр. 221—222), первая четверть XIV в. (стр. 222), первая половина XIV в. (стр. 222—224), середина XIV в. (стр. 224—226), третья четверть XIV в. (стр. 226), вторая половина XIV в. (стр. 227—232), последняя треть XIV в. (стр. 232), последняя четверть XIV в. (стр. 232), конец XIV в. (стр. 232—238), XIV в. вообще (стр. 238—258), т. е. всего в 13 рубриках (из них 11 без обозначения заголовками). Заметить интересующий исследователя памятник в общем алфавитном порядке в каждой из рубрик довольно трудно, так как ПС напечатан без шрифтового выделения названия памятника (разрядкой выделены фамилии в библиографии, что еще более затрудняет нахождение наименования необходимого памятника), и читателю каждый раз приходится бегло прочитывать весь ПС.

Возникает и принципиальный вопрос: можно ли вообще с такой степенью точности устанавливать даты пергаменных рукописей? Сомнительно, что для пергаменных рукописей, датируемых только на основании палеографических примет письма и орнамента, возможна такая точность. Об этом свидетельствует и сама несогласованная датировка рукописей, части которых находятся в разных собраниях (на что имеются взаимные отсылки). См., например, описание № 970, где основная часть рукописи ГПБ датирована XIV в., а листы из ГБЛ (№ 235) датированы концом XIII в.; к тому же и по содержанию рукопись ГПБ определена как евангелие апракос, а рукопись ГБЛ как тетр.

В датировке много разнотипного, случайного, идущего от разной степени палеографических знаний отдельных хранителей, но также от смелости их и даже от разницы данных установок. Например, рукопись № 184 — Галицкое евангелие 1266—1301 гг. (ГПБ) правильно приведено на стр. 199 под своей первой датой в порядке следования датированных рукописей XIII в. (даже если правильнее дата вторая — указывать рукопись удобнее по первой дате). Но при этом Мстиславово евангелие 1115—1117 гг. (№ 55) и Юрьевское евангелие 1118—1126 гг. (№ 56; оба из ГИМ), имеющие более узкую дату, приведены на стр. 191 под общим указанием «нач. XII в.», расположены после всех датированных рукописей XII в. и даже после Мирославова евангелия (в ГПБ хранится один лист этой сербской рукописи), которое приведено с датой «ок. 1180 г.» и к тому же с устаревшими сведениями о местонахождении рукописи на Афоне, тогда как она давно уже в Югославии. Вследствие такого непонятного подхода к датировке ценнейшие русские рукописи не занимают надлежащего места в хронологическом ряду.

В дальнейшем, конечно, будут отдельные случаи передатирования [9], когда та или иная рукопись будет изучаться монографически, и не о них мы здесь говорим. Речь идет лишь об унификации подхода к хронологии, которая не была проведена составителем ПС по ряду направлений.

Датировка более крупными отрезками времени также дана очень разнообразно. Во многих случаях дата указана только веком. В других — полувеком (например, № 678 и далее), началом, концом или даже четвертью века (например, №№ 665—

[9] В качестве примера укажем рукопись № 569 (ЦГАДА, фонд Библиотеки Синодальной типографии, № 15), на которой дата написана поздним почерком, а сама рукопись, несомненно, старше, и датировать ее надо не 1399 г., а скорее рубежом XIII—XIV в.

677). При сопоставлении этих данных по хранилищам обнаруживается, что датировка со значительным уточнением, как правило, представлена для рукописей ГБЛ, а с наименьшим уточнением — для рукописей ГПБ. Из этого следует, что ПС не представляет единообразия и косвенно отражает современное состояние археографической работы в наших книгохранилищах. Учитывая эти обстоятельства, приходится особенно возражать лишь против такой стороны хронологической подачи материала, которая зависела только от составителя ПС. Так, вызывает возражение, что рукописи, датированные концом одного века и началом другого, помещены под первой датой, т. е. раньше, чем рукописи, датированные бо́льшим отрезком — целым веком. Это особенно плохо для рукописей XIV в., среди которых даже малоопытный палеограф может легко различить рукописи собственно XIV в. и рукописи конца XIV — начала XV в., когда уже сказывается так называемое второе южнославянское влияние. В связи с этим определенно можно сказать, что в ПС рукописи с № 767 (во всяком случае, с 776) по 890 должны следовать после № 1292.

Неодинаково дана датировка разновременно написанных составных частей одной и той же рукописи (например, Саввиной книги, см. № 2) или конволюта (см., например, №№ 475, 1474). В одних случаях даты разновременно написанных частей приведены через запятые и союз *и*, что представляется вполне правильным, в других *почему-то* через тире (см. № 475), как обычно указаны даты рукописей, написанных на рубеже двух веков.

В «Сводном каталоге» необходимо все это уточнить и упорядочить, а также желательно указать в специальном приложении рукописи, имеющие точную дату (хотя, *как мы видели*, указанная в литературе «точная» дата не всегда точна). Это будет иметь важное значение для палеографии.

Особое сожаление вызывает, что при составлении ПС не проведена работа по упорядочению и приведению к необходимому единообразию р о д о в ы х н а з в а н и й п а м я т н и к о в, рукописные списки которых названы в нем. Вследствие этого в целом ряде случаев может сложиться впечатление, будто бы перед нами несколько произведений, тогда как в действительности речь идет об одном и том же, названном по-разному в разных хранилищах. Приведем примеры. У №№ 841 и 1365 читаем: «Повесть о Варлааме и Иоасафе», к № 1030 — «Житие Варлаама и Иоасафа», к № 1420 всего лишь «Варлаам и Иоасаф». Легко подумать, что «Летовник Георгия инока» (№ 827) и «Хроника Георгия Амартола» (№№ 411 и 547) — это разные произведения. В действительности же речь идет об одном и том же памятнике письменности — Хронике Георгия Аматола, которую после трехтомного исследования В. М. Истрина называть как-то иначе уже представляется непростительным анахронизмом. При № 193 читаем «Поучения на воскресные дни Константина, пресвитера болгарского», но при № 59 то же произведение названо «Евангелие учительное Константина Болгарского». Узнать об этом можно лишь при обращении к описанию Е. Э. Грантрем (стр. 98), сведения же, указанные в ПС, только дезориентируют читателя. Для Ефрема Сирина отмечены «Паренесис» — №№ 839, 1361 (название правильное, ср. греч. παραίνεσις «совет, увещевание»), «Перенесис» — № 535; под № 652 находим «Паренесис» как синоним к названию «Поучения», но только «Поучения» при №№ 27, 616, 1129, 1367. У того же Ефрема Сирина встречаем «Слова» (№№ 464, 506, 1211; № 864 — «Слово») и «Слова поучительные» (№ 1223). Относятся ли последние к «Словам» или указанным выше «Поучениям»? «Главы о любви» Максима Исповедника (кстати, отметим, что имя его в одном случае написано с большой буквы, как имя собственное или прозвище, в другом — с маленькой, т. е., видимо, рассматривается, как нарицательное) названы при № 685 «„Главизны“ Максима Исповедника к Елидию попу о любви», а при № 253 — «Главы подвижнические». Возможно, об одном и том же идет речь в сведениях к № 730 «Правила, собранные Матвеем Властырем» (надо бы — Матфеем Властарем) и № 1216 «Синтагма Матфея Властаря». В разной редакции представлены названия слов Василия Великого: «Слова постнические» (№№ 556, 1217), «Слова... о постничестве» (№ 861) и просто «О постничестве Василия Великого» (!!) (№ 551). С разными названиями представлен и труд Феофилакта Болгарского: № 503 — «Евангелие толковое Феофилакта Болгарского», № 1246 — «Толкования Феофилакта, епископа болгарского, на евангелие от Луки», № 1320 — «Евангелие от Луки с толкованием Феофилакта Болгарского»; при № 282 Феофилакт Болгарский вообще не упомянут: «Евангелие от Матфея с толкованием». Толковый апостол при №№ 181 и 784 назван «Апостол толковый», а при № 1401 — «Толкования на апостол». Толковая псалтырь так названа при №№ 29, 30, 44, 118, 344, 1172, 1177, но при № 1402 читаем «Толкование на псалтырь»; при № 653 даны две формулировки: «Псалтырь толковая (или толкование на псалмы), составленная Никитой Ираклийским»; при № 31 формулировка: «Псалтырь с толкованием Феодорита Киррского». Псалтырь следованная так названа при № 850 и 1460, а при № 771 стоит «Псалтырь с воследованием». Патерик в одном случае назван с определением «Азбучный» (№ 649), в другом описательно: «Патерик

по алфавиту» (№ 727). Пролог 84 раза (начиная с № 158 и по 1459 в разных местах ПС) назван с указанием месяца (причем само название пропущено у № 1456), но при № 1130 дается уточнение «годовой», а при № 335 — «годовой краткий», причем начальный и конечный месяцы в обоих случаях не названы. Кроме того, здесь же указаны другие произведения: «Пролог Иоанна Экзарха» (№ 43) и «Пролог стишной» (№№ 847). Есть неточности и неясности и в определении уставов. Так, название «Устав церковный» находим при №№ 382, 383, 622, 765, 886, 1270, 1271, 1272, но при № 532 и 1269 дано уточнение: «Устав церковный (иерусалимский)», а при № 887 даже и без скобок: «Устав церковный иерусалимский». Рукописи №№ 71 и 568 представляют собой «Устав студийский», первый — церковный и монастырский, второй — только церковный, но эти определения в названии отсутствуют. Непонятно определение при № 134 «Устав монастырский церковного служения», по всей вероятности, он студийский, так как датирован XII в., но в названии, приведенном в ПС, это определение отсутствует.

Из ПС читатель может получить ошибочные сведения о существовании таких «разных» богослужебных книг, которые в действительности являются одной. Так, при №№ 182, 756, 878, 879 находим название «Трефологий», а при №№ 99, 100, 223, 304, 305, 434, 641, 828, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1437, 1438, 1439— «Минея праздничная», но оба эти названия для древних славянских рукописей синонимичны, о чем читатель может узнать даже в самом ПС, где при №№ 1336 и 222 стоит: «Минея праздничная (Трефологий)». Однако Минея служебная — богослужебный памятник, и Минея четья — собрание литературных памятников, являвшихся в славянских странах средневековья своеобразной беллетристикой для разных кругов общества — памятники совершенно разной степени значимости — не различены в ПС до конца, так как при №№ 319, 320, 321, 437, 1085 и 1444 указано только: «Минея». Служебная минея названа так сто раз в разных местах ПС, начиная с № 7 и кончая № 1442. Но все же употребляется и название «Минея месячная» (№№ 1082, 1340, 1443), которого было бы лучше избежать, так как минея месячная может быть и служебной и четьей. При №№ 107, 109, 307, 317, 319, 320, 321, 437, 521, 524, 612, 640, 718, 832, 1058, 1064, 1072, 1076, 1078, 1081, 1085, 1444 стоит только название «Минея» и в большинстве случаев указан месяц, но определение «служебная», «четья» или «праздничная» не дано, и лишь в двух случаях находим название «Минея четья» (№ 26 и № 141 — знаменитый «Успенский сборник»). Общую минею находим в № 1343 в составе книги «Обиход церковный». Не различены в ПС Шестоднев — богослужебная книга и Шестоднев — сочинение о шести днях творения, с богатейшей лексикой, не дошедшей в других памятниках письменности (названия и детальные описания космических явлений, неорганической природы, флоры и фауны, явлений общественной и семейной жизни человека и т. п.). Так без необходимого различения и подчас под одним и тем же названием даются в ПС некоторые памятники, имеющие разное значение для истории языка и литературы.

Особое возражение вызывает то обстоятельство, что для рукописей, относящихся к одному памятнику письменности или отдельным его разновидностям, которые в древности составляли разные типы книг, в ПС дается неодинаковый объем сведений, разная степень уточнения содержания памятника; тем самым в ряде случаев представляются недостаточные данные. Так, характеризуя рукописи евангелия (их 375), ПС дает противопоставления: «тетр» (их указано 90), «апракос», но для последнего лишь в отдельных случаях имеются необходимые уточнения: «краткий апракос» (их указано 10) или «полный апракос» (их указано 29), при наличии которых определение только словом «апракос» (их 196) является уже недостаточным. Но наряду с ними в ПС употребляется еще более неудовлетворительное определение «евангелие», которое практически может быть отнесено к любому из трех достаточных: тетру, полному апракосу, краткому апракосу и даже к отдельным вкраплениям евангельских чтений в разнообразные церковные книги (см. например, № 1474). В ПС лишь при рукописях евангелия и апостола апракосов, принадлежащих ГБЛ и иногда ГПБ, в скобках находим уточнение «краткий» или «полный», для других собраний такие уточнения не даны. Например, при № 185 — Симоновское евангелие 1270 г. — читаем: «евангелие апракос (полный)» (рукопись хранится в ГБЛ), а при рядом стоящей рукописи № 184 — Галицкое евангелие 1266—1301 гг. (рукопись принадлежит ГПБ) — такого указания нет, хотя обе рукописи одинаково являются полными апракосами. Можно было бы думать, что ГПБ вообще не дает уточнений такого рода, но на стр. 191 при № 54 для рукописи всего лишь объемом в 1 л. указано, что это полный апракос (рукопись, действительно, полный апракос, но это можно установить лишь по данным содержания основной части рукописи, находящейся в Югославии, хотя и изданной). В определении евангелий есть и прямые ошибки. Ирмолгий при №№ 296, 499, 817, 818, 1034, 1035, 1037 и 1328 так и назван, но при № 218 читаем: «Ирмосы рождеству Христову и др.».

Особенно разнотипно определены древние нотные (крюковые) рукописи. Так, для Ирмология даны определения «на крюках» (№ 52, 1036), «на крюковых но-

тах «(№№ 63, 97, 199); для Стихираря — «на крюковых нотах» (№№ 60, 68, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 205, 365, 754, 872, 873), «на крюках» (№ 367), «крюковой» (№ 47); для Кондакаря имеются указания: «на крюковых нотах» (№ 36, 178) и «на безлинейных кондакарных нотах» (№ 140); при № 431 читаем: «Каноны рождеству Христову и богородице, с надстрочными нотными знаками».

Нет уверенности, что наличие нотации отмечено в ПС последовательно, а это не позволяет выделить рукописи с нотами в отдельный тип определенного памятника. Например, отмечены только две триоди на крюковых нотах (№ 69 и 133), слишком мало помет о наличии нотации на рукописях ЦГАДА.

В ПС есть и другие случаи употребления одного наименования для по существу разных типов памятников. Так, вероятно, надо было бы различать Златоуст четий и Златоуст апракос, составленный с разделением и в последовательности церковных служб. Думаем, что в дальнейшем составителям «Сводного каталога» придется вообще упорядочить и провести последовательнее отделение богослужебных вариантов памятников от четьих.

В ряде названий памятников представлены словообразовательные варианты. Например, при №№ 497, 522, 546 стоит «Параклитик», при № 1112 — «Параклит», при №№ 356, 1215 — «Синаксарник», а при № 748 «Синоксарь» (отметим попутно здесь и немотивированное написание буквы *о*). При №№ 819, 820, 1040, 1041, 1042, 1429, 1430, 1431 читаем: «Канонник», но при этом рукописи №№ 151, 298, 1043, 1432 названы только словом «Каноны», а рукописи №№ 297, 431, 611, 636, 1038, 1039, 1329, 1330, так же как и №№ 709 и 1428, названы словом «Канон» или «Каноны» с уточняющими словами. Рукопись № 462 названа «Сборник богослужебный (Каноны из октоиха)» и потому в алфавитном порядке расположена среди рукописей, название которых начинается на С. Кондакари №№ 36, 64, 98, 140, 178, 299, 383 называются кондакарями, но при рукописи № 885 читаем: «Тропари и кондаки...». В связи с таким разнобоем в названиях возникает также вопрос, правильно ли названы словами «Молитвы», «Молитва» рукописи №№ 322, 323, 324, 1089, 1090, поскольку употреблено и название «Молитвенник» (№№ 236, 1086, 1087, 1088).

Встречаются несоотносимые данные другого типа. Например, об одних рукописях, составляющих списки одного и того же памятника, говорится с точки зрения наличия или отсутствия в них музыкальных знаков, о других с точки зрения их назначения (использования в ту, а не иную часть года), о третьих — с точки зрения состава текстов и т. п.

Степень точности определений при одних и тех же памятниках различна. Например, при № 1355 дается указание на редакцию толковой Палеи, а при остальных этих указаний нет: № 835 — просто Толковая Палея, № 1110 — просто Палея.

Приходится учитывать и то, что в ПС сосуществуют общие и частные определения содержания одних и тех же памятников. Так, для одних рукописей читаем: «Апокрифы», и конкретное содержание их не раскрывается (№№ 403, 892, 1385); для других— не указывается апокрифический характер памятника, но даются частные определения (например, Сказание Афродитиана — № 352, Откровение Авраама — № 1209, Поучение Моисея о пьянстве— № 1201); для третьих — называется и то и другое (например, таковы Хождение богородицы по мукам — № 143, Апокрифическое первоевангелие апостола Иакова — № 1226). При № 1327 определение «апокрифы» употреблено для раскрытия содержания Златой цепи. Аналогично обстоит дело и со «словами» «сборниками», «поучениями» и т. п.

Некоторые неясности такого рода объясняются фрагментарностью сохранившихся частей какой-то рукописи. В самом деле, о чем можно говорить, если при № 135 читаем: «текст настолько поврежден, что едва поддается прочтению...»? Но это лишь в редких случаях.

По-разному раскрывается и содержание сборников. Известно, что многие памятники письменности не представлены как отдельные книги, но вошли в состав разного рода сборников. И все же в ПС они упоминаются только в отдельных редких случаях. Например, ценнейший памятник древнерусской литературы — Сказание о Борисе и Глебе — указан по Сильвестровскому сборнику (№ 1209), но не указан как часть Успенского сборника (№ 141), хотя последний на два века старше. Никакой информации читатель не получит из определения при № 505: «сборник смешанного содержания». Сборники, насчитывающие по несколько десятков и даже сотен листов (№ 1204, 1205, 1206, 1208), определены весьма общо как богословские, и содержание их не раскрыто. Еще более неправомерно понятие «сборник религиозного содержания» (№ 161), когда, видимо, речь идет о богослужебной или богословской книге.

Не различаются в ПС сборники и конволюты, представляющие собой сшитые в одной книге разновременно написанные и не связанные единством содержания произведения (см., например, № 1474).

Раскрытие содержания сборников в максимально возможной степени должно быть проведено в будущем «Сводном каталоге», так как многие произведения древнерусской литературы представлены только или преимущественно в сборниках.

Без необходимой для такого рода труда

систематичности употребляются в ПС названия-определения: Сочинения, Поучения, Слова, Творения и т. п. Иногда без достаточных оснований употребляется слово «отрывок». Так, оно употреблено для евангелия, содержащего 23 л. (№ 930), и даже для большой пергаменной книги, написанной глаголицей, гордости наших собраний — Зографского евангелия, содержащего 304 л. (№ 21).

Все это свидетельствует о том, что одной из главных задач будущих составителей «Сводного каталога» будет выработка четких, единообразных определений для каждого памятника письменности, для каждого типа рукописи.

Имеются в ПС и случаи ошибок, разнобоя и неясности в указании авторской принадлежности того или иного памятника, а также в определении тех или иных упоминаемых в ПС лиц по их месту в земной и небесной церковной иерархии. Например, при Толковании на апокалипсис (№ 755) ошибочно читаем имя Аггей, но речь должна идти об Андрее Кесарийском, архиепископе, как при остальных апокалипсисах. При № 250 папа римский Григорий Двоеслов ошибочно назван Григорием Богословом; при № 918 указано: «папы римского Григория», но, видимо, речь должна идти именно о Григории Двоеслове. Геннадий Константинопольский, автор Стослова, в одних случаях назван архиепископом, в других — патриархом. Филипп Пустынник так назван при № 772, но при №№ 549 и 921 назван «инок», а при № 920 его Диоптра вообще указана без автора. Иоанн Лествичник при №№ 585 и 1044 назван Иоанном Синайским, при № 1434 указан с двумя наименованиями: и Лествичник, и Синайский; при № 432 Лествица указана без имени автора. Ипполит, архиепископ римский, среди пап не числится, но при № 66 назван как «папа римский». Ефрем Сирин при № 749 назван с другим словообразовательным вариантом: Ефрем Сиринянин. Никон Черногорец, автор Тактикона и Пандектов, при № 566 назван Черноризец. Не по аналогии ли с Антиохом? При № 1126 узнаем о Песни песней с толкованиями Филона Карпафийского, Ипполита и Григория [Нисского], но при № 220 Ипполит и Григорий Нисский не названы. Василий Великий в большинстве случаев так и назван, но при № 1221 он уже Василий Кесарийский. Исидор Пелусиот встретился один раз (№ 500), но как Пелусиотский; первое наименование было бы желательнее. Нагромождение родительных падежей, вызывающих двусмыслицу, находим при № 1400: «Творения Дионисия Ареопагита митрополита Киприяна». Кстати сказать, и Дионисия, видимо, было бы лучше назвать Псевдо-Дионисем Ареопагитом.

Нет сомнения, что специалисты-византологи найдут и другие неясности и неточности. Пока же отметим, что их не так уж мало [10].

Имена собственные некоторых рукописей, уже закрепившиеся в литературе, в ПС даны в кавычках и без выделения шрифтовкой, но это окупается наличием специального указателя в конце его: «Рукописи, имеющие специальные названия». Приложение это очень нужное, поскольку многие рукописи уже давно известны науке под своими собственными именами, отыскание же их в ПС довольно затруднительно, поскольку ни собственное «имя» рукописи, ни название ее по содержанию не выделены шрифтом и теряются в середине строки между порядковым номером, датой и сведениями о местонахождении (как недостаток издания отметим еще, что и номер от номера не отбиты интервалом, что также значительно затрудняет отыскание нужной рукописи). В приложении, как и в самом ПС, не соблюдено единство подачи материала. Рукописи, имеющие одинаковое название, в одних случаях приведены под этим общим названием, в других — раздельно. Например, на стр. 272 раздельно (и это правильно) указаны № 486 «Пантелеймоново евангелие» 1317 г. и № 147 «Пантелеймоново евангелие» XII—XIII вв. (первое — рукопись БАН, второе — ГПБ). Наоборот, вместе и к одному названию на стр. 271 указаны «Галицкое евангелие» тетр 1143 г. (№ 51), «Галицкое евангелие» апракос 1266—1301 г. (№ 184), написанные в Галицко-Волынской земле, и «Галичское евангелиё» 1357 г. (№ 512), написанное на севере, в Галиче Костромском. Рядом же находим под названием «Галицко-Волынское евангелие» (№ 581) очень важную в лингвистическом отношении рукопись, описанную А. И. Соболевским под названием «Типографское евангелие № 6» [11].

---

[10] На основании материалов ПС мною составлен «Указатель памятников древней славяно-русской письменности по нарицательным названиям и по именам их авторов (или по другим именам собственным)» (см.: «Советское славяноведение», 1969, 1, стр. 57—71). Он дает в руки возможного исследователя список древнерусских и славянских рукописей, упомянутых в ПС, в их принадлежности к определенным памятникам письменности.

[11] А. И. Соболевский, Очерки из истории русского языка, Киев, 1884, стр. 11—16. Рукописи этой очень не повезло. Уже после того как она была описана А. И. Соболевским, она получила новый номер и как «Типографское евангелие № 5» была в 1916 г. описана А. А. Покровским («Древнее псковско-новгородское письменное наследие. Обозрение пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей библиотек в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ», в кн. «Труды пят-

При составлении «Сводного каталога», вероятно, нужно будет отказаться от некоторых синонимичных названий. Таково, например, названное выше «Пантелеймоново евангелие» и «Евангелие Никона Радонежского» — см. две разные рукописи с этим собственным именем при №№ 806 и 1315.

По хранилищам неодинаково указана принадлежность рукописей их фондам. Например, для рукописей ГБЛ и ЦГАДА не даны номера фондов, но только их словесные наименования; для рукописи № 683 не сообщено о принадлежности ее к фонду И. М. Пухальского, тогда как для других рукописей ИРЛИ это сделано. Встречаются здесь и крайне нежелательные в таком деле опечатки. Так, при № 1163 читаем загадочное «Зак.», но это — фонд В. Г. Зыкина; как Баср. сокращена фамилия фондообразователя Е. В. Барсова (№ 788).

В указаниях на изводы ПС также встречаются ошибки. Например, для рукописи № 424 указано, что она сербская, но в ней наблюдается «мена юсов», что свидетельствует о ее болгарском происхождении; рукопись № 955 указана как русская, но она имеет в письме сербские особенности.

Указания на формат даны такие: 1° (т. е. лист), м. 1° (малый лист), 4° (четвертка), 8° (восьмушка листа), что для листов пергамена весьма неточно и в чем неизбежно сказывается индивидуальная точка зрения. Правильнее были бы указания в сантиметрах.

Есть ошибки и в определении материала; например, рукопись № 679 определена как пергаменная, но она написана на бумаге. Для немногих вошедших в ПС написанных на бумаге рукописей было бы желательно указывать водяной знак (при наличии), отсылая к известным альбомам филиграней.

Представляется целесообразным включить в «Сводный каталог» все рукописи, написанные на пергамене (в том числе и актовый материал). Среди них лишь единицы датируются XVI или XVII вв. Как правило, они кончаются в первой половине XV в.

Отбор литературы о рукописях подчас случаен. В ПС указываются краткие и часто не совсем точные описания, но не указываются фундаментальные монографические исследования и издания рукописи. В своем предисловии Н. Б. Шеламанова пишет: «Печатные описания рукописей указываются не все. В случае, если имеются описания советского времени, ссылки на устаревшие дореволюционные описания не даются. При отсутствии описаний советского времени приводятся сведения о дореволюционных описаниях рукописи. Ссылки на исследования, статьи и другую литературу, посвященную данной рукописи, как правило, не даются, за исключением тех случаев, когда в них содержатся единственные сведения о рукописи в печати»[12]. На практике эти противоречивые установки привели к тому, что, например, неоднократно (см. №№ 277, 278 и др.) указывается небольшая и не во всем верная статья О. А. Князевской «Восемь пергаменных рукописей из собрания ЦГАДА»[13], но не названо фундаментальное исследование того же автора, содержащее и археографические и палеографические сведения о московской рукописи 1358 г. (№ 513); наоборот, для последней рукописи указаны дореволюционные и не специально ей посвященные описания: А. В. Горского и К. И. Невоструева и совсем устаревшее описание Саввы. К рукописи № 581 (из ГТГ) приводится искусствоведческая книга Я. П. Запаско, 1960 г. (почему-то с украинским названием страницы) и работа А. А. Покровского, 1916 г., а исследование А. И. Соболевского, в котором эта рукопись специально описана, не приводится. Однако при № 1001 книга Я. П. Запаско уже не упоминается, но названы дореволюционные обзоры И. И. Срезневского (1867 г.) и Н. И. Петрова (1897 г.). Таким образом, создается впечатление, что составитель ПС и в этом некритически пошла за присланными из книгохранилищ материалами, отражающими подчас вкусы их авторов (книга Я. П. Запаско приведена для рукописи из ГТГ).

Возражение вызывает не только отсутствие указаний на фундаментальные исследования тех или иных рукописей, но еще больше — отсутствие сведений об изданиях рукописей, хотя последнее в условиях нашей огромной страны с ее разбросанной сетью многочисленных вузов и научных учреждений (не говоря уже об интересах иностранного читателя) является первой необходимостью для такого рода труда.

В ряде случаев бросается в глаза, что ПС отредактирован издательством небрежно и часто без понимания предмета (редактор издательства С. А. Левина), в результате чего имеются малопонятные и даже бессмысленные чтения. Например, при № 1400 читаем: «Творения Дионисия

надцатого археологического съезда в Новгороде. 1911 г.», II, М., 1916, стр. 249, 263). В 20-е годы она была передана в Государственную Третьяковскую галерею, где получила № К—5348. Будучи так обезличенной, изъятой из своего исторически сложившегося собрания и попав в хранилище, где нет подсобной филологической литературы, она стала мало доступна для работы филолога и лингвиста.

[12] «Предварительный список...», стр. 183.

[13] О. А. Князевская, Восемь пергаменных рукописей из собрания ЦГАДА, ТОДРЛ, XVIII, М.— Л., 1962.

Ареопагита митрополита Киприяна». Эти четыре непосредственно следующих друг за другом формы родительного падежа означают творения Дионисия Псевдо-Ареопагита в списке, приписываемом митрополиту Киприану как писцу. При № 1324 стоит: «Житие Феодора Эдесского, его „Главы добродетельны“ и „Повесть Аммона мниха о убиенных св. отцах в Синае и Раифе“», тогда как было бы лучше «Житие Феодора Эдесского и его „Сто глав добродетельных“; (точка с запятой!) Повесть Аммона мниха „Об убиенных св. отцах в Синаи и Раифе“».

Вызывает возражение употребление прилагательного «религиозный» в применении не к человеку, его понятиям и представлениям, а к предметам материальной культуры: книгам, отрывкам из них, текстам и т. п. (см. №№ 161, 474, 1292 и др.), где было бы уместнее определение «богослужебный», «богословский», «учительный», употребляемые в тех же контекстах в других местах ПС и в других археографических изданиях.

Все эти и им подобные вопросы будут специально обсуждаться, сведения уточняться, а опечатки и недосмотры, естественно, должны быть устранены в будущем «Сводном каталоге». Наши замечания не претендуют на исчерпывающий характер. Они свидетельствуют, что кодикология все еще является у нас весьма запущенным участком вспомогательных исторических дисциплин. Они показывают, как много еще нужно доработать и на местах и в Археографической комиссии для того, чтобы будущий «Сводный каталог» оправдал свое назначение.

Ныне существующий «Предварительный список», при всех его недочетах, безусловно, очень нужен и полезен. В известном смысле он лучше, чем разрозненные описания отдельных книгохранилищ. ПС помогает осознать и оценить то огромное культурное наследие, которое оставила нам древняя письменность. Мы должны знать свои сокровища. Некоторые рукописи существуют около тысячи лет. Наше богатство огромно. Его нужно изучать.

В заключение необходимо отметить, что и в настоящем своем виде ПС представляет собой выдающееся явление в славяно-русской археографии и значение его выходит далеко за рамки подсобного материала при обсуждении разных проблем будущего «Сводного каталога». Уже сейчас он может быть использован по разным направлениям изучения нашей древней письменности и культуры вообще, а также отдельно для литературоведения, лингвистики, собственно истории и истории отдельных наук. Приходится пожалеть лишь, что он не может быть использован историками искусства, так как материалы о художественном оформлении вошедших в ПС рукописей не нашли в нем отражения.

Л. П. Жуковская

E. Benveniste. **Titres et noms propres en iranien ancien.** —Pars, Librairie C. Klincksieck, 1966. 134 стр. («Travaux de l'Institut d'études iraniennes de l'Université de Paris», I)

Новая книга выдающегося французского лингвиста посвящена древнеиранским титулам и собственным именам, засвидетельствованным как в самих древнеиранских памятниках, так и в побочных источниках, прежде всего в эламских табличках из Персеполя. Работа делится на две части. Первая разбирает титулы, вторая — собственные имена. В разделе о титулах рассматриваются наименования: 1) царей и принцев, 2) цариц и принцесс, 3) второго после царя лица, 4) тысяченачальника.

Значительное место в главе I уделено разбору второй части знаменитой трехъязычной (пехлевийско-парфянско-греческой) надписи царя Шапура I, найденной в так называемой «Каабе Зороастра» в Накш-и Рустеме близ Персеполя. Эта часть надписи содержит список имен и титулов ряда лиц, оказавших особые услуги при утверждении на персидском престоле династии Сасанидов. Автор делает существенные и ценные наблюдения по поводу структуры и терминов этого перечня. Но на всю эту главу бросает тень неточное утверждение Бенвениста, что в конструкциях типа *Sahpuhr... Pāpakān* «Шапур сын (потомок) Папака» в качестве патронимического суффикса служит *-akān* и что этот суффикс в парфянском (и армянском) является именно патронимическим. В парфянском, как и пехлевийском, обычен патронимический суффикс *-ān*[1]. Составной суффикс *-ak-ān* выражает более широкие отношения принадлежности: географической, этнической, фамильной, личной и пр. Отношение *-ān* к *-akān* можно сравнить до некоторой степени с отношением *-ov-* к *-ovsk-* в славянском; ср., с одной стороны, русск. *Иван Петров* (т. е. сын или потомок Петра), *Павлов* (сын или потомок Павла), с другой — *Петровск*, *Павловск* (названия городов). Употребление *-akān* в топонимах в парфянском и армянском убедительно

[1] C. Salemann, Mittelpersisch, в кн.: «Grundriss der iranischen Philologie», hrsg. von W. Geiger und E. Kuhn, Strassburg, 1895—1901, I, Abt. I, стр. 279 — 280.

иллюстрируется примерами, которые приводит сам Бенвенист (стр. 14—17) и которые можно было бы умножить. Если в исходе патронима имеются *-ak-ān*, то всегда приходится считаться с тем, что элемент *-ak* принадлежит не суффиксу, а имени. Личные имена в парфянском и пехлевийском охотно снабжались формантом (уменьшительно-ласкательным) *-ak*. Параллельно употреблялись имена с этим формантом и без него: *Valarš* и *Valaršak* [2], *Valin* и *Valinak* [3], *Ohrmizd* и *Ohrmizdak* [4] и др. Ср. в осетинском эпосе *Xsar* (←**xšaϑra-*) и *Xsærtæg* (←**xšaϑraka-*) [5], в скифском Λειμανος и Λιμνακος, Φουρτας и Πουρθακης. Нельзя поэтому согласиться с автором, что «знаменитое имя *Ардашир-и Папакан* нуждается в реинтерпретации: *Pāpakān* является производным не от *Pāpak*, а от *Pāp*, засвидетельствованного в пехлевийском и в армянском» (стр. 17). Верно, что параллельно существовали имена *Pāp* и *Pāpak*; но имя родоначальника сасанидской династии десятки раз засвидетельствовано в иранских и неиранских источниках именно в форме *Pāpak* (араб. *Bābek*, *Fabak*, греч. Παβεκος, Παμβεκος) и не подлежит никакому переразложению: Ардашир был и остается сыном Папакана, а не Папа.

Стр. 20—22 согдийское γš'yδ, 'xšyδ «государь» (в арабских и персидских источниках *ixšēd*) убедительно сближается с авестийским *xšaēta-* «сияние; блеск; блистательный; государь». Значение слова автор почему-то находит спорным («le sens d'av. *xšaeta-* est controversé») и предлагает различать *xšaēta-* «блистательный» и *xšaēta-* «государь» как два разных слова. Полагаем, что в этом нет необходимости. Как показал в свое время И. Гертель, понятия «блеска» и «власти» в древнеарийском были тесно связаны [6]. Когда до революции в России говорили вместо «князь» «его сиятельство», то лишь следовали древней семантической модели: «власть»↔«сияние». Корень **xša(y)-* имел искони оба значения, «сиять» и «властвовать», и все его дериваты без всякой контроверзы вытекают из этих значений [7]. Об осетинском *æxsīd/æxsed* «заря» (*sæwæxsīd* «утренняя заря», *izær-æxsīd* «вечерняя заря») автор сообщает, что это слово не было до сих пор распознано (стр. 22). Как новое дается также сопоставление осетинского *sæw* «утро» с др.-иран. *savah-* «утро» (стр. 22). Помнится, однако, что лет двадцать назад были разъяснены и осет. *æxsīd* «заря» и осет. *sæw* «утро», равно как сочетания *sæwæxsīd* «утренняя заря» и *izæræxsīd* «вечерняя заря» [8].

В главе II («Reines et princesses») хочется отметить удачное возведение согдийского **xwatēn* «государыня» к **xwatawyainī-*, женской форме от **xwa-tawya-* «государь», по аналогии с авестийскими женскими формами *paoiryaenī-* и *tištryaenī-* от *paoirya-* и *tištrya-* (стр. 29 и сл.). Справедливо оспаривается по фонетическим и реальным основаниям связь тюркского *qatun* «госпожа» с согд. *xwatēn* (стр. 30—34).

В этой же главе дается неотразимое по убедительности восстановление греческой версии из строк 49—50 надписи Шапура (стр. 34—42). Пехлевийская версия этого отрезка гласит: *Lwdwhty ZY dwḥšy ZY 'nwšky BRTḥ* «Принцессы Роддухт, дочери Аношака».

Греческую версию Шренглинг и Марик восстанавливали:
ʿΡωδδουχτ(α)κ (τ)ῆς θυγατρος ʿΑνωσακ «Роддухтак, дочери Аношака».

Легко видеть, что в греческом переводе нет полного соответствия пехлевийскому тексту: имя женщины оказывается *Роддухтак* вместо *Роддухт*, а, главное, отсутствует ее титул «принцесса» (пехл. *dwḥš*). Изучение факсимиле надписи привело Бенвениста к убеждению, что греческий текст без всяких натяжек можно восстановить в следующем виде: ΡΩΔΔΟΥΚΤ ΚΟΡΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΑΝΩΣΑΚ «Роддухт принцессы, дочери Аноша», где греч. κόρης (род падеж от κόρη) соответствует пехл. *dwḥšy* «принцессы».

Пехл. *duxš* возводится к др.-перс. **duxšī-*, в эламской передаче *du-uk-ši-iš*

---

[2] H. Hübschmann, Armenische Grammatik, Leipzig, 1895, стр. 79.

[3] F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895, стр. 346.

[4] Строка 50 надписи Шапура I.

[5] В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор (далее ОЯФ), I, М.— Л., 1949, стр. 165—166, 177, 188—189, 223—224.

[6] Исходя из бесспорного факта, что понятия «огня-света» обладали в древнеарийском огромным семантическим потенциалом (см.: J. Hertel, Die arische Feuerlehre, Leipzig, 1925; введение к его книге «Sonne und Mithra im Awesta», Leipzig, 1927, «Beiträge zur Erklärung des Awestas und des Vedas», Leipzig, 1929 и др.), И. Гертель допустил некоторые увлечения и крайности и тем несколько дискредитировал свою основную идею, и сейчас его замечательные исследования о мировоззрении Авесты и Ригведы почти полностью игнорируются. Между тем ряд установленных им семантических филиаций остается в силе, в том числе связь понятий «блеска» и «власти».

[7] Относящиеся сюда осетинские факты сопоставлены ОЯФ, I, стр. 64, 189.

[8] ОЯФ, I, стр. 19, 29, 64 (здесь приводится также *xsīdyn* «кипеть»), 181, 189. См. также: В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка (далее — ИЭС), I, стр. 561—562 s. v. *izæræxsīd* и стр. 220 s.v. *æxsīn* «темно-серый». О слове *æxsīn* «госпожа» (из **xsaiϑni-*) см. ИЭС, I, стр. 129 и 312 s.v. *ælmærīn* и *cīn*.

из **duxθri-* «дочь; девушка». Из иранского идет, по мнению автора, арм. *dšxoy* «царица» (стр. 42—48).

В главе III («Le second après le roi») представляет интерес разбор древнеиранского титула *pas(a)grīv* «второе после государя лицо» (стр. 58—65). Термин разлагается на *pas(a)* и *grīv*, где *grīv* первоначально означало «тело», потом «существо», «персона», «я» и, далее, могло употребляться как возвратное местоимение. Первая часть *pas(a)* означает «после», но в данном сочетании получает значение «замещающий» (государя), «второй после» (государя). Хорошую параллель дает осетинский, где *æfsīn* значит «хозяйка», а *fæs-æfsīn* «замещающая хозяйку», буквально «после-хозяйка».

В главе IV («Chiliarque») автор утверждает с достаточным основанием, что иранский титул «тысяченачальника» (др.-иран. **hazahra-pati-*, сред.-иран. **hazarpat*) заимствован или скалькирован в армянский (*hazarapet*), греческий (χιλίαρχος) и готский (*þusundifaþs*) (стр. 67—70).

Центральное место во втором разделе работы, да, пожалуй, и во всей книге, занимает по новизне и интересу материала глава I о персидских собственных именах на эламских табличках («Onomastique perse dans les tablettes élamites») (стр. 75—99).

В свое время археологическая экспедиция Чикагского университета обнаружила в Персеполе тысячи табличек с надписями на эламском языке, содержащими также множество иранских (древнеперсидских) терминов и имен. Датируются таблички в основном V в. до н. э. Часть табличек была издана в 1948 г. Дж. Кэмероном. Публикацию остальных готовит Р. П. Хэллок. Но еще до публикации он предоставил Бенвенисту список встречающихся в табличках собственных имен (всего около 1500). Из них около 400 Бенвенист признал иранскими. Такого богатства ономастического материала не найти ни в одном собственно иранском источнике. Анализ имен был сопряжен со значительными трудностями, обусловленными прежде всего различием фонетической системы эламского и древнеперсидского. Эламское *m* может передавать как персидское *m*, так и персидское *v*. Эламское *s* может скрывать и *s* и *š*. Глухие и звонкие согласные передаются одними и теми же знаками. При всем том подавляющее большинство предлагаемых Бенвенистом интерпретаций убеждают с первого же взгляда.

Почти все имена построены по обычному типу древнеиранских имен: представляют сложение из двух компонентов. Среди этих компонентов легко распознаются некоторые иранские религиозные и не религиозные термины, излюбленные в иранской ономастике: *arta-* (в эламской передаче *irda*, *irta*) — божество, олицетворение правды и правопорядка; *farnah-* (*parna*, *parnu*, *pirna*) «благодать»; *baga-* (*baka*) «бог»; *ātar-* (*hatar*) «огонь»; *aspa-* (*ašba*) «конь» и др.

Обращает на себя внимание имя *Mazdayasna* (*Masdayašna*) «поклонник Мазды» (стр. 87). В Авесте, священной книге зороастризма, так называются правоверные маздеисты. Бытование этого термина в Персии V века в качестве собственного имени служит новым доказательством, что религия, которую исповедовали Ахемениды со времен Дария I, была разновидностью зороастризма [9]. В пользу, а не против этого говорит и др.-перс. Πισσούθνης, имя сатрапа Лидии в V в. до н. э. (Фукидид I 115, III 31), неотделимое от авестийского *Piši-šyaoθna-*. Единичность этого имени на древнеперсидской почве не может служить, вопреки автору (стр. 125), доказательством, что зороастризм был чужд Ахеменидам.

Некоторые предлагаемые интерпретации остаются проблематичными, как это признает сам автор. В отдельных случаях приходится считаться с инверсией, т. е. необычным порядком частей. Таковы отмеченные автором как инвертивные имена *Daddapirna*, *Datapparna* = иран. **Farna-data-*, Φαρνδάτης, Φερενδάτης [10] «данный Фарном», но с обратным порядком компонентов (стр. 81, 82). Это дает право с уверенностью толковать имя *Dadamišša* (стр. 81) как др.-перс. **Datamiśśa-*, общеиранское **Dāta-Miθra-* представляющее в свою очередь инверсию широко распространенного *Miθradāta-* «данный (богом) Митрой», ср. греч. Μιθραδάτης, Μιθριδάτης, лат. *Mithradates*, парф. перс. *Mihrdāt* и пр. [11].

Инверсию приходится предполагать и в именах: *Ašbašda-aspašta* «восьмиконный» (*aspa-* «конь», *ašta-* «восемь»); ср. по образованию Σατασπης «стоконный», с «нормальным» порядком компонентов. Для постановки числительного на втором, а не на первом месте хорошую параллель дает аланское ʾΑρδαβδα «семибожный», буквально «богосемный», название города Феодосии. Ср. также сарматское имя из Танаиса ʾΑρδοναστος = осет. *ærdun -ast* «имеющий восемь (*ast*) луков (*ærdun*)», «восьмилучный» [12]. В тол-

---

[9] Нельзя согласиться с теми, кто считает, что зороастризм и маздеизм — это две разные, не связанные между собой религии. Маздеизм — не что иное, как догматизированный зороастризм. Нет никаких указаний, что до Зороастра где-либо на иранской почве существовал культ Ахуры Мазды как верховного божества.

[10] F. Justi, указ. соч., стр. 91

[11] Там же, стр. 209—213.

[12] ОЯФ, I, стр. 158, 163, 231, 235.

ковании имени *Ašbašda* Бенвенист колеблется между **aspastā-* «стоящий на коне» и *aspāsta-* «имеющий лошадиные кости» (стр. 78). То и другое неправдоподобно. На коне не стоят, а сидят. По этому аналогия с авестийским *raϑaēštā-* «стоящий на колеснице» неточная. На боевой колеснице, которая здесь имеется в виду, именно стояли, а не сидели. Понятие «сидящий на коне, всадник» выражается в иранском сложением **aspabāra-* (др.-перс. *asabāra-*), а не **aspastā-* Что касается толкования «имеющий лошадиные кости», то и оно, насколько можно судить, не может быть поддержано близкой аналогией ни в иранских, ни в каких-либо других языках.

Aššašturrana (стр. 78) = др.-перс. **asa-sturana-* «имеющий крупных коней» (*sturana-* от *stura-* «большой» с формантом *-na-*). «Нормальный» порядок компонентов имеем в *Mikrašba* = **vigra-aspa-* «имеющий мощных коней» (стр. 88). Ср. сарматское имя ʾΑσπουργος =**aspa-ugra-* с тем же значением, но с инверсией [13].

Имя *Irdumatra* (стр. 85) можно толковать **Arta-varϑra-* «кому Арта служит щитом (*varϑra-*)» или «кто служит щитом для Арты», «кто оберегает Арту». Ср. по семантике *Irtam-bama* = **Artampāva* «кто оберегает порядок» (стр. 85).

Имя *Irtammanuwiš* следует, быть может, восстанавливать не **Artam-manuvi-* (стр. 85), а **Artam-vanvi-* «любящий (любящая?) Арту», имея в виду во второй части производное от *van-* «любить; быть преданным»; **vanvi-* вторичное образование (женского рода?) от *vanu-* Ср. др.-инд. *vanu-*, *vanus-* «любящий; преданный; ревностный почитатель», *-vanas-* (во второй части сложных слов) «любящий», авест. *Atərə-vanuš-* имя одного правоверного, буквально «любящий (почитающий) огонь», др.-инд. *girvaṇas-* «любящий песни», *yajña-vanas-* «любящий жертвоприношения» [14].

Имя *Manyaparra* автор правильно анализирует **manya-bĕra-* (точнее **mānya-bara-*), но добавляет: «смысл второго компонента неопределенен» (стр. 87). Это имя сопоставимо с согд. *myn'βr* «полномочный; облеченный властью, авторитетом», осет. *mīnævar* «посланник; посредник». Ср. для первой части др.-инд. *māna-* «уважение; почет, которым пользуется человек среди сограждан», *mānya-* «чтимый». Вторая часть *-bŏa-* «носитель» от *bar-* «нести». В целом имя означает нечто вроде «носитель авторитета; чтимый; авторитетный» [15].

Сложение **frya-pati* (элам. *Pirriyabattiš*, стр. 91) вызывает у автора недоумение («...la jonction peut surprendre»). Такое имя не является, однако, сюрпризом. В парфянских документах из Нисы неоднократно встречается название имения *Friyapatīkān*, производное от имени *Friyapati* [16]. Ср. также *Priapatius* имя четвертого парфянского царя (Justin. 41, 5) [17].

Имя *Pirrasauka* (стр. 90) анализируется **fra-sauka-* и сопоставимо с осет. *ræsūg/ræsog* «чистый, прозрачный».

Во II главе второго раздела («Noms iraniens en Asie-Mineure»), касаясь ономастического материала, содержащегося в книге Л. Робера [18], автор отмечает, что ряд имен из греческих надписей Каппадокии носит явно иранский характер: Μιϑριδάτης, Βαγαδάτης и др. (стр. 104 и сл.). Привлекают внимание, в частности, имена, содержащие элемент *mai*: Μάης, Μαιφάρνης, Μαιδάτης, Μαιφάτης и др. [19]. В высшей степени вероятно, что элемент *mai-* в этих именах есть иранское название луны. Откуда, однако, форма *mai-*? Ведь и в авестийском и в древнеперсидском луна зовется *māh-*, а не **mai-*. Уместно вспомнить, что есть и такой иранский язык, где название луны звучит *mæj*, это — осетинский. Позволительно поэтому высказать догадку, что иранское население Каппадокии, которому принадлежат приведенные имена, является остатком скифских вторжений в Малую Азию, имевших место, начиная с VII в. до н. э. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что некоторые каппадокийские иранские имена в точности совпадают со скифскими именами из Северного Причерноморья: Μαης, Μαιφαρνος[20].

В III главе этого раздела («Termes spécifiques de l'onomastique perse») автор дает убедительный анализ отдельных персидских имен: ʾΑρτάβανος, *Bagabuxša*, имена на -βαζος, имена, содержащие компонент *zauš-*, *šiyāti-* и *gauna*, имя Πισσούθνης

Касаясь имен ʾΟροβάζης, ʾΟροφέρνης, автор не без основания отказывается видеть в первой части иранское *ahura-* «божество». Видимо, элемент ορο- в подобных именах не допускает однозначной идентификации; в нем может скрываться иран. *varu-* «широкий», *vara-* «желание», *arva-* (*aurva*) «быстрый; отважный».

Внимательно прочитав отрывок об иран. *zauš-* (стр. 117—119) рецензент

[13] ОЯФ, I, стр. 157, 235.

[14] H. Grassman, Wörterbuch zum Rigveda, 4-te Aufl., 1964, стр. 1208.

[15] Об осет. *minævar* см. ИЭС, II, s. v. (в печати).

[16] И. М. Дьяконов, В. А. Лившиц. Документы из Нисы, М., 1960, стр. 17, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 80, 88—90 и др.

[17] F. Justi, указ. соч., стр. 106.

[18] L. Robert, Noms indigènes dans l'Asie-Mineure gréco-romaine, 1963.

[19] L. Robert, указ. соч., стр. 516; L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag, 1964, стр. 279, 280.

[20] На это совпадение обращает внимание и Л. Робер (указ. соч., стр. 532).

так и не убедился, что это слово означает «faveur divine», а не вообще «faveur». Приводимые автором слова Дария I: *martiyam draufanam naiy dauštā amiy* «я не друг человеку-лжецу» говорят о человеческой, а не божьей благосклонности. Широко представленное в иранских языках *zauš-* (как и ведийское *juṣ-*) означает вообще «иметь вкус к чему-либо; быть благосклонным; предпочитать; любить». В пехлевийском засвидетельствованы не только *dōst* «друг», но и *dōšītan* «любить; предпочитать», *dōšišn* «любовь», *dōšāram* «любовь»; например: *tam hān dōšend hač rōšnīh* «они предпочитают тьму свету» (Dēnkart VII, 8, 44) [21]. Что в семантике этого слова не было ничего специфически божественного, видно из сакского *ysojsa-* «вкусный», афганского *zōṣa* «род сиропа», осетинского *dzosæ* «острый соус» [22].

Резюмируя наши впечатления, мы можем сказать, что новый труд Э. Бенвениста, богатый, как всегда, фактами, идеями и интерпретациями, не только расширяет наши знания в области древнеиранской ономастики и титулатуры, но,— что не менее важно и ценно,— содержит обильный материал для дальнейших размышлений и изысканий.

В. И. Абаев

[21] M. Molé, La légende de Zoroastre selon les textes pehlevis, Paris, 1967, стр. 88, 174.

[22] ИЭС, I, стр. 398 и сл.

Н. Д. Андреев. **Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языкознании.**— Л., изд-во «Наука», 1967. 403 стр.

Книга Н. Д. Андреева — большое (25 печ. л.), оригинальное исследование, обсуждающее ряд фундаментальных вопросов современного языкознания. Естественно, она вызывает интерес лингвистов, в особенности тех, кто склонен придавать особое значение так называемым точным методам (методикам) исследования. Этот интерес поддерживается не только замыслом и содержанием книги, но и именем ее автора.

Содержание книги Н. Д. Андреева заметно шире темы, объявленной на титульном листе. Круг проблем, рассматриваемых автором с разной степенью глубины и доказательности,— очень велик: тут и методологическое и методическое соотношение «старого» и «нового» языкознания, и проблема языковых универсалий, и исторические судьбы национальных языков, и перспективы общения с инопланетными цивилизациями, и специфика логического и образного мышления, и особенности индукции, дедукции и интуиции, и язык и мышление в аспекте теории информации, и развитие мышления в освещении понятия о негэнтропии, и вопросы машинного перевода, и особенности коммуникации человека и машины, машины и машины, и проблема специфики «мышления» электронных вычислительных машин, и много других важных и интересующих лингвистов вопросов. А если добавить к этому умение Н. Д. Андреева писать точно, сжато и остро, можно представить, что многие страницы книги, в особенности в главах и разделах, не связанных прямо с ее центральной задачей, привлекают внимание читателя и воспринимаются с интересом и признательностью к автору — независимо от нередко возникающего желания с ним поспорить.

Описываемая и оцениваемая книга посвящена, прежде всего, новой методике формального (без обращения к смыслу) изучения языка, понимаемой автором как строгая система правил, которым лингвисты должны следовать; конечно, именно в этом смысле новая методика и названа автором алгоритмом.

Описание алгоритма статистико-комбинаторного изучения языка по данным речи занимает в книге Н. Д. Андреева, в сущности, три главы из восьми: главу вторую «Морфология в статистико-комбинаторном моделировании», главу третью «Синтаксис в статистико-комбинаторном моделировании» и главу четвертую «Лексика и семантика в статистико-комбинаторном моделировании». Главы пятая («Типология и история языка в свете статистико-комбинаторного моделирования») и шестая («Прикладные аспекты статистико-комбинаторного моделирования») лишь по названию связаны с описанной ранее методикой; по существу же в них рассматривается ряд общих вопросов о языке в количественном аспекте, но без какого-либо конкретного привлечения изложенного и защищаемого в книге методического алгоритма. В главах первой («Язык и система речи») и седьмой (глава названа «Заключительная»), естественно, речь также идет о вопросах общих, предваряющих конкретную часть исследования или как-то выводимых из нее.

Таким образом, изложение сведений о методическом алгоритме включено Н. Д. Андреевым в большой круг вопросов теории языка, и часть этих вопросов исполь-

зуется как обоснование самого алгоритма и его исследовательской целесообразности. Вот некоторые из таких вопросов. По мнению Н. Д. Андреева, «существуют проблемы, решение которых оказалось невозможным в рамках классических исследовательских методик. К числу таких проблем принадлежит задача строгого определения зависимости между лингвистическим значением и лингвистической формой.

Суть дела в том, что языковые формы всегда отождествлялись и различались по их значениям (*мной — мною, зной — зною*); в свою очередь значения устанавливались и исследовались по соотношению языковых форм (*стекла — стеклу, стекла — стекли*). Иначе говоря, налицо замкнутый круг, в котором единицы плана содержания и единицы плана выражения определяются друг через друга» (стр. 3—4).

Конечно, классическое языкознание не всесильно. Однако не нужно приписывать ему недостаток, которого оно не имеет. Никакого замкнутого круга в опознавании и различении единиц плана выражения и плана содержания, разумеется, нет. Единицы плана содержания определялись и определяются не через единицы плана выражения (хотя и при участии этих именно единиц), а путем соотнесения плана выражения с «планом реальной действительности», в первую очередь, и путем соотнесения различных единиц плана выражения друг с другом в процессе их речевого функционирования — во вторую. Единицы же плана выражения определяются путем узнавания их повторяемости в потоке речи и конкретизируются при участии их семантики. Едва ли целесообразно более сложное объяснение заменять более простым только потому, что оно более просто.

Н. Д. Андреев говорит, что уже к концу прошлого века стало ясно, что разорвать замкнутый круг (форма через значение, значение через форму) «можно только одним способом: вскрыть систему языковых форм, совершенно не опираясь на значения. Бремя такого решения взяла на себя структурная (дескриптивная) лингвистика...» (стр. 4). Однако и структурная лингвистика потерпела неудачу: «Задачу вычленения основной единицы языка классическое языковедение поставило, хотя и не строго, и решило, хотя и не формально. Ту же задачу структурная лингвистика поставила вполне формально и строго, но не решила совсем» (стр. 5).

И это положение автора книги представляется не вполне убедительным. Во-первых, задача описать языковые формы, не опираясь на значения, была поставлена школой Ф. Ф. Фортунатова в пределах классического языкознания, но была решена лишь частично. Во-вторых, едва ли можно убедительно говорить о том, что структурное языкознание, поставив строго эту задачу, не решило ее совсем: структурное языкознание успешно выделило и описало многие морфемы и их классы во многих языках, но и оно не сумело последовательно описать таким образом весь язык на всех уровнях его структуры.

Как же объясняет неудачи классического и структурного языкознания Н. Д. Андреев?

«Отыскивая причину затруднений структурной лингвистики,— пишет он,— равно как и причину того, почему ни алгебра логики, ни теория множеств не вывели ее из этих затруднений, мы находим пропущенное центральное звено в вероятностных свойствах языка. При всей важности теоретико-множественных (структурных) и алгоритмических (трансформационных) характеристик языковых единиц решающими оказались их статистические характеристики в речи. Именно неучет последних определил неуспех ранних попыток исследовать план выражения без обращения к плану содержания. И наоборот, одновременное рассмотрение всех трех групп свойств, как теоретико-множественных и алгоритмических, так и вероятностных, дает в руки тот самый ключ к проблеме вычленения основной единицы языка, с помощью которого мы можем, сохранив строго формальную постановку задачи, дать ей, наконец, строго формальное же решение.

Идея комплексного подхода, опирающегося на все три группы свойств языка, была реализована автором этих строк в виде алгоритма статистико-комбинаторного моделирования языка по данным речи» (стр. 5—6).

Итак, автор работы прямо утверждает, что на основе описываемого им методического алгоритма можно, «сохранив строго формальную постановку задачи, дать ей, наконец, строго формальное же решение». Та же мысль более отчетливо выражена в оценивающем итоги описываемого эксперимента высказывании: «Задача построения словоизмерительной парадигмы и отличения ее от словообразовательного ряда получила статистико-комбинаторное решение. Иначе говоря, мы вправе теперь утверждать, что опробованный алгоритм, расчленив словоформы на морфемы, выделяет изменяемое слово как совокупность расчлененных словоформ и противопоставляет его другим словам, хотя бы и родственным рассматриваемому в словообразовательном плане» (стр. 7).

Вероятно, автором преувеличены полученные в описываемом эксперименте результаты. Но дело сейчас не в этом. Де-

ло в том, что в самом основании методического алгоритма Н. Д. Андреева лежит область вероятностных характеристик языка и речи. Поэтому первостепенный интерес приобретает то понимание языковой вероятности, которое дано автором книги, и те сопоставления статистического, структурного и трансформационного аспектов изучения языка, которые предложены читателю. Н. Д. Андреев различает парадигматические и синтагматические вероятности языковых элементов. «Парадигматические вероятности принадлежат языку и всегда равны у разных единиц одной группы; синтагматические вероятности принадлежат речи и, за редкими исключениями, не равны у разных единиц одной и той же группы. Именно нетождество двух видов лингвистической вероятности объясняет тот факт, что количество информации, приходящееся в среднем на элемент языка, всегда больше, чем среднее количество информации, несомое тем же элементом в речи.

Это исключительное по своей важности вероятностное различие между языком и речью является причиной многих явлений в функционировании языка и в его истории» (стр. 17—18).

Вероятность любого языкового элемента измеряет тот потенциал функционирования, которым этот элемент обладает в определенное время в определенных условиях коммуникации. Естественно, что этот потенциал реализуется в речи и исследователем языка «извлекается» именно из нее. Но это не дает исследователю никаких оснований для присвоения языку двух принципиально различных вероятностей — парадигматической и синтагматической. «Парадигматическая» вероятность просто не существует; в лучшем случае она могла бы рассматриваться как условный методический термин, как методическая модель, не отражающая никакой реальности языкового развития и языкового функционирования и, возможно, полезная при решении каких-то частных задач статистического изучения языка и речи.

Введя продуктивное в исследовательском плане понятие коррелятивной функции как отношения условной синтагматической вероятности языкового элемента к вероятности независимой того же элемента, автор книги предлагает свое понимание системы речи (избегая говорить о системе языка): «Система речи есть совокупность независимых синтагматических вероятностей языковых элементов и набор их коррелятивных функций при различных условиях» (стр. 22).

Думается, что реальная система речи неизмеримо богаче ее отображения в определении Н. Д. Андреева. Система речи включает совокупность разнообразных качественных и количественных связей и отношений между элементами языка, их рядами, типами и категориями — связей и отношений, возникающих в результате коммуникативной реализации свойств этих элементов в тексте. Структура и система речи формируется под влиянием свойств языка и их использования в соответствии с закономерностями работающего сознания. Количественная сторона системы речи необходима, но недостаточна ни для ее (речи) осуществления, ни для ее исследования. Да и сам автор книги по существу понимает систему речи не так, как ее определяет. Об этом убедительно говорит хотя бы то, что синтез и анализ предложения поясняются в книге Н. Д. Андреева как реализация некоторых алгоритмов порождения (*синтеза*) и *распознавания* (*анализа*) речевого материала (стр. 15), что очевидным образом никак не может быть сведено к порождению и распознаванию одних синтагматических вероятностей. Конечно, автор вправе применить тот или иной термин в измененном, по сравнению с обычным, значении. Но в таких случаях желательно предупреждение читателя об условности применения традиционной терминологии. В этом плане любопытны и те соображения, которые высказаны в книге о структурном языкознании. По мысли автора, структурный анализ должен быть определен как приложение к исследованию языка теории множеств (стр. 14). «Противопоставление объектов по дифференциальным признакам и исследование дистрибуции объектов в контекстах — вот основные приемы структурного анализа. Но противопоставление по дифференциальному признаку есть не что иное, как давно известное математикам разбиение множества на классы, т. е. на непересекающиеся подмножества». «Изучение дистрибуции объектов в контекстах приводит нас к комбинаторике классов, выраженной в терминах разрешенных или запрещенных сочетаний подмножеств, размещений, повторений и перестановок...» (стр. 14).

Такое понимание структурного анализа беднее реальной исследовательской практики структурализма и потому, что его различные школы по-разному понимают главные задачи языкознания, и потому, что любой структурный анализ предполагает прежде всего обнаружение, выделение, открытие различительных признаков на разных уровнях языковой структуры и только на этой основе классификацию языковых элементов. Но процедуры установления, обнаружения, осознания различительных признаков никак не могут быть сведены к операциям теории множеств. Теория множеств может дать и дает одну из методик структурного описания языка, не больше. Но

это еще далеко не вся совокупность идей и методов структурализма.

Вместе с тем представляется бесспорным общее понимание Н. Д. Андреевым предполагаемого места его методического алгоритма в науке о языке. Это место «определяется не его оппозицией другим направлением, а его конструктивной стороной: оно призвано дополнить собою ансамбль рабочих методов нашей науки, вооружить ее для ситуаций, когда обращение к семантике затруднено или исключено, и тем самым расширить возможность исследователей, изучающих язык и языки в любых условиях их функционирования» (стр. 12).

Что же представляет собою методика статистико-комбинаторного моделирования, как ее часто называет автор?

К сожалению, на этот главный вопрос ответить не так просто, потому что сам «механизм» методического алгоритма изложен автором на редкость скупо, без необходимых пояснений и обоснований, в заметном отрыве от материала многочисленных статистических таблиц, включенных в приложения к основной части книги. Автор — увлеченный, видимо, идеей методики как алгоритма — как будто забывает, что его книгу воспринимает сомневающийся и требующий доказательств и обоснований мозг человека, а не «мыслительный» аппарат электронной машины, готовой послушно и без рассуждений выполнить любые алгоритмические предписания. И такой догматический способ изложения сведений о «механизме» методики тем более удивителен, что в других главах и разделах книги автор обнаруживает незаурядные способности аналитика, полемиста и популяризатора, а в заключительных разделах своего труда сопоставляет мышление человека, не сводимое ни к каким алгоритмам, и «мышление» электронной машины, полностью определяемое предписаниями алгоритмов (см. стр. 197—215).

Попытаемся все же сообщить читателю некоторые начальные, так сказать, «минимально-необходимые» сведения о методическом алгоритме Н. Д. Андреева, основанные на том понимании, которое возникло у нас в процессе неоднократного чтения и обдумывания скупых описаний автора и не всегда последовательных пояснений его учеников [1].

Методический алгоритм применяется к тексту, сегментированному на фонемы (графемы) и словоформы. В тексте определенного объема устанавливаются независимые вероятности графем, средняя длина слова в графемах (Д) и средняя длина фразы в словах (Ф). Словоформы длиною не более $^2/_3$ средней длины слова признаются нечленимыми и временно исключаются из рассмотрения; алгоритм работает с членимыми словами. Находятся условные вероятности графем в членимых словах по позициям: начало слова, вторая графема от начала, третья и т. д.; также — конец слова, вторая графема от конца, третья и т. д. Для каждой позиции отыскиваются буквы с наибольшим значением условной вероятности; половина этой величины — порог медиального разбиения; буквы, условные вероятности которых в определенной позиции не меньше этого порога, входят в верхнее подмножество. Вычисляются коррелятивные функции (КФ) каждого элемента верхнего подмножества, т. е. отношения условной вероятности к независимой. В каждой позиции находится элемент с наибольшей величиной коррелятивной функции, он признается информантом в этой позиции. Упорядочивается совокупность полученных информантов — по убывающей величине коррелятивной функции; информант, занявший начало ряда, становится пунктом дальнейших поисков. Находится разрешенная длина первого словоизменительного аффикса, она вычисляется как частное от деления квадрата средней длины слова на среднюю длину фразы. Если разрешенная длина словоизменительного аффикса равна единице, найденный информант с наибольшей коррелятивной функцией сразу же проверяется на принадлежность к словоизменительной парадигме; если же разрешенная длина аффикса более единицы, выполняются дополнительные операции. Изучаются условные вероятности букв при двойном условии: а) наличие информанта, найденного ранее; б) позиция, смежная с этим информантом. Устанавливается мера перепада условных вероятностей двух букв — соседей информанта (мера перепада — отношение частотностей двух языковых элементов, стоящих рядом в таблице, упорядоченной по убывающей частоте); если мера перепада больше 1,5, то более частотная буква прибавляется к информанту, образуя двухбуквенный аффикс; если же мера перепада не более 1,5, то проверяется отношение суммарной встречаемости двух букв, и коль скоро оно оказывается больше 2, производится расширение аффикса. Далее осуществляется проверка на принадлежность аффикса к сфере морфологии или словообразования. Для этого изучается текст объемом V; в тексте отмечаются все словоформы, имеющие уже найденный и теперь проверяемый на принадлежность морфологии или словообразованию аффикс; путем отбрасывания этого аффикса находятся базы первого вида. Эти же базы отыскиваются с

[1] Ср. сб. «Статистико-комбинаторное моделирование языков», под ред. Н. Д. Андреева, Л., 1965.

другими буквосочетаниями (или буквами), отличными от проверяемого аффикса. Эти буквосочетания (или буквы) образуют спектр остатков первого вида; он упорядочивается по убывающей частоте. В полученном ряду (спектр остатков) выделяется верхнее подмножество, находятся независимые вероятности его членов (условные вероятности уже получены). Вычисляются коррелятивные функции и определяется информант верхнего подмножества; он признается вторым информантным аффиксом. Применяется понятие и формула меры редукции; этим термином обозначается отношение разности между числом баз с первым аффиксом и числом баз со вторым аффиксом к числу баз с первым аффиксом, умноженному на коэффициент, корректирующий влияние длины наблюдаемого текста (этот коэффициент предлагается вычислять по формуле $\log_{10} K = \log_{10} Д$: $(1 + 0{,}02 \log_{10} V)$. Вычисляется также порог редукции, величина которого представляет собою частное от деления единицы на среднюю длину слова ($1 : Д$). При подсчете числа баз, сочетающихся в наблюдаемом тексте с тем или иным аффиксом, не учитываются базы, встретившиеся редко, реже некоторой заданной частоты; такие базы переводятся в языковой шлейф и пока алгоритмом не обрабатываются. Вычислив меру редукции по числу баз, сочетавшихся с первым и вторым аффиксами, экспериментатор сравнивает эту меру с порогом редукции. Если она оказывается ниже этого порога (субпороговая редукция), оба аффикса признаются принадлежащими парадигме словоизменения, а шаг алгоритма — истинным. Если же мера редукции выше порога (суперпороговая редукция), признается, что испытываемые аффиксы не образуют словоизменительной пары и надо оценивать следующий по коррелятивной функции остаток из спектра остатков первого вида. Если суперпороговая редукция повторится большее число раз, чем средняя длина членимого слова, или если суперпороговые редукции исчерпают спектр остатков, шаг алгоритма признается ложным. В этом случае признается ложным и отправной информант, и его необходимо заменить следующим за ним по величине коррелятивной функции и повторить алгоритмическую процедуру. Истинный шаг алгоритма дает основание для продолжения работы его основной ветви: в тексте отыскиваются базы с двумя уже «открытыми» алгоритмом аффиксами, вновь определяется спектр остатков, устанавливается его информант, вновь вычисляется мера редукции и сравнивается с порогом редукции и т. д. Работа алгоритма прекращается в случаях, если а) остаются только две базы очередного вида, б) исчерпываются все остатки в спектре, в) алгоритм дает серию суперпороговых редукций, идущих одна за другой.

Таков — очень схематично описанный — основной и наиболее завершенный вариант методического алгоритма Н. Д. Андреева, предназначенный для обнаружения «без обращения к смыслу» словоизменительных и словообразовательных аффиксов и установления морфологических типов, которые получают в книге следующее «операционное» определение: это «парадигматическая совокупность не менее чем двух основ, с парадигмой не менее чем из двух аффиксов» (стр. 39). Именно этот вариант алгоритма проверялся в широком эксперименте и дал определенные положительные результаты, о которых читатель узнает из статей сборника «Статистико-комбинаторное моделирование языков», а также из рецензируемой книги. В нескольких языках различных семей и типологических структур (русском, английском, венгерском, латышском, эстонском, вьетнамском, суахили, хауса, болгарском, итальянском и других) удалось выделить некоторые ряды аффиксов, установить известное число «морфологических типов» и даже наметить морфологические разряды или классы, напоминающие части речи (на материале русского языка преимущественно) — правда, применяя дополнительные предписания алгоритмической методики, не упоминавшиеся в рецензии и выходящие за пределы главного методического варианта.

Возможно, что полученные положительные результаты заметно скромнее, чем это представляется автору алгоритма. Но речь сейчас не об этом. Речь должна идти о том, что и автор новой методической процедуры, и его ученики, и те лингвисты, которые этой процедурой заинтересуются вновь, будут проверять ее в действии и будут стремиться к ее совершенствованию. Вот почему в рецензии и желательны некоторые соображения по отдельным теоретическим и прикладным аспектам методического алгоритма Н. Д. Андреева.

Прежде всего о главной целевой установке автора книги и алгоритма — отыскать такую лингвистическую теорию и методику, которая позволила бы анализировать текст и выделять в нем элементы языка, прежде всего морфемы и слова, «без обращения к смыслу». Оценивая в «Предисловии» результаты применения своего методического алгоритма, Н. Д. Андреев пишет: «Итак, проведенными экспериментами доказано, что столь фундаментально важные для языка единицы, как морфема и слово, могут быть извлечены из речи на базе статистических и комбинаторных характеристик речевых единиц без предварительного задания их лексических или грамматических значений...» (стр. 8), т. е., иначе говоря, «без обращения к смыслу». Но так ли

это? Ведь по словам автора, «предполагается, что текст либо заранее задан сегментированным на фонемы (или буквы) и словоформы..., либо приведен к сегментированному виду некоторым алгоритмом членения...» (стр. 33). Но так как этот алгоритм отсутствует и только предполагается его возможность, то, естественно, методика статистико-комбинаторного анализа испытывалась на существующих «естественных» текстах, уже расчлененных на буквы и словоформы самой исторической практикой применения письменной речи. Не может быть сомнения в том, что практическое членение речевого потока знаков на словоформы и буквы означает не что иное, как реальную «предварительную заданность» тех самых лексических и грамматических значений, обойти которые должен методический алгоритм Н. Д. Андреева и которые не могла обойти практика письменного общения людей.

Таким образом, пока нет решительно никаких данных, говорящих о том, что статистико-комбинаторное моделирование языка принесло больший успех в выделении языковых единиц «без обращения к смыслу», нежели формальная школа классического языкознания или языкознание структурное.

Методический алгоритм Н. Д. Андреева опирается, несомненно, на действие вероятностных закономерностей функционирующей звуковой структуры. Но каким образом осуществляется «улавливание» этих закономерностей алгоритмом, остается неясным. Больше того, в книге отсутствуют сами термины и понятия «вероятностный закон», «существенные расхождения частот», «случайные колебания частот», «достоверность», «ошибка наблюдения» и другие, насущно необходимые при любом обоснованном теорией вероятностей и математической статистикой применении статистической методики. Это непонятно, как непонятно и то, почему в алгоритм введены никак не мотивированные, теоретически неразъясненные величины, вроде коэффициента редукции (откуда появилась его формула?), порога редукции (почему порог редукции должен равняться 1 : Д?), величины разрешенного аффикса (почему эта величина измеряется отношением квадрата средней длины слова в средней длине фразы?), мера перепада частот (почему она равна 1,5 для случая, когда сравниваются частоты двух аффиксов, и равна 2, когда сравниваются частоты двух парных аффиксальных объединений?) и др.

Можно предполагать, что различные величины, введенные в методический алгоритм его автором, призваны так или иначе оценивать (или помогать оценивать) те самые исходные частоты, которые наблюдались экспериментатором в тексте. Но все эти частоты имеют вероятностный характер и в своей специфике зависят от особенностей структуры (и ее функционирования) различных языков; статистические закономерности функционирования элементов могут меняться от языка к языку. А если это так, по-видимому, должны меняться и те оценивающие частотность величины и коэффициенты, которые вводятся в методический алгоритм. Одним словом, нужно знать, от чего же зависят эти величины и коэффициенты и чем они определяются. Нужен теоретический анализ алгоритма с позиций основных, базовых представлений математической статистики.

В том же плане может быть высказано соображение и об оценках надежности полученных в эксперименте исходных данных — частот и долей (доли всюду в книге именуются вероятностями), об измерении ошибок наблюдения. В алгоритме такие вещи не предусмотрены, и в многочисленных таблицах, вошедших в приложение к основному тексту книги, читатель, как правило, необходимых оценок не находит. Кстати, данные таблиц не вошли органически в текст книги и оставляют впечатление необязательного довеска к нему. Условия статистического эксперимента, в которых получены табличные данные, в книге не описаны (наименование текста, границы и особенности выборок, их длина), что препятствует повторению и проверке эксперимента.

Нельзя здесь не подумать и о том, что в книге Н. Д. Андреева его методический алгоритм «задан» читателю, как некая готовая система. А между тем он сам требует исследования и его оснований, и его механизма, и условий его применения, и его возможностей, и ограничений, которые на него налагаются языком и его собственными свойствами. К сожалению, пока ничего подобного нет в книге, и можно надеяться, что ее автор или его ученики осуществят позже то, что по разным причинам не было осуществлено ко времени создания книги.

В частности, можно предполагать, что алгоритм Н. Д. Андреева — не единственный вариант статистического изучения морфемного и словесного строения речевой цепи на основе вероятностно-статистических закономерностей, управляющих функционированием языковых единиц. Например, можно представить себе такую методику, которая будет опираться непосредственно на извлеченные из текста частоты букв и буквосочетаний в конечной и начальной частях слов и на основе статистического сравнения этих частот будет отличать аффиксальные буквенные отрезки от неаффиксальных, формообразующие от словообразующих. Так, конечные (или начальные) буквы, принадлежащие аффиксу словоизменительному, будут, очевидно, существенно отличаться по частоте от букв, принадлежащих основе или аффиксу словообразо-

вательному. Границы между морфемами, в особенности границы между основами и аффиксами словоизменения, по-видимому, характеризуются во многих языках существенными перепадами частот, что и может быть использовано при построении соответствующей методики. Если к тому же вспомнить, что путем наблюдения повторяемости буквосочетаний в словоформах, образующих текст, также можно достаточно строго и «без обращения к смыслу» выделить немало морфем, открывается реальная перспектива методики, менее громоздкой и сложной, чем статистико-комбинаторное моделирование.

Впрочем это всего лишь попутное замечание, предназначенное для обоснования мысли о необходимости изучения самой методической процедуры, ее достоинств и недостатков — для усиления первых и преодоления вторых.

Если в области морфологии и словообразования автором книги применяется определенная методическая процедура и эта процедура при всей ее громоздкости и еще не устраненных слабостях дает положительные результаты, то в области синтаксиса и лексики от «статистико-комбинаторного моделирования» как определенной методики ничего не остается, кроме интересных и общих идей.

И не случайно в главе, посвященной изучению синтаксиса, появляется понятие и термин «вероятностный дифференциальный признак» (ВДП). Автор дает ему такое пояснение: «1) ВДП характеризует группу объектов, рассматриваемую как целое на парадигматической оси; 2) для каждого члена этой группы ее общий ВДП реализуется с определенной вероятностью, в общем случае неравном единице на синтагматической оси» (стр. 66).

На последующих страницах книги высказывается немало интересных и свежих суждений о возможностях применения ВДП в исследовании грамматических, в частности синтаксических, структур с целью описания и анализа их функционирования, исторического изменения, из типологических сближений. Вводится и мотивируется противопоставление стилей и подъязыков, корректирующее существующие взгляды на языковые и речевые стили, хотя и не бесспорное. Вообще обогащаются и конкретизируются известные науке представления о применении теории вероятностей в лингвистике. Соответствующие страницы и абзацы книги читатель воспримет с пользой для себя и с чувством признательности по отношению к автору.

Правда, читатель кое с чем, по-видимому, не согласится. Так, он не согласится с тем, что в книге произошла малозаметная подмена алгоритмической методики суждениями и предложениями, связанными с иной методикой, предполагающей получение частотных и вероятностных характеристик различных классов языковых элементов не с целью их формального выделения и различения, а с целью их более полного и точного познания. Получилось так, что автор как бы держит в неведении читателя относительно осуществленной подмены одной методики другою и по-прежнему говорит о статистико-комбинаторном моделировании, хотя по существу речь идет уже о другом. Правда, в главе, посвященной изучению синтаксиса, даны скупые соображения о возможности формального распознавания членов предложения при помощи методического алгоритма. Однако так и остается неясным, удастся ли предполагаемое формальное распознавание. Нам кажется, что оно не удастся — просто потому, что члены предложения не имеют стандартного формального выражения, и человеческий мозг опознает их не только по форме, но и по значению; формально (по своему морфемному составу и местоположению) различные слова входят в синтаксические классы, которые мы называем членами предложения,— входят на основе общности или тождества грамматического значения. Поэтому члены предложения могут иметь и имеют свои вероятностные свойства и могут быть охарактеризованы приемами статистического анализа, в частности, при помощи ВДП, но они не могут быть выделены и распознаны никаким алгоритмом статистико-комбинаторного моделирования (речь, разумеется, идет не о решении какой-то частотной задачи синтаксического распознавания, а о принципе).

Примерно то же можно сказать и о лексике. И не случайно, конечно, в главе, обсуждающей возможности статистического, «без обращения к смыслу», выделения лексико-семантических групп полей, есть много интересных и поучительных мыслей, но нет и намека на алгоритм.

В пределах одной рецензии нет возможности рассмотреть, хотя бы бегло, все проблемы и вопросы, поставленные в книге Н. Д. Андреева. Книга ими богата, кажется даже — перенасыщена. Может быть, было бы лучше для читателя и автора сохранить монографический характер исследования и не превращать его в подобие учебного пособия по общему языкознанию. Впрочем это право автора, и его нельзя оспаривать.

В той мере, в какой мне удалось уловить сущность методического алгоритма, описанного в рецензируемой книге, он представляется интересным, поучительным опытом, еще не завершенным. Он не дает оснований надеяться на возможность полного формального анализа языка «без обращения к смыслу». В этом отношении алгоритм Н. Д. Андреева ожидает такая же участь, как и ранее испытанные на этом пути лингвистические методики. Этот алгоритм, вместе с тем, обогащает си-

стему методических инструментов, известных языкознанию, и тем самым расширяет его возможности. Новые опыты применения алгоритма и теоретическая оценка его работы позволяет внести в него необходимые изменения.

Книга же в целом поможет читателю-лингвисту задуматься над многими проблемами и вопросами современного языкознания, над перспективами его ближайшего развития и их связью с научными традициями, над ролью ученых в этом развитии — желаемой и действительной, над их поисками, иллюзиями, ошибками и реальными открытиями.

Б. Н. Головин

В. С. Соколова. **Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы.** — Л., изд-во «Наука», 1967. 158 стр.

Книга В. С. Соколовой представляет собой новое в иранистике и во многом необычное по методике исследование: работа посвящена сравнительно-историческому анализу бесписьменных и до последнего времени малоизученных иранских языков памирской группы. Сбор материала по этим языкам и углубленное изучение их в синхронном плане почти целиком составляют заслугу отечественного языкознания, причем именно В. С. Соколова, помимо сбора и публикации обширного материала по отдельным языкам этой группы, впервые провела их детальное фонетическое и фонологическое исследование, дала общее описание их строя [1].

Опыты сравнительно-исторического изучения северно-памирских языков начались еще в прошлом веке, как только первые — весьма скудные и несовершенные — сведения о них начали входить в научный обиход [2], и предпринимались спорадически [3] по мере поступления новых (обычно весьма фрагментарных) материалов. Однако глубокое систематическое исследование стало возможным только после выхода в свет в 50—60-е годы XX в. ряда больших работ, дающих как достаточный фактический материал в адекватной записи, так и описательный анализ его, выполненный на современном уровне.

Хотя диахроническое изучение этих языков с использованием нового материала уже начато [4], сравнительно-историческое исследование всей северно-памирской группы продолжало оставаться одной из первоочередных задач памироведения, и в этом плане работа В. С. Соколовой может быть названа в подлинном смысле слова пионерской.

Книга В. С. Соколовой посвящена сравнительно-историческому анализу языков северно-памирской группы: язгулямского языка и шугнанской или, как ее чаще называют, шугнано-рушанской языковой группы, состоящей из четырех близкородственных языков или диалектов [5]: шугнанского (с баджувским диалектом или поддиалектом), рушанского (с хуфским диалектом), бартангского (с орошорским диалектом) и сарыкольского.

Во «Введении» (стр. 3—6) автор кратко формулирует проблематику и задачи работы, сообщает основные сведения о месте распространения языков, называет материалы, на которых базируется исследование.

Первая часть книги — «Современные отношения язгулямского языка и шугнанской группы» (стр. 7—21) — посвящена установлению черт материального сходства и расхождения между язгулямским языком и шугнанской группой. В ней анализируются как общие элементы (в лексике, формантах словоизменения и словообразования, а также отдельные об-

---

[1] См.: В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, II, М.—Л., 1953; ее же, Рушанские и хуфские тексты и словарь, М.—Л., 1959; ее же, Бартангские тексты и словарь, М.—Л., 1960; ее же, Шугнано-рушанская группа, «Языки народов СССР», I — Индоевропейские языки, М., 1966.

[2] См., например: R. B. Shaw, On the Ghalchah languages (Wakhi and Sarikoli), «Journal of the Asiatic Society of Bengal», XLV, pt. 1, N 2, 1876; его же, On the Shighni (Ghalchah) dialect, «Journal of the Asiatic Society of Bengal», XLVI, pt. 1, N 2, 1877; W. Tomaschek, Centralasiatische Studien. II. Die Pamir-Dialekte, «Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse, 96, I—III, 1880; W. Geiger, Zur Kenntnis der Pamir-Dialekte, KZ, XXVIII (Neue Folge—VIII), 1887; К. Залеман, Шугнанский словарь Д. Л. Иванова, сб. «Восточные заметки», СПб., 1895.

[3] R. Gauthiot, Notes sur le Yazgoulami, dialecte iranien des confins du Pamir, JA, VII, 2, 1916; G. Morgenstierne, Notes on Shughni, NTS, I, 1928.

[4] См., например: Р. Х. Додыхудоев, Материалы по исторической фонетике шугнанского языка, Душанбе, 1962.

[5] Отсутствие письменности и литературной традиции на каком-либо из них и свободное взаимопонимание их носителей позволяют применить к ним и тот, и другой термин.

щие рефлексы в консонантизме), так и различающиеся (здесь рассматривается фонетический и фонологический строй, грамматические форманты и материальный инвентарь предлогов и послелогов, местоимений и, наконец, лексика). При анализе расхождений в современных системах вокализма автор указывает на чрезвычайную трудность установления закономерных соответствий в вокализме по одним лишь данным современных языков, поскольку вокализм настолько перестроился в них, что, например, современное язгулямское *а* может соответствовать любому шугнанскому гласному (стр. 15). Это положение убедительно иллюстрируют скрупулезно подобранные примеры на стр. 16 (кроме примера на глагол «бежит», который в язгулямском звучит *γezd*, см. стр. 84).

В выводах к этому разделу В. С. Соколова вполне справедливо, как представляется, полагает, что схождения между язгулямским языком и шугнанской группой настолько значительны, что дают полное основание предполагать в прошлом шугнано-язгулямскую общность. «Однако,— пишет далее автор,— доказать это предположение можно, только убедившись в том, что ни одно из расхождений... не препятствует возведению обоих языков к общему исходному состоянию. Для этого необходим исторический анализ каждого различающего признака» (стр. 21). Затем автор указывает, что поскольку наибольшие расхождения отмечаются в системах вокализма, то без уверенности в том, что их можно возвести к общей исходной системе, рассмотрение других расхождений было бы безрезультатным, поэтому автор ставит перед собой задачу рассмотрения вокализма по этапам: «1) установления исторических соответствий гласных в шугнанской группе и реконструкции на этом основании общешугнанского вокализма, 2) установления исторических соответствий язгулямских гласных и реконструкции раннеязгулямского вокализма, 3) сравнения восстановленных систем вокализма и, если это окажется возможным, реконструкции общего шугнано-язгулямского вокализма» (стр. 21).

Этим вопросам вокализма уделяется значительное внимание (стр. 22—101) в основной части книги — «Исторический анализ язгулямо-шугнанских расхождений» (стр. 22—123). В разделе, посвященном вокализму шугнано-рушанской группы, В. С. Соколова, проанализировав современный состав вокализма и позднейшие фонетические преобразования, подробно рассматривает далее рефлексы в вокализме живых языков этой группы всех гласных, постулируемых для древнеиранского уровня: монофтонгов, дифтонгов, сочетаний типа **ay*, **āy*, **aw*, **āw*, древних **ṛ*, **ar*, а также — отдельно — рефлексы древнеиранского гласного из и.-е. **m̥*, **n̥*. При этом подробно анализируются различные рефлексы каждого древнего гласного или сочетания в различных фонетических условиях; например, стр. 24—29 посвящены отражению в языках шугнанской группы древнеиранского **a*: под ударением (в нейтральном положении, в положениях *i*-умлаута и *a*-умлаута), в безударной позиции, в начале и исходе слова, с учетом типа слогов (закрытых одним или двумя согласными и т. д.) и грамматических форм, объясняющих характер умлаутирования и т. п. Таким же образом рассматриваются рефлексы остальных гласных и сочетаний. Затем реконструируется общешугнанский вокализм, который В. С. Соколова представляет в следующем составе: *ō* (<др.-иран. **a*), *ō̄* (<др.-иран. **ā*), *a*, *ā* — из умлаутированных вариантов др.-иран. **a* (>*ā*) и **u*, **ū* (>*a*), *i* (<др.-иран. **i*, **ī*), *u* (<др.-иран. **u*, **ū*), *ə*; дифтонги *ej*, *ou* (из др.-иран. **aj*, **aw*). При этом дается подробная историческая и артикуляционная характеристика каждой фонемы и указываются различные пути развития, заложенные в этой системе и реализованные впоследствии в языках шугнанской группы.

После подобного же анализа рефлексов древних гласных в современном язгулямском вокализме автор приходит к выводу, что раннеязгулямский вокализм был по своему составу общим с общешугнанским, лишь с несущественными фонетическими отклонениями. В разделе, посвященном шугнано-язгулямскому вокализму, подводятся некоторые итоги в отношении фонетических признаков фонем и сочетаний, реконструируемых для общего шугнано-язгулямского языка, обусловивших впоследствии различные рефлексы этой общей системы.

В разделе «Консонантизм» (очень кратком по сравнению с разделом «Вокализм» — стр. 101—105) рассматриваются лишь отдельные черты и фонемные ряды, в основном — огубленные согласные в язгулямском и явления исторической палатализации и ассибиляции в шугнано-рушанской группе.

В разделе, посвященном грамматике (стр. 105—120), в историческом плане анализируются некоторые грамматические черты сравниваемых языков (категории рода, числа, префиксация глагола, формы инфинитива, инвентарь предлогов и послелогов).

Анализируя лексику (стр. 120—123), автор указывает, что лексические расхождения, как и расхождения в наличии или отсутствии некоторых формантов и категорий в грамматике, не могут служить классификационным признаком, так как они могут быть поздними (стр. 120). В. С. Соколова производит здесь лексико-статистические подсчеты, согласно которым можно предположить, что обособление язгулямского языка от шугнано-

язгулямской общности могло наступить примерно 1300—1400 лет назад (стр. 123).

В «Заключении» (стр. 124—125) дана схема генетического «древа» северопамирской группы. Здесь же намечаются дальнейшие перспективы работы в этой области. Актуальной задачей признается восстановление общешугнанского, а затем — язгулямо-шугнанского языка. Дальнейшей задачей генетических исследований явится, по мнению В. С. Соколовой, «определение следующего по времени этапа памирской языковой общности» (стр. 124). При этом автор отмечает, что ни один из других памирских языков непосредственно к язгулямско-шугнанской общности возведен быть не может, и иллюстрирует это положение языковыми фактами.

Даже из этой краткой аннотации видно, что В. С. Соколова избрала для своей работы совершенно нетрадиционную и даже несколько неожиданную структуру. Для работы такого плана скорее ожидалась бы процедура сопоставления фактов современных (или зафиксированных в памятниках письменности) языков, выявления закономерных соответствий и на этом основании выведения общего прототипа или выяснения степени близости языков [6].

Как отмечает В. С. Соколова, придерживаться такой процедуры для северопамирской группы было бы чрезвычайно трудно из-за обилия рядов соответствий в вокализме, убедительно проиллюстрированных на стр. 16 (соответствия язгулямского *a* любому шугнанскому гласному). Поэтому группировка современных гласных по признаку отражаемого ими предполагаемого древнеиранского гласного в целом представляется удобной и потому целесообразной. Вместе с тем она вызывает некоторые соображения методического порядка.

Дело в том, что о фонологической системе общего древнеиранского состояния известно немного. Общий уровень, выводимый из сравнения древнеперсидского языка (принадлежащего к юго-западной группе иранских языков) и авестийского (диалектная принадлежность которого не установлена), по-видимому, не является обязательно общим древнеиранским уровнем, а может отражать лишь часть древнеиранских диалектов. О том, насколько неточна схема, которую мы пока вынуждены принимать как общую древнеиранскую, говорит очень тонкое наблюдение В. С. Соколовой о различии в некоторых случаях рефлексов древнеиранского **a* из индоевропейских гласных и древнеиранского **a* из индоевропейских носовых сонантов **m̥* и **n̥* (стр. 37, 62—63). Таким образом, установление фонемного состава общего древнеиранского языка — дело будущего, и, по-видимому, материалом для его реконструкции будут во многом служить данные современных языков и данные реконструкции «групповых праязыков». И здесь может возникнуть вопрос: в какой мере данные реконструкций «групповых праязыков», полученные с ориентацией на гипотетические древнеиранские данные, могут быть применимы как исходные для реконструкции общего древнеиранского уровня?

Очень плодотворным представляется рассмотрение развития вокализма современных северопамирских языков с точки зрения существования в них на предшествующем этапе явления умлаута. В. С. Соколова выделяет два типа умлаута: 1) положение *i*-умлаута (т. е. положение гласного перед слогом с гласным **i*, согласным **y* или иногда перед среднеязычными согласными) и 2) положение *a*-амлаута (т. е. позиция гласного перед слогом с гласным **ā*, часто это — грамматические формы женского рода или множественного числа). Само постулирование умлаута, особенно — *a*-умлаута, для северопамирских языков является необычным и весьма интересным. Аргументация автора и тщательно подобранные примеры представляются весьма убедительными. Думается, что дальнейшая разработка явления умлаута в истории памирских языков была бы очень перспективной. Здесь могут лишь быть высказаны некоторые соображения о синхронной характеристике и об исторической судьбе согласных, стоящих между «умлаутированной» и «умлаутирующей» гласными. Если при *a*-умлауте согласный не подвергался, по-видимому, заметным изменениям, то у согласного при *i*-умлауте возможности могут быть различными [7]. В. С. Соколова принимает положение о палатализации в древних языках в этой позиции, помимо **k* и **g*, также **r*, **t* (ϑ), **d* (δ) и в меньшей степени **p*, **b*, **n* (стр. 31). Думается, что эта точка зрения требует дополнительной проверки. У нас нет надежных рефлексов, подтверждающих палатализованное произношение этих согласных в древнеиранских языках, а они должны были бы быть, если бы палатализация в этой позиции была ярко выраженной (см. соображения Г. Моргенстьерне о невозможности палатализа-

[6] Из последних работ такого типа в индоиранистике см.: Debi Prasanna Pattanayak, A controlled historical reconstruction of Oriya, Assamese, Bengali and Hindi, The Hague — Paris, 1966, где хинди взят как контрольный язык при определении общности восточноиндийской группы.

[7] Ср. мнения германистов о согласном при умлауте в германских языках: «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 155—156.

ции k, g и x в языке Авесты [8]. Шугнанская палатализация древних $*k$, $*\gamma$, $*x$, $*\gamma$ ($\check{z}$), $*\check{c}$, $*\check{s}$, отмечаемая В. С. Соколовой (стр. 103 и сл.), произошла, по-видимому, в более поздний период.

Кроме того, позиционная нефонологическая палатализация согласных, отмечаемая графически в тексте Авесты [9], еще не означает обязательного наличия палатализации в древнеиранский период в других иранских языках. Кстати, она не означает даже обязательного наличия палатализации в древнейший период существования самого языка Авесты, так как могла быть присущей лишь диалектной произносительной норме более позднего времени — периода письменной фиксации Авесты. Поэтому, как представляется, вопрос о палатализации согласных в этой позиции должен рассматриваться с большой осторожностью.

Вряд ли можно также с полной уверенностью поставить в один ряд с явлением палатализации переходы типа d (δ)$>$ y или $d > l$, поскольку первый переход может быть объяснен и иначе: постепенным ослаблением и выпадением d (через ступень δ) и затем появлением y на месте хиатуса; переход $d > l$ (аналогичный $\underset{\cdot}{d} > \underset{\cdot}{l}$) встречается в целом ряде языков как иранских (пушту, мунджанском, отчасти, возможно, ишкашимском), так и дардских (прасун) и древнеиндийском, для которых палатализация в целом не характерна.

Убедительным в общем представляется реконструируемый В. С. Соколовой состав гласных фонем общешугнанского и язгулямо-шугнанского языков. Думается, принятая фонологическая система вполне объясняет все дальнейшие пути развития. Некоторые соображения можно высказать лишь в плане фонетической характеристики некоторых из реконструируемых фонем. В принципе при реконструкции фонологической системы какого-либо праязыка трудно было бы требовать подробного фонетического описания функционирования реконструируемых фонем. В. С. Соколова, тем не менее, дает такое описание (стр. 63 и сл.), и именно его точность внушает некоторые опасения. Так, реконструируемая фонема $\bar{\ddot{o}}$, по описанию, является гласным переднего, позиционно также заднего ряда, нейтральным по признаку огубленности и занимает практически весь верхний подъем (4 и 5-ю ступени по системе 6 ступеней Л. В. Щербы), т. е. /ȫ/ охватывает звукотипы $\bar{\ddot{o}}$, e, ε, $\bar{\text{ɔ}}$, ɔ, $\bar{\ddot{u}}$, u. Думается, при таком детальном описании большой широты охвата звукотипов этой фонемой (по сравнению с другими реконструируемыми фонемами, кроме $\bar{\ddot{o}}$) возможна опасность того, что мы можем спроецировать на язгулямо-шугнанскую плоскость слишком многие фонетические характеристики современных рефлексов этой фонемы по разным языкам этой группы. Точно так же можно предположить, что фонема $\bar{\ddot{o}}$ в основном была представлена звукотипами среднего ряда верхнего подъема (типа ы) с нейтральной огубленностью, а все современные ее рефлексы переднего и заднего рядов, огубленные и неогубленные, развились позднее из продвинутых вперед и назад, огубленных и неогубленных вариантов. Кстати, думается, развитие язгулямского $\hat{u}$ из $*\bar{\ddot{o}}$ при одновременном развитии o из $*u$ легче было бы представить именно при характеристике $*\bar{\ddot{o}}$ как гласного среднего ряда, который в язгулямском постепенно продвигался назад, в то время как в заднем ряду $*u$ продвигался вниз — через ступень $*\hat{u}$ в o. Иначе, при наличии в заднем ряду одновременно $\hat{u} < *\bar{\ddot{o}}$ и промежуточного $\hat{u} < *u$ произошло бы полное слияние этих двух фонем. Кроме того, характерно, что современное язгулямское $\hat{u}$ может, в отличие от других фонем заднего ряда, заметно продвигаться вперед, и не исключено, что это — остаточная возможность, связанная с прежней его артикуляцией.

Как и во всякой работе, охватывающей большой языковой материал и являющейся первым обобщающим трудом, в книге В. С. Соколовой есть отдельные моменты, которые могут вызвать некоторые вопросы и возражения частного характера (что никак не умаляет общей ценности работы). Можно указать на следующие:

Если принять, например, вслед за автором, что шугн., руш., барт. *biδán*, язг. *bəδán* «седло» восходят к $*upa\text{-}danā^{?}$ (стр. 39) или $*api\text{-}danā$ (стр. 67), то неясным остается происхождение язг. *avδén* «уздечка (с удилами)», во всяком случае возведение его к $*api\text{-}danā$ становится уже невозможным, так как $*a$ в позиции a-умлаута перед $-n$ не мог дать и $\bar{a}$ (*bəδán*) и e (*avδén*). Можно только попытаться возвести *avδén* к каузативной основе на *-aya*, однако семантическое объяснение было бы трудным. Такие же неясности возникают и при сопоставлении ряда слов с историческим суффиксом вместилища $*\text{-}dāna$ (стр. 84). Если принять, что в язгулямском $*\bar{a}$ перед n дает $ə$, например *ϑən* «очаг» $< *atr\text{-}dāna$ (в язгулямском именно *ϑən*, а не *ϑen*, ср. стр. 14), ср. руш., барт. *arδδn*, то непонятным остается развитие в язгулямском же a в словах *kərğəδán* «куритник» и *waxtán* «сеновал» (барт. *waxtδn*). Если же предположить для этих двух слов a-умлаут, как предлагает автор (стр. 84), становится неясным, почему в язгулямском умлаутная и неумлаутная исходные дают различные рефлексы (*waxtán* и *ϑən*), а в бартангском — одинаковые (*waxtδn*, *ar-*

[8] G. Morgenstierne, Orthography and sound-system of the Avesta, NTS, XII, 1942, стр. 56.

[9] Там же, стр. 55 и сл.

δôn). Думается, в этих случаях нельзя исключить возможность ранних заимствований из одного языка этой группы в другой, тем более, что эти перебои выявляются в словах ярко выраженного культурного слоя. Некоторые частные замечания можно высказать в отношении язгулямского материала.

На стр. 17 указывается, что в шугнанской группе имеется чередование гласных под ударением, отсутствующее в язгулямском, и в качестве примера приводится огласовка глагола в настояще-будущем времени в 3-м лице ед. числа, отличающаяся от огласовки остальных лиц и чисел (например, шугн. *vâ̆rum* «принесу» — *vīrd* «приносит», язгулямские соответствия *varîn* — *vard*). Для язгулямского этот пример неудобен, поскольку ударение в нем падает на флексию, и здесь чередование не было бы чередованием под ударением. Вместе с тем примерно четвертая часть всех глаголов имеет различия между огласовкой 3-го лица ед. числа и остальных форм; ряд глаголов, кроме того, имеет различия в огласовке между формами 3-го лица ед. числа и повелительным наклонением, что является уже чередованием гласных под ударением: *yasîn* «уношу» — *ayêst* «уносит» — *ayâs* «унеси», *ǵanîn* «проливаю» *ǵint* «проливает» — *ǵan* «пролей», *lafîn* «говорю» — *left* «говорит» — *laf* «говори» и т. д.

Первый компонент язгулямского *δus-γibêk* «веретено для скручивания толстых нитей из козьей шерсти» (стр. 80) естественнее было бы сопоставить со словом *δus* «грубые нити из козьей шерсти», чем с *δûst* «рука» (*δus* + причастие настоящего времени глагола *γib* : *γibt* «прясть», буквально означает «толстые нити из козьей шерсти прядущее», ср. *ri wašék* «полотенце», буквально «лицо вытирающее», *surat nyasék* «фотоаппарат», буквально «портрет берущее», и т. п. частые новообразования), тем более, что для обозначения обычного веретена в язгулямском используется другое слово — *čalâk*.

К работе можно сделать отдельные дополнения. Так, к отмеченным (стр. 108) двум язгулямским глаголам с историческим превербом **fra-* можно было бы добавить третий: *anəs-*: *anux̆t* «забывать» (соответствует шугн. *rinēs*: *rinūx̆t* с *ri*< **fra-*), с отпавшим начальным **x̆-* из **fr-* и сохранением *a-* во всех глагольных формах, в то время, как все остальные глаголы с начальным *a-* (по-видимому, из **apa-*) теряют это *a* — в пред-предударной позиции: *ayêst* «уносит», *ayâs* «унеси», но *yasîn* «уношу».

Эти частные замечания, дополнения и соображения нисколько не умаляют ценности работы, являющейся первым фундаментальным исследованием такого рода в иранистике и открывающей новый этап в изучении бесписьменных памирских языков. Думается, что основные идеи книги найдут развитие в дальнейших трудах по памирским языкам.

Д. И. Эдельман

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1969

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

СИНГАРМОНИЗМ, УДАРЕНИЕ И ПРОСОДИЯ СЛОВА

Полемический характер статьи Т. А. Бертагаева «Сингармонизм, ударение и изменение звукового состава слова» (ВЯ, 1968, 2), направленной против определенной и достаточно распространенной интерпретации сингармонизма, требует некоторых ответных разъяснений относительно той точки зрения, которую критикует Т. А. Бертагаев и которой придерживаются авторы настоящей заметки, опиравшиеся на авторитетные мнения А. Шлейхера, И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. В. Радлова, Н. С. Трубецкого.

Основной упрек, бросаемый Т. А. Бертагаевым теоретикам сингармонизма и их последователям, состоит в том, что сингармонизму придается чересчур большое типологическое значение якобы за счет дискриминации других не менее важных просодических средств — ударения, интонации, звуковых преобразований в словах и морфемах. Автор ссылается на ряд агглютинативных языков, в которых отсутствует сингармонизм, полагая, что этого достаточно, чтобы усомниться в типологической значительности сингармонизма как фономорфологического явления языков агглютинативного типа. Фактическая аргументация извлекается «из монгольских языков, признанных классическими в смысле своей агглютинативности» (стр. 108).

Надо заметить, что императивность вывода «если агглютинация — то сингармонизм» действительно является ошибкой, но ведь вопрос так и не ставится. Хотя морфологический тип языка служит необходимым условием развития некоторых фонологических явлений, из этого не следует однозначная обусловленность сингармонизма агглютинацией. Универсальный характер носит лишь обратная зависимость: если язык сингармонический, то он должен быть агглютинативным. Примечательно, что в языках Африки, где сингармонизм вообще менее показателен, чем в урало-алтайских (так называемых туранских), гармонизируются нередко лишь те морфемные объединения, которые характеризуются агглютинативным сцеплением, например, «префикс + корень». Агглютинация создает достаточные предпосылки для развития сингармонизма, но реализация этой потенции зависит и от ряда прочих факторов, в частности, от общих типологических особенностей фонемной и просодической системы языка. Можно установить определенные соответствия между наличием и характером тонов и ударений, с одной стороны, и наличием и типом сингармонизма, с другой стороны,— эти соответствия носят, по-видимому, характер типологической универсалии и объясняют отсутствие сингармонизма в таких агглютинативных языках, как японский [1].

Если подобная зависимость сингармонизма от более общих фонологических и грамматических особенностей языка еще, может быть, и не доказывает его просодического, суперсегментного характера, то во всяком случае она свидетельствует о том, что сингармонизм явно не укладывается в рамки «заурядной» звуковой ассимиляции с ее чисто речевыми, физическими характеристиками. Но на самом деле уже сравнение сингармонизма с ударением позволяет судить об их дополнительности в рамках просодической системы сингармонических языков (а в тональных языках сюда включаются также тоновые признаки). Известные положения Бодуэна де Куртенэ об ударении в индоевропейских языках и сингармонизме в урало-алтайских, на которые ссылается Т. А. Бертагаев, проливают свет не только на специфику сингармонизма как средства цельнооформленности урало-алтайского слова, но позволяют также понять и специфику урало-алтайского ударения в его отношении к сингармонизму.

Индоевропейское ударение является более мощным просодическим маркером единства слова, чем урало-алтайское ударение или сингармонизм, не только вследствие своих спонтанных особенностей (парадигматическая и синтагматическая подвижность), но и вследствие фузионного принципа морфологической структуры индоевропейского слова. Ударение

[1] См.: В. А. Виноградов, Сингармонизм и фонология слова. Автореф. канд. диссерт., М., 1966, стр. 18.

в этом случае маркирует слово и как элемент линейной (морфологической и фонологической) последовательности компонентов, образующих цельную единицу (делимитативная функция), и как элемент парадигмы (кумулятивная функция). Если трактовать ударение функционально, то оно может быть определено как просодический маркер определенной сегментной единицы, конкретная реализация которого может быть самой различной. В индоевропейских языках это «функциональное ударение» (или акцент) имеет две разновидности — кумулятивную и делимитативную (пограничные сигналы), но обе они служат одной цели — маркировать слово, т. е. обеспечивать его единство и отдельность (если пользоваться терминологией А. И. Смирницкого). Связь этих двух разновидностей словесного акцента характеризуется их компенсационной взаимозависимостью: как показал Э. А. Макаев, максимум кумулятивной организованности слова предполагает минимум пограничных сигналов, и наоборот [2].

Иной характер урало-алтайского ударения и урало-алтайского морфологического типа обусловливает те существенные особенности фонологического оформления слова, которые отмечены Бодуэном де Куртенэ. Как правило, все сингармонические урало-алтайские языки характеризуются фиксированным ударением, и эта особенность резко ограничивает различительные способности ударения. Оно уже не может выступать в роли просодического дифференциального признака при построении морфологической парадигмы, как индоевропейское ударение, и ограничивается главным образом делимитативной функцией, т. е. служит маркером единства слова в синтагматическом плане. Функцию же парадигматического «организатора» принимает на себя сингармонизм — наиболее подходящее средство морфонологического обеспечения того принципа, который Б. А. Серебренников называет аксиальной структурой парадигмы [3] и который определяет специфику урало-алтайской морфологии.

Таким образом, функции, которые совмещает в себе индоевропейское ударение, в урало-алтайских языках поделены между ударением и сингармонизмом. Поэтому есть все основания говорить о сингармонизме в одной плоскости с ударением, и определять сингармонизм как важное суперсегментное явление соответствующих языков вовсе не означает дискредитировать ударение, поскольку они являются двумя дополнительными проявлениями одного и того же структурного феномена — словесного акцента. Что же касается других фонологических средств, используемых в аналогичных целях, например, звуковых изменений и чередований, то сам Т. А. Бертагаев признает их второстепенность, отмечая нерегулярность и разнохарактерность их проявления. Естественно, что в поле зрения исследователей оказывались в первую очередь регулярные и единообразные процессы и что теория сингармонизма разрабатывалась на том материале, который представляет сингармонизм как норму, а не как деградирующее явление, т. е. на материале главным образом тюркских языков, наиболее последовательных в отношении сингармонизма. Поэтому опровержения Т. А. Бертагаева несколько удивляют: мы писали о сингармонизме как о некотором «идеальном» типологическом явлении (почему, например, девятая гласная казахского языка /ə/ не принималась в расчет, так же, как и долгие киргизские — новые — и туркменские — старые — гласные). В работах А. А. Реформатского и В. А. Виноградова речь шла о типологическом явлении, т. е. об определении координат и параметров типа языка в его полном становлении, а Т. А. Бертагаев в своей статье все время опирается на примеры разложения сингармонизма или его «полного отсутствия», а об этом авторы данной заметки не писали и не собирались пока писать.

Таким образом, ссылки Т. А. Бертагаева на случаи нарушения сингармонических моделей в монгольских языках не опровергают интерпретации сингармонизма как типологически значимого суперсегментного явления, а лишь переводят обсуждение вопроса в другой аспект, связанный с новейшими морфологическими тенденциями сингармонических языков, в частности, с вопросом о развитии фузии, которой отмечены некоторые аффиксы монгольских (см. примеры, приводимые Т. А. Бертагаевым на стр. 109) и других языков и которая ослабляет действенность и необходимость сингармонизма. Главный тезис Т. А. Бертагаева: «Сингармонизм не является суперсегментом ни по своей акустико-физической природе, ни функционально» (стр. 107) — аргументируется автором весьма аподиктически: сингармонизм является «следствием прогрессивной ассимиляции» (там же). «Поэтому-то нарушение сингармонизма или его исчезновение в ряде случаев никак не отражается на существе слова» (там же) — с таким поворотом обсуждения спорить трудно! Тем более, что аргументация Т. А. Бертагаева все время опирается на аномальные случаи нарушенного сингармонизма.

Если же рассматривать сингармонизм как фонологический тип оформленности

---

[2] См.: Э. А. Макаев, Язык древнейших рунических надписей, М., 1965, стр. 94.

[3] Б. А. Серебренников, О причинах устойчивости агглютинативного строя, ВЯ, 1963, 1.

слова, то можно сказать словами Т. А. Бертагаева, что это «„покраска“ или „надстройка“, которой завершается доделка строения слова» (стр. 110) в монгольских и других, более последовательных в сингармоническом отношении, языках. Но тогда напрашивается вопрос, к какому же уровню принадлежит эта «надстройка»? К сегментному или суперсегментному? Т. А. Бертагаев уже ответил на этот вопрос на стр. 107, но тогда непонятно, зачем же называть сингармонизм «надстройкой»?

Между тем сингармонизм действительно надстройка над сегментной единицей, надстройка не случайная, обусловленная не просто ассимиляцией (всем языкам известна ассимиляция, но далеко не всем — сингармонизм), а определенными фоно-грамматическими особенностями языковой системы. Игнорирование функционально суперсегментного характера сингармонизма затемняет многие тонкости уровневой организации соответствующих языков и может приводить к парадоксам, подобным парадоксу корней *кам* «забота» — *кем* «недостаток» и аффиксов *-мак* — *-мек* в киргизском языке, решение которого возможно лишь при условии последовательно проведенного принципа иерархической стратификации в трактовке фонологического интерьера слова в сингармонических языках [4].

Таким образом, спора не вышло: мы вели речь о целостной и выдержанной системе данного явления, Т. А. Бертагаев — о его разложении и исчезновении.

В. А. Виноградов,
А. А. Реформатский

[4] О содержании и путях решения указанного парадокса см.: А. А. Реформатский, Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма, сб. «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 197—198.

К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАНТАХ

Замечания де Гроота, Е. Куриловича, В. В. Виноградова и других ученых об автономности некоторых обстоятельств и дополнений получили убедительное обоснование и дальнейшее развитие в исследованиях Н. Ю. Шведовой [1]. Работа Н. Ю. Шведовой вызвала широкий интерес ученых. Были высказаны и критические замечания [2]. Полагая, что решение полемических вопросов требует специальных исследований, мы хотели бы обратить внимание на некоторые новые аспекты проблематики детерминирующих распространителей.

Важный синтаксический признак детерминантов — их преимущественная препозиция в предложении (как на это указывает Н. Ю. Шведова). Значит, использование детерминирующих распространителей должно прежде всего отразиться на словопорядке синтаксических построений, в состав которых они входят. Это предположение обосновывается предлагаемыми ниже наблюдениями над конкретным языковым материалом.

Употребление детерминантов часто сопровождается обратным словопорядком основных компонентов предложения — сказуемое предшествует подлежащему. Ср. пример из прозы С. Антонова: «В небольшом подмосковном поселке, неподалеку от станции/*стояла* громадная двухэтажная *дача* Сапожниковых с множеством террас и балконов. Перед дачей / *был разбит* обширный фруктовый *сад*, где [3] *росли яблони*, *вишни*, *смородина* всех сортов, *крыжовник*. Сзади строения/ степенно *поднималась* на горку молодая березовая *роща*». Ср. еще примеры из того же автора: «Справа, в пустом тесном бору / еле заметно *белели столбики* с перекладинами»; «На Невском проспекте в этот хмурый ноябрьский день /*появился* пожилой *крестьянин*»; «В сквере слева /*виднелись ямы* бомбоубежищ, поросшие буйной травой»; «В 1941 году в мае, перед самой войной, / *вел Носов* пассажирский поезд...»; «У самого полотна, у будки, /*стояла* старая *женщина* и семи-восьмилетняя *девочка* в красном пальто»; «После занятий в школе у калитки в сад Владимира Ивановича /*остановился* худой и бледный *мальчик*, сильно вытянувшийся за последний год». Думается, что во всех этих случаях иной порядок слов был бы отклонением от языковых норм. Но эти наблюдения сами по себе еще не имеют должной доказательной силы: необходимо дополнительное изучение материала. Более надежные аргументы были обнаружены при анализе порядка слов предло-

[1] Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6.

[2] Ответ Н. Ю. Шведовой оппонентам дан в статье «Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения?», ВЯ, 1968, 2.

[3] Союзные слова мы считаем аналогами детерминантов.

жений с аналитическим сказуемым (формальный компонент — идеальный в своей отвлеченности глагол *быть* [4]).

При анализе словопорядка синтаксических конструкций с непростым сказуемым неизбежно возникает вопрос о том, какая из пермутаций структурно значимых компонентов предложения представляет «типично» обратный порядок слов. В построениях с тремя эксплицитно выраженными компонентами (подлежащее — П, формальный элемент сказуемого — *быть*, знаменательный элемент сказуемого — С) теоретически возможны шесть перестановок: 1) П + *быть* + С, 2) П + + С+*быть*, 3) *быть* + П + С, 4) *быть*+ + С + П, 5) С + П + *быть*, 6) С + *быть* + П. Казалось бы, основным репрезентантом обратного словопорядка должен быть шестой ряд: С + *быть* + П. Однако фактически эта роль отводится четвертому ряду (*быть* + С + П), а позиции остальных рядов, как правило, принадлежат периферии языка. Отвлекаясь здесь от истолкования этого явления, рассмотрим предложения со связкой и кратким страдательным причастием (типа *Фабрика была построена в 1968 г.*).

Из 1200 анализируемых предложений (наблюдения велись над языком писателей наших дней) в 798 представлен первый ряд (прямой порядок) и в 340 — четвертый ряд перестановок (обратный порядок). Синтаксические признаки предложений прямого порядка структурно противопоставлены признакам обратного порядка. Осью этого противопоставления является употребление детерминантов. В 330 случаях из 340 обратный словопорядок сигнализируется использованием обстоятельных и объектных распространителей. Убедительность цифр позволяет иллюстрировать данное наблюдение только некоторыми типами примеров. Автономность детерминантов по отношению к причастию особенно наглядно проявляется в сложных построениях, где детерминирующее обстоятельство или дополнение соотносится не только с предикативным причастием, но и с глаголом — сказуемым параллельного предложения. Ср.: «В „предбаннике“/*стоял топчан* Птицына, завешанный плащ-палаткой, и *была сложена* самодельная *печка*, зеркалом выходившая в другую, главную часть землянки» (К. Симонов). Ср. также примеры с двумя обстоятельственными детерминантами (места и времени): «Через два дня, в пятницу утром, на пути между хуторами Тубянским и Войсковым, на дороге, проходившей в шестидесяти метрах от отножины Кленового буерака/ *были убиты два заготовителя и одна из* упряжных *лошадей*» (М. Шолохов); «Вчера с наблюдательного пункта / *было замечено сосредоточение танков*» (К. Симонов).

Может показаться, что порядок следования компонентов, сопровождаемых детерминантами, обусловлен задачами актуального членения и, следовательно, не предопределяется собственно грамматической структурой языка. Но это возражение отводится: имеется еще один, несомненно, грамматический признак.

При прямом порядке слов в качестве подлежащего свободно используются как одушевленные, так и неодушевленные имена существительные. При обратном же порядке слов в подавляющем большинстве случаев в роли подлежащего выступают неодушевленные имена существительные (в 329 примерах из 340) [5]. Объяснение этого примечательного явления заняло бы много места. Нельзя, однако, не отметить, что эти конструкции выступают преимущественно в письменной речи. Особенно часто они встречаются в научных сочинениях. Здесь разнообразие синтаксических построений и грамматических признаков представляется избыточным и неоправданным [6]. Поэтому при наблюдениях над языком научных произведений (всего 760 примеров [7]) обнаруженные закономерности предстали в еще более строгом и однородном виде: обратный порядок слов [8] почти всегда сигнализируется детерминантами, во всех случаях в качестве подлежащего выступает неодушевленные имена существительные.

Итак, функционирование детерминирующих распространителей может быть связано с изменением линейной структуры предложения.

В. И. Чернов

---

[4] Выбор области наблюдений соответствует заключению Н. Ю. Шведовой о том, что при глаголах отвлеченной семантики «особенно наглядно выявляется отсутствие непосредственной синтаксической связи между глаголом и детерминирующим членом предложения» (ВЯ, 1964, 6, стр. 89).

[5] При обратном порядке слов тенденция к выражению подлежащего неодушевленными существительными прослеживается и в предложениях с иными типами сказуемого.

[6] Ср.: О. А. Лаптева, О некоторых синтаксических тенденциях в стиле современной научной прозы, сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка», М., 1966, стр. 186.

[7] Учитывался авторский текст следующих произведений: В. В. Виноградов, Из истории изучения русского синтаксиса, М., 1958; В. А. Истрин, 1100 лет славянской азбуке, М., 1963; «Советское языкознание за 50 лет», М., 1967.

[8] Здесь понятие «обратный порядок слов» используется номинально: так, в монографии «Советское языкознание за 50 лет» построения «обратного» порядка вдвое употребительнее построений «прямого» порядка (313 и 158 примеров).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УНИКАЛЬНЫЙ АВТОГРАФ ЖИТИЯ АВВАКУМА

В марте 1968 г. собрание древних рукописей Пушкинского дома пополнилось уникальным экспонатом: рижский собиратель рукописей Иван Никифорович Заволоко подарил Институту русской литературы АН СССР сборник сочинений-автографов известных русских писателей-старообрядцев XVII в. протопопа Аввакума и инока Епифания.

И формат рукописи (в 8 долю листа), и бумага (филиграни: голова шута с пятью бубенцами и буквы «MLI»), и переплет сборника (доски, обтянутые оленьей замшей), и даже сохранившаяся застежка из латуни, и тонкий кожаный ремешок-закладка — все это очень напоминает знаменитый «Пустозерский сборник» с автографами Аввакума и Епифания из собрания В. Г. Дружинина, хранящийся ныне в БАН СССР. Рукопись И. Н. Заволоко также была написана в Пустозерском остроге, где в земляной тюрьме были заключены писатели-«еретики», опасные враги церкви и государства, и, таким образом, представляет собой второй «Пустозерский сборник».

Но состав рукописи Заволоко иной, сборник много меньше дружининского по объему—всего 192 листа. В то время как первый «Пустозерский сборник» был создан как «корпус» основных сочинений пустозерских узников, написанных к 1672—1673 гг. (кроме сочинений Аввакума и Епифания, в него входили «Ответ православных», челобитные Лазаря, полемические сочинения о Никоне и др.), второй «Пустозерский сборник» более «камерный» по составу — он содержит лишь сочинения Аввакума и Епифания. В него входят: особая редакция «Жития» Аввакума, так называемая редакция «В» (лл. 1—115 об.), первая часть «Жития» Епифания (лл. 116—130 об.), сочинение Аввакума «о божестве и о твари» (лл. 130 об.— 162 об.), знаменитое рассуждение Аввакума о русском языке (лл. 162 об.— 163) и вторая часть «Жития» Епифания (лл. 165—190). Все тексты, составляющие сборник Заволоко, давно известны науке и опубликованы, но автографы многих сочинений обнаружены впервые — это автографы редакции «В» «Жития» Аввакума, его „похвалы" русскому языку и второй части «Жития» Епифания.

Достопримечательностью сборника является и рисунок, принадлежащий перу Аввакума. Иллюстрируя рассуждение аввы Дорофея «о любви», Аввакум изобразил главных врагов старообрядчества — Никона, митрополита Крутицкого Павла, епископа рязанского Илариона, «восточных» патриархов — Паисия Александрийского и Макария Антиохийского, принимавших участие в церковном соборе 1666—1667 гг., осудившем старообрядцев,—и сопроводил их изображения бранными надписями [1].

Особенностью оформления рукописи Заволоко является отсутствие заглавия у «Жития» Аввакума. Сборник начинается с аввакумовского изложения «Поучения аввы Дорофея», а известное по первому «Пустозерскому сборнику» заглавие «Жития» — письменное благословение инока Епифания, заключенное в рамку из нескольких концентрических кругов,— находится на обороте последнего листа рукописи (л. 192 об.) и осторожно подклеено к нижней крышке переплета. Сделано это было довольно скоро после написания, так как чернила надписи четко отпечатались на деревянной крышке переплета, а сам текст не отразился ни в одном из дошедших списков этой редак-

[1] Подробнее о рисунке Аввакума (и его воспроизведение) см.: Н. Черников, Книжница старой Руси, «Неделя», № 21 (429) от 19 мая 1968 г. Этот рисунок Аввакума впоследствии неоднократно копировался в поздних старообрядческих списках «Жития», причем следует отметить наиболее близкие копии его в рукописях ГБЛ, собр. Е. В. Барсова № 200, л. 6 и ГПБ, собр. Общества любителей древней письменности Q. 730, л. 6. В другой части списков, восходящей, по-видимому, к выговской рукописной традиции (все эти рукописи писаны поморским письмом), непритязательный рисунок Аввакума был заменен многоцветной «правильной» миниатюрой, а надписи Аввакума полностью переделаны [см. воспроизведение этого нового рисунка по списку из собр. В. Г. Дружинина № 245 (291) в кн. Я. Л. Барскова «Памятники первых лет русского старообрядчества», СПб., 1912, табл. XI].

ции «Жития». Весьма возможно, что подклейка эта была предпринята в конспиративных целях, для уничтожения явных признаков аввакумовского текста. Так и другое заглавие «Жития», более пространное и тоже написанное рукой Епифания («Многострадальный юзник темничной, горемыка, нужетерпец... священнопротопоп Аввакум...» и т. д.), было кем-то вынуто из рукописи, и в настоящее время лист с этим «надписанием» (оно помещено в прямоугольную рамку и находится на листе вслед за «похвалой кресту») просто вложен в сборник, причем вложен непосредственно перед второй частью «Жития» Епифания (возможно, что тексты были сближены впоследствии из-за одинаковости почерка). В тексте самого «Жития» Аввакума (на л. 3) выскоблено имя и отчество корреспондента, которому он отправил эту редакцию «Жития».

Владельцы рукописи, конечно, знали о том, что они хранят автографы «отцов старообрядчества»: на л. 191 читается карандашная помета, сделанная почерком конца XIX — начала XX в.: «Сия книга писана собственною рукою протопопа Аввакума и инока Епифания, отца его духовнаго». Сборник находился до последнего времени, как сообщил И. Н. Заволоко в докладе, посвященном истории находки, прочитанном в Пушкинском доме [2], в руках наследников А. В. Мараевой, известной собирательницы русской старины, жившей в г. Серпухове под Москвой.

Находка И. Н. Заволоко имеет несомненно очень большое научное значение и прежде всего для изучения текста, литературной истории и стиля «Жития» Аввакума. Сборник, найденный И. Н. Заволоко, безоговорочно доказывает принадлежность особой редакции «Жития» Аввакума — редакции «В» — перу самого Аввакума. А наличие достоверного авторского текста необычайно важно для исследования собственно авторских, творческих изменений в текстах редакций (изменения эти иногда весьма ощутимы: редакция «В», например, более ортодоксальна по сравнению с «А», редакцией первого «Пустозерского сборника»). Кроме этого важнейшего свойства автографа — свидетельства авторской аутентичности текста, рукопись, подаренная науке И. Н. Заволоко, много проясняет в тексте редакции, измененном впоследствии писцами и редакторами.

Редакция «В», отправленная для чтения частному лицу, известна лишь в небольшом количестве списков (до открытия И. Н. Заволоко их было только шесть [3]).

Сопоставление этих списков с автографом обнаруживает существование двух рукописных традиций воспроизведения текста Аввакума: одна восходит непосредственно к сборнику Заволоко, дословно копируя его текст (это рукописи ГБЛ, собр. Е. В. Барсова № 200, ГПБ, собр. ОЛДП Q. 730, ГПБ собр. А. А. Титова № 4218), другая отражает следы осторожной, но последовательной правки [это рукописи БАН, собр. В. Г. Дружинина № 245 (291), БАН, собр. А. Е. Бурцева № 10, ныне не отысканная рукопись Казанской духовной академии № 1679]. Именно этот, слегка измененный текст редакции «В» и был известен науке (по изданиям А. К. Бороздина [4] и Я. Л. Барскова [5]).

Сличение автографа с изданными списками редакции обнаруживает в них многочисленные ошибки и искажения текста. Неправильно были прочитаны писцом (и это закрепилось в последующей рукописной традиции и отразилось в изданиях) такие слова и выражения: в списках «...*там*, *никольскаго* протопопа Даниила» — в автографе «*темниковскаго* протопопа Даниила», в списках «коровы *там* возревели» — в автографе «коровы *ту* возревели», в списках «там снегу не живет, *там* морозы велики...» — в автографе «там снегу не живет — *так* морозы велики», в списках «Все добры, все *глядят*» — в автографе «Все добры, все *гладят*», в списках «помянуе» — в автографе «помянул» и т. д.

Можно отметить и ряд пропусков в списках «Жития» по сравнению с автографом: пропущено пояснение Аввакума к рисунку: "Зри круга начертание, о нем же святый авва рече" (л. 2), отсутствует окончание фразы «им, бедным, дал бог, лехче *от бесов стало*» (л. 43 об.) и др.

Текст Аввакума, хоть и в незначительной степени, но редактировался переписчиками. Особенно заметна тенденция к «славянизации», к стиранию ярких черт аввакумовского просторечия: пропускаются характерные для Аввакума разговорные частицы *де*, *су* — приметы его сказовой манеры, формы слов *княиня*, *посинял*, *чол*, *молыть*, *промолыл*, *едругорядь* последовательно выправляются в списках этой

---

[2] О докладе И. Н. Заволоко см. «Вечерний Ленинград» 20 III 1968.

[3] См.: В. И. Малышев, Заметка о рукописных списках Жития протопопа Аввакума (Материалы для библиографии), ТОДРЛ, VIII, М.— Л., 1951, стр. 380, 384—385.

[4] См. А. К. Бороздин, Протопоп Аввакум, 2-е изд., СПб., 1900, стр. 71—116 (по рукописи Казанской духовной академии № 1679).

[5] См. издания Я. Л. Барскова в кн.: «Памятники первых лет русского старообрядчества», СПб., 1912, стр. 163—228 (по рукописи собр. В. Г. Дружинина № 245 (219); «Памятники истории русского старообрядчества XVII в.», Л., 1927 («Русская историческая библиотека», 39; далее—РИБ), столб. 151—240 (по рукописи Казанской духовной академии № 1679).

группы на *княгиня*, *посинел*, *читал*, *молвить*, *промолвил*, *в другой ряд* и т. д. Слова *дьякон*, *дьявол*, *ночью*, *плачючи* передаются в списках как *диакон*, *диавол*, *нощию*, *плачющи*, слово *москвитин* — как *москвитянин*. Небольшое иногда исправление меняет весь рисунок образа: в списках «Авраамий... нравом Феодора *смиреннее*» — в автографе *смирнее*. Фраза «Посем друг наш, Никон, привез из Соловков Филиппа митрополита» (л. 21 об., так и в автографе «А») вызвала недоумение переписчика, и он счел нужным вставить пояснительное слово *мощи*: «привез *мощи* Филиппа митрополита».

Автограф не только уточняет, но кое-где и раскрывает подлинный текст Аввакума. Так, впервые выясняется композиция и состав начальной части этой редакции «Жития». Со времени первого издания редакции «Б» А. К. Бороздиным каноническим текстом ее был молчаливо признан текст казанского списка. Сила инерции была столь велика, что Я. Л. Барсков, издавая в 1912 г. эту редакцию по новому списку из собрания В. Г. Дружинина № 245 (291), исправил текст этого списка в соответствии с казанским, а при издании «Жития» Аввакума в 1927 г. в Русской исторической библиотеке избрал казанский список как основной список редакции. Главное отличие казанского списка от других, известных списков редакции «В», заключается в том, что начинается он с обращения Аввакума к «чтущим» и «слышащим», с его просьбы «не позазреть просторечия нашего», с его знаменитой похвалы русскому языку: «люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить...». Вслед за этим идет «похвала кресту» и «надписание» Епифания к «Житию» Аввакума («Многострадальный юзник темничной... священнопротопоп Аввакум...»), затем — «Поучение аввы Дорофея» и самый текст «Жития».

Рукопись Заволоко показывает, что обращение Аввакума к читателям и его «похвала» русскому языку — не начало «Жития», а отдельный фрагмент его сочинений, который можно рассматривать как завершение первой части сборника, состоящей из «Жития» Аввакума, первой части «Жития» Епифания и сочинения Аввакума «о божестве и о твари». Этот текст отделен в рукописи от предыдущих сочинений Аввакума характерной авторской пометой, означающей разделение текстов — особым узором из точек, а от следующей далее второй части «Жития» Епифания — чистым листом бумаги (л. 163 об.). Именно таким является порядок расположения сочинений Аввакума и во всех остальных списках редакции, за исключением казанского. Сложнее пока определить место «похвалы кресту» и надписания к «Житию», принадлежащих Епифанию: в сборнике Заволоко этот лист оказался не прикрепленным к корешку переплета и расположен перед второй частью «Жития» Епифания. Там же находится этот текст в поморской копии сборника Заволоко — в рукописи собрания В. Г. Дружинина № 245 (291). Однако в других рукописях, причем в рукописях, дословно воспроизводящих текст автографа (собрание Барсова № 200, собрание ОЛДП Q. 730), именно «похвала кресту» и текст «надписания» Епифания начинают «Житие» Аввакума и сборник в целом.

Автограф редакции «В» восстанавливает и целый фрагмент первоначального аввакумовского текста, исправленный впоследствии редакторской рукой Епифания. Во всех списках редакции «В» в описании пустозерской «казни» старца Епифания — «урезания» ему языка — идет текст, частично совпадающий с текстом из второй части «Жития» Епифания: «Старец же прекрестя лице свое, и рече на небо взирая: „Господи, не остави мя грешнаго, по*мози ми*!“ *И в то время божиим промыслом прииде на него некое забвение, яко сон, и не почул резания языка своего, только в мале в мале некак ощутил, яко во сне резание языка своего безболезненно, благодатию Христовою осеняемо*. Палач же пожалея старца, хотя ево руку по составам резать...» и т. д. [6]. Напомним, что именно этот текст послужил аргументом для относительной датировки второй части «Жития» Епифания, написанной, как считает А. Н. Робинсон, до редакции «В» [7].

Как выясняется из автографа, этот текст (в цитате он выделен курсивом) и был написан самим Епифанием, его рукой, на вклейке, поверх следующего текста, принадлежащего Аввакуму: «...Г(оспод)и, не остави мя, грешнаго, потяня своим(а) рукама язык свои; спекулатар же на но*ж* налагая, даже не милуя его режет. Палач же дрожа и трясыйся насилу выколупал ножем язык из горла, ужас бо обдержаше е(го) и трепетен бяше. Пала*ч* же пожалея старца, хотя ево руку по составам резать...» (л. 80).

Интересен самый характер этой переделки, отразивший разные принципы изображения событий. В тексте Аввакума, натуралистически описывавшем самый процесс казни, противопоставлены фигуры кроткого и твердого «старца» и дрожащего от страха «палача». Епифаний заменил рассказ Аввакума описанием своего духовного состояния во время казни и «чуда»-«забвения», сна, ниспосланного ему «божиим промыслом». Такая значительная правка Епифанием текста Аввакума встречается впервые и, видимо, она оказалась возможной потому, что Епифаний

[6] РИБ, стлб. 213.

[7] А. Н. Робинсон, Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и тексты, М., 1963, стр. 57—58.

счел себя вправе описание собственной казни представить в своей редакции.

Одновременно следует отметить, что это новое чтение автографа редакции «В» не позволяет считать текст второй части «Жития» Епифания первоначальным по отношению к редакции «В». Изучение автографа «Жития» Аввакума по рукописи Заволоко убеждает в том, что Аввакум переписывал этот текст с имеющегося у него черновика: он допускал пропуски, возможные лишь при механическом воспроизведении текста, и потом восстанавливал их над строкой (ср.: «на патриархове *дворе*», «не создан и *дух святый*», «В то время *и враги* кои были» — слова, отмеченные курсивом, вписаны над строкой на лл. 62 об., 11, 66 об.).

Интересно отметить, что первоначально, по-видимому, обе автобиографии — и «Житие» Аввакума и вторую часть «Жития» Епифания — не предполагалось объединить в одном сборнике: каждая из них направлялась своему адресату (вторая часть «Жития» Епифания начинается с обращения к «Афонасию»; хотя имя адресата «Жития» Аввакума стерто, но можно разобрать, что им был некий «Алексей» (отчество не поддается прочтению). Об автономности текстов свидетельствует и факт существования второй части «Жития» Епифания отдельно, вне совместного с Аввакумом сборника сочинений (здесь в ином сопроводительном тексте Епифаний адресует свое сочинение и другому лицу — Симеону [8]); об этом же говорит и свой, особый счет тетрадей, который вел каждый из них. Но был и такой период в работе Аввакума и Епифания, когда уже написанные кем-то из них тетради передавались другому «соавтору» для дальнейшей работы: так, Аввакум начинает переписывать свое сочинение «о божестве и о твари» на л. 130 об. сразу же вслед за автографом первой части «Жития» Епифания (явление, отмеченное для первого «Пустозерского сборника» А. Н. Робинсоном).

К сожалению, рукопись Заволоко не содержит новых данных для точной датировки сборника в целом и содержащегося в нем «Жития» Аввакума. Известно, что „предисловие" Аввакума в этой редакции может датироваться относительно точно 1675—1676 гг. [9]. Ко времени написания этого „предисловия" следует относить и окончательную редакторскую работу Аввакума над текстом этой редакции „Жития".

Отметим, однако, что нам представляется невозможным (по соображениям психологического порядка), чтобы Аввакум посылал «Житие», где о боярыне Морозовой упоминается как о живой, уже после ее смерти, причем вскоре после сообщения о ее смерти, последовавшей 2 ноября 1675 г. Хорошо известно то трагическое впечатление, которое произвела на Аввакума и его единомышленников смерть Ф. П. Морозовой и других боровских узниц. Поэтому кажется возможным рассматривать зиму 1675 г. как крайнюю нижнюю границу для датировки этой редакции «Жития», и для времени создания сборника в целом. С этим рассуждением согласуется и другая «реалия» текста: в новой редакции сохранилось упоминание о митрополите Павле, здравствующем «ныне» [10]; известно, что Павел умер также осенью 1675 г. — 9 сентября.

Созданный в период 1673—1675 гг. второй «Пустозерский сборник» представляет собой новый этап в идейном и художественном развитии Аввакума, и открытие И. Н. Заволоко — ценнейший вклад в историю русской общественной мысли, русской литературы и русского языка. Сборник нуждается в скорейшем издании и тщательном изучении.

Н. С. Демкова

---

[8] См.: А. Н. Робинсон, указ. соч., стр. 122, 207.

[9] П. С. Смирнов, [рец. на кн.:] А. К. Бороздин, Протопоп Аввакум, СПб., 1898, ЖМНП, 1899, январь, стр. 264—265.

[10] РИБ, стлб. 197.

ОТКАЗНЫЕ КНИГИ

В Центральном государственном архиве древних актов хранятся отказные книги XVII (главным образом) и XVIII вв., в которые записывали отказы или отделы различных угодий, отводимых в поместный оклад. В дореволюционное время эти книги находились в Московском архиве Министерства юстиции. Представляя собой огромную и необыкновенно ценную группу источников, они тем не менее пребывают в забвении и не пользуются вниманием исследователей, хотя в литературе и указывалось на необходимость их изучения. Со времени первой информации об этой группе рукописей минуло шесть десятилетий, прежде чем последовала, в недавнее время, вторая. Обращая внимание на отдел документов, известный под названием «Отказные книги», автор первого сообщения о них В. Н. Холмогоров писал: «Среди отказных книг встречаются также книги отдельные, сыскные,

раздаточные, раздельные и строельные, так что общее число всех книг достигает довольно значительной цифры—более 15 тысяч. Большая часть их распределена в особых томах по уездам, а остальные находятся при делах Поместного приказа и Вотчинной коллегии. Отказные книги... предназначались служить юридическим актом, закреплявшим недвижимые имения за владельцами» [1]. Вторая, более обширная работа, посвященная данным рукописям, принадлежит В. Б. Павлову-Сильванскому [2]. В ней показан процесс создания книг, рассмотрены их источники и выделены основные группы материалов, которые содержатся в этих книгах.

Отказные книги, насколько известно, со стороны языка не изучались. В этом нет ничего удивительного. Поскольку историки русского языка в течение последних десятилетий занимались не столько старинными рукописями, сколько их публикациями, а отказные книги не издавались, они для них и оказались недоступными. Попытаемся, хотя бы конспективно, показать лингвистическое значение этих важных источников, для чего воспользуемся двумя собственно отказными книгами из южновеликорусской области.

Отказные книги писались на местах, при этом обыкновенно такими писцами, которых с уверенностью можно считать носителями локальной речевой культуры. Книги содержат прямые указания на принадлежность их к местному населению. Так, писцы отказных книг № 15684 и № 15685, приуроченных к г. Курску, именуются курчанами. Вот некоторые данные из книги № 15684: «писал курченин Сидарка Иванов» (л. 114); «писал курчанин Микиоорка Ивановъ сын Кононавъ» (л. 129); «писал курскои губнои дьячок Наумка Кобатовъ» (л. 137 об.); «писал курченинъ Ивашка Гурьевъ снъ Протопопав» (л. 292 об.); «писал курскои площеднои дьячок Федка Кобатов» (л. 345); «писал курченин Ѳеонка Исаевъ» (л. 593); «писал курченин Васка Михаилов снъ Толмачовъ» (л. 649); «писал курченин Ѳролко Оорѣмов снъ Дроковцов» (л. 665). Этот список можно продолжить. Отдельные писцы принимали участие в составлении отказных книг в течение многих лет. К примеру, в 30—40-х годах XVII в. в курских книгах выступает писец Наумка Кобатов, в сороковые годы — писцы Протопоповы и т. д. В этом отношении отказные книги обладают несомненным преимуществом перед книгами писцовыми, составлением которых обычно занимались люди, присланные из Москвы, и обнаруживают местные языковые особенности. Поэтому отказные книги можно рассматривать как источник для исследования русской локальной речи в ее отдаленном прошлом.

Ценность отказных книг определяется не только тем обстоятельством, что писали их местные люди, в значительной степени не профессионалы-писцы (дьяки или подьячие), а грамотеи из военно-служилого населения, торгово-ремесленного посада, городской и иной администрации, а также из низшего духовенства,— но и особенностями их содержания.

Каждый «отказ» представляет собой отдельный, законченный поземельный акт. Вначале в нем говорится, по чьему челобитию возбуждается дело об отказе, затем называются лица, которым поручается выехать на место, в уезд, самым тщательным образом указывается место. Здесь посланные производят обыск, «сыскивают всякими сыски накрепко», обследуют угодья, о которых идет речь. Производится перепись угодий, проверка прав на владение ими. Наконец, в итоге всего производится отказ — выделение челобитчику той земли, на которую он претендовал, подавая челобитную. Разумеется, отказ производили при непременном участии свидетелей — «тутошних и сторонних людей».

Исторически сложившаяся процедура отказа и ее письменное оформление, вполне естественно, были стандартными и носили явную печать приказной регламентации. Общая, стандартная схема «отказа», его конструктивный «остов» воплощались в нормах языка московских приказов. Но этот формальный «остов» акта наполнялся конкретным содержанием, в котором находим отложения живых народных говоров. Сочетая в себе такие различные лингвистические компоненты, как жесткая структура приказного языка и стихия живой народной речи, отказные акты позволяют исследовать довольно сложное взаимодействие того и другого. Из развитой лексической системы приказного языка XVII в. привлекаются только такие элементы, которые для всех людей, имевших то или иное отношение к земельно-правовым установлениям, являются «своими», обыденно-привычными.

Исполненная в ключе приказного языка схема отказного, или отдельного, акта выглядит примерно так.

По челобитью (такого-то такой-то), взяв с собою тутошних и сторонних людей, сколько человек пригоже (в такой-то уезд, стан и поместье) ездил, да в том поместье по сыску своем переписал всякое угодье (следует описание угодий с указанием их владельцев), да к тем уса-

[1] В. Н. Холмогоров, Об «Отказных книгах», «Древности. Труды Археографической комиссии Московского археологического общества», 2, вып. 1, М., 1900, стр. 69.

[2] См.: В. Б. Павлов-Сильванский, Источники и состав отказных книг Поместного приказа (30—40 годы XVII века) (по материалам Вяземского уезда), «Археографический ежегодник за 1962 год», М., 1963.

дищам по той же выписи с книг пашни паханые и перелогу и дикого поля и дубравы (столько-то) в поле, а в дву по тому ж (по грамоте царя) и по сыску отказал (указывается, кому и сколько), а пашня им пахать через загон через десятину и сено косить и в леса въезжать и всяким угодьем владеть вопче с помещики с детьми боярскими. А на отказе (с таким-то) были (перечисляются тутошние и сторонние люди), а отказные книги писал (приводится имя писца).

Отказчики, как можно судить по их многочисленным отказам, неплохо знали эту схему и старательно ее придерживались. Это в какой-то мере свидетельствует об их осведомленности в приказном языке, в его наиболее привычных нормах, что не было редкостью: контингент земельных отказчиков достаточно обширен. Воеводы посылали на отказы не только административных дельцов, но и обывателей-горожан, кто оказывался под рукой и был к тому же грамотным. Среди отказчиков — обитателей Курска упоминаются, например, осадные головы Воин Анненков и Богдан Виденьев, подьячий Павлин Истомин, губные старосты Евсевий Стрекалов и Никифор Шуклин, курчане дети боярские Афанасий Быканов, Анисим Горбатый, Михайла Толмачев, Ларион Филиппов, Федос Шуклин и многие другие.

Лексическое наполнение отказной схемы знакомит нас с характерною для поместного землевладения той эпохи терминологией и фразеологией, с такими словами и выражениями, как например: *усадище*, *жеребей* «доля», *оклад* (поместный), *поместная дача*, *перелог*, *дровяной лес*, *с поместья государева служба служить*, *всяким угодьем владеть* и т. д.

В применении приказного языка в его конкретных реализациях, при всей его стандартности, наблюдалась вариантность, в которой можно подозревать и отражение синхронных колебаний, не чуждых приказному языку, с одной стороны, и появление в нем некоторых новшеств, с другой, а также вторжение отдельных локальных элементов. Так или иначе, благодаря известной однородности содержания и принадлежности обширному кругу писцов отказные записи представляют благоприятное поле для наблюдения над явлениями лексической синонимии в пределах приказной схемы. Приведем два-три примера. Необыкновенно устойчивое наименование *сторонние* (люди) в привычной формуле «взяв с собой тутошних и сторонних людей» под пером подьячего Наумки Кобатова перебивается словом *окольные* «взяв с собою тутошних и околних людей» (кн. № 15685, л. 343 об.) Можно думать, семантически равноправными были слова *отказчик* и *отдельщик*, а также *отказные* и *отдельные* (книги). Ср. записи одного года: «писал отказщикъ Лорионка Ѳилатов» (кн. № 15684, л. 383 об.); «писал отдѣльщикъ Микифорька Кононовъ» (там же, л. 388 об.), а далее: «писал отказщик Микиѳорка Кононовъ» (там же, л. 405). Ср.: «книги отделныя писал губной дьячок Наумка Кобатовъ» (кн. № 15684, л. 13); «книги отказные писал курской губной дьячок Наумка Кобатов» (там же, л. 233 об.). Вторжение в приказный оборот локальной речевой стихии иллюстрирует запись Василия Кобатова: «про то их прожиточной помѣстье сыскивал тутошнеми и обаполнеми людми» (кн. № 15684, л. 47 об.). Слово *обáпольный* «окрестный, окольный» (от *обáпол*, *обáполо* «кругом, около») отмечается в южновеликорусских говорах (Слов. Акад. IX, 1, 1929).

Вследствие однородности и краткости записей в составе отказной схемы мы обнаруживаем лишь единичные факты лексической синонимии, зато представляется возможным судить, какой они носят характер — индивидуально-речевой или *общеязыковой*, поскольку всегда вполне очевидна их отнесенность к определенным писцам.

Отступления от традиционной приказной схемы в словарном составе отказных актов обусловлены в основном их локально-поместным характером. Перечисляются разнообразные земельные угодья с исторически сложившимися их индивидуальными наименованиями, устанавливается их положение по отношению как к естественным (реки, дубровы и т. п.), так и искусственным (гатище, перекощи и т. п.) ориентирам. В соответствующих мерах указывается размер различных угодий, называются их старые и новые владельцы. Наконец, фиксируются некоторые условия пользования этими угодьями. Для исследователя-лексиколога отказные книги в упомянутых лексических аспектах представляют значительный интерес.

В отказных книгах мы встречаемся с довольно развитой нарицательной терминологией угодий, не чуждой в своих основных элементах и традиционной схеме отказа. Отмечены такие названия: *пашни паханные*, *дубровы пашенные*, *дикое поле*, *перелог*, *дубровы*, *лес хоромной*, *избной* или *селитобной* (пригодный для сооружения строений), *лес дровяной*, *лес непашенный*, *лес красный*, *борок*, *сенные покосы*, *сеножать*, *поляна сенокосная*, *поляна сеножатная*, *кулига*, *луг*, *выгон*, *бортные ухожья*, *звериная ловля*, *бобровые гоны*, *козиные ходы*, *козиные сети*, *рыбная ловля*, *присады*, *займища*, *тетеревиные попужи*, *вспуды* и *перевесья*, *хмелевые пощипи*. В этих относительно поздних книгах обнаруживаем отдельные названия угодий, неизвестные картотеке ДРС, не говоря уже о «Материалах» Срезневского. Один из подобных случаев — *тетеревиные попужи*. Второй компонент этого названия, по-видимому, связан с древнерусским *пудити* «гнать, прогонять». О *хмелевых пощипах* мы узнаем также

только из отказных книг. Ни в ДРС, ни в «Материалах» Срезневского такого названия нет. Разгадку этого явления, вероятно, следует искать в том, что в книги более обобщенного учета подобные наименования не попадали.

Развитой терминологии угодий сопутствует богатая терминология природных и искусственных межевых примет, впрочем, более или менее однородная с репертуаром последних в писцовых книгах. Приведем описание межи одного из курских поместий, составленное в 1633 г.: «а межа тому Ѳедорову новому помѣс(ь)ю дикому полю от «Тимоѳѣева помѣс(ь)я Муратова да от Авдѣева помѣс(ь)я Старкова и от гдрваи земли верхъ верха береза взголява на неи грани старые да новые а от тои березы через стежку на курган на кургане столбъ дубов на немъ грани а от того кургана к рѣчке Рагозне прямо на курган на кургане столбъ дубов на нем грани а от тог(о) кургана на курган на немъ столбъ дубов на нем грани а от тог(о) кургана на дубчик краковит одинок на немъ грани а от тог(о) дубчика на столбъ дубов на немъ грани а от тог(о) столба на столбъ дубов что к рѣчке Рагозне на || пригорке на немъ грани а от тог(о) столба прямо к рѣчке Рагозне на олховои молажавои кустъ» (кн. № 15684, л. 59—59 об.). Отметим и другие детали ландшафта, служившие порой ориентирами: «на реке на Семи в Нижнем лесу на узголов(ь)и высокои холмъ обапол Балшои лазы да вверхъ по Семи Ивитцкое плесо» (кн. № 15684, л. 75); «по Псынскому колодизи с упалыми рѣчки и колодези с вешними розлои (розлоги? — *С. К.*)... по Обоянскому ровню и по лесомъ» (там же, л. 219 об.); «выгон против ендовища» (там же, л. 722), ср.: *ендовище* «впалая поляна или луговина, обширная плоская впадина» (Даль, Слов., I, 535); «по суходолу к рѣчки к Новогробли» (кн. № 15685, л. 84); «другая усада на гору по Бражному ржавъцу» (там же, л. 255), ср.: *ржавец* «ржавое болото» (Даль, Слов., IV, 96).

Вместе с нарицательными топонимами в книгах, естественно, отложились и собственные топонимические наименования. Они проливают некоторый свет на те элементы словарного состава, которые вне топонимической сферы в деловой письменности обыкновенно не отражаются. Например, вопреки известному мнению, что для юга характерным является название *бирюк*, а не *волк*, книги дают иные показания. В них упоминаются: *Волчий лесок* (кн. № 15684, л. 517 об.); *Волчьи лозы* (кн. № 15685, л. 9 об.); *Волчьи лески* (кн. № 15684, л. 791). Небезынтересно следующее: топонимов с определением *бирючий* в южновеликорусской области, по данным XVII в., не существовало. Заимствованное из тюркской среды слово *бирюк*, насколько известно, функционировало в этой области исключительно в виде прозвища угрюмого человека, а отнюдь не в качестве названия волка. Исторически *бирюк* у южновеликорусов не соответствовало слову *волк*, да и в современном употреблении не является, собственно говоря, его семантическим эквивалентом. «Атлас русских народных говоров» не позволяет высказать по этому поводу противоположного суждения. Поэтому недостаточно точным представляется такое утверждение: «В большинстве говоров русского языка существует слово *волк*, но в некоторых говорах южного наречия ему соответствует слово *бирюк* ...» [3].

В отказных книгах указывались и размеры поместных владений в соответствующих мерах, например, полей — в четях, а луговых угодий — в копнах сена, которые давали с лугов укосы; упоминались и десятины. Вообще же сведения о метрологии в отказных книгах ограничены, и в этом смысле последние уступают не только таможенным, но даже и писцовым книгам, в метрологическом отношении в общем небогатым.

В отказе или в отделе принимали участие и те, кому земля отводилась, и те, кто производил отвод, составлявшие отказные акты подьячие и другие, выступавшие в роли писцов грамотные люди, а также многие свидетели из местного населения. Вследствие этого в книгах наблюдаем обилие личных собственных имен. Отказные книги свидетельствуют о том, что еще были в речевом обиходе старые русские имена. Приведем примеры из отказной книги № 15684: *Познякъ Максимов* (л. 4); *Нехорошко Истоминъ* (л. 95); *Переушка Истомин* (л. 237); *Неуструи Маслов* (л. 338 об.); *Нехорошко Мортем(ь)янов* (л. 354); *Ждан Еръмолов* (л. 577); на л. 586 упоминается *Ждан Ефремов*, а на л. 886 — *Чужим Мосолов*.

Обширную коллекцию личных имен, обычных и для нашего времени, появление которых на Руси связано с христианством, дополняют отдельные прозвищные наименования. Они иногда указывают на такие элементы словарного состава, о существовании которых в тех местах, откуда происходят отказные книги, без посредства этих прозвищ мы едва ли бы узнали. В книге № 15684: «Ондрюшка Ѳедоров с сыном Сенкою прозвище Лиходѣи» (л. 323); «Олешка Рыжии прозвище Хлуи» (л. 380), в словаре Даля этого слова нет; в книге № 15685: «пачинок Кузмина сна Игнатова прозвища Зык» (л. 233 об.), ср.: «два леска Зыковы» (л. 234). Есть и другие случаи. Образованная от прозвища *Козюлька* фамилия *Козюлькины* (кн. № 15684, л. 70 об.), по всей вероятности, свидетельствует о бытовании в ту пору и несколько ранее в пределах степного юга названия гадюки

[3] «Русская диалектология», 2-е изд., М., 1965, стр. 208.

козюля, известного и ныне в южновеликорусских говорах. Ср.: «Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли водятся» (Тургенев, Бежин луг).

В отказных книгах встречаются и женские личные имена, главным образом там, где говорится о так называемых прожиточных поместьях или каких-то обязательствах новых владельцев по отношению к своим предшественникам и членам их семей. Например: «отделил женѣ ево Осипове вдавѣ Духане з дочер(ь)ю... на пражитакъ вдавѣ Духане пятнадцат чет(ь)и а дочери... семъ чети с асминою в поля а в дву по тому ж» (кн. № 15685, л. 241 об.); «он владѣл вдавиным Мароиным прожиточным помѣстьем Михаиловаи жены Иванова» (там же, л. 47); «ему Тимоѳѣю с тово деда своево помѣстья гсдрва служба служит а бабку свою вдову Анну да ее живота кормит» (кн. № 15684, л. 413 об.). В связи с указанными обстоятельствами в книгах более или менее полно отложилась номенклатура родства.

Представлена и наиболее ходовая терминология, связанная с номинацией людей по их социальному, должностному, соседскому и иному положению. Между прочим, соседи в ряде случаев именуются и себрами: «а пашня ему Воину в томъ в своемъ в новам помѣстьи похать и сѣна касит и в лѣса въѣзжать и всяким угодьемъ влодет с старами помѣщики а с своими себрами» (кн. № 15684, л. 694). Когда-то себровство, или сяброво́ство, пришло на смену родовым отношениям. А в XVII в. в поместном кругу, по крайней мере в южновеликорусском, под себровством подразумевалось соседство в землевладении.

Несмотря на более или менее однородный лексический состав отказов и присутствие в них значительной доли оборотов приказного языка, явления местной фонетики, а также и морфологии, здесь представлены относительно свободно и широко. Причину этого следует искать в наличии обширного контингента писцов — носителей местной речи. Недостатки в их орфографической выучке, в общей их начитанности, в знакомстве с теми или иными нормами приказного языка, различия, хотя и минимальные, в их индивидуальном произношении, наконец, влияние полевых условий, в которых происходило составление актов, от чего зависело внимание и сосредоточенность писцов,— все это приводило к колебаниям, и при этом порою существенным, при передаче разными писцами одних и тех же фонем и морфем, к отклонениям в орфографии. В свою очередь и неустойчивость последней благоприятствовала появлению отклонений.

В отказных книгах немало данных о местном вокализме. Например, по страницам курских книг рассеяны многочисленные примеры аканья, причем определенно выявляется его не московский, а локальный характер (московский можно было бы связать с приказным языком): *вояводы* (кн. № 15684, л. 69); *Лебядиног(о) калодезя* (там же, л. 233); *на ряку* (там же, л. 304); *яму взяти с собою* (там же, л. 663); *налѣвя* (там же, л. 602); *Федот Пятров* (кн. № 15685, л. 129); *сянные покосы* (там же, л. 379). По некоторым данным, в курских книгах реализацию фонемы *ě* на письме в зависимости от подударного или безударного положения можно было бы уподобить той, какую наблюдаем в московской письменности того же самого времени: подударному положению на письме соответствует в общем *ѣ*, безударному положению — буква *е*. Не приводя примеров, отметим: такая реализация фонемы *ě* под пером того или иного писца идет в одном ряду с иными отражениями южновеликорусской фонетики. Это обстоятельство позволяет видеть в ней не привнесенную традицию приказной московской письменности, а локальное явление [4].

Отказные книги открывают возможность регистрации конкретных проявлений подспудных тенденций локальной фонетики, регистрации их во времени. Так, регистрируются убедительные признаки тенденции к сильной лабиализации *о* в положении под ударением в некоторых условиях в пределах южновеликорусских говоров. Наряду с фамилией *Волобоев* (1633 г., кн. № 15684, л. 62, 64) представлен вариант с ударяемым *у*: Артему Волобуеву (1635 г. там же, л. 136 об.), в Титова помѣстья Волобуева... Титу Волобуеву (1639 г., там же, л. 396—397), Григореи Волобуев (1644 г., кн. № 15685, л. 174). Сильную лабиализацию могло претерпевать не только *о* этимологическое и не только то, которое соответствовало *о* под старым восходящим ударением, но и *о*, которое в исследуемый период являлось на месте ударяемого *а*, по-видимому, вследствие воздействия влиятельного на юге соотношения: *а* — в безударном положении, *о* — под ударением. В 1632 г., пишут о Федоре Дериглазове (кн. № 15684, л. 25), в 1639 г., упомянув о поместье Дериглазова, далее дважды говорят о Федоре Дериглозове (там же, л. 406—407), а в 1662 г. упоминается усада уже Федора Дериглузова (кн. № 15685, л. 20 об.)

Изменение *о* в направлении к *у*, получившее отражение в письменных памятниках в течение всего двух-трех десятилетий, предполагает актуальность данного явления в это время для южновеликорусских говоров. Если бы эти лингвистические факты были представлены в разнородных с точки зрения и диалектной и временно́й приуроченности текстах, заключение подобного рода явилось бы невозможным и тенденция к сильной лабиа-

[4] См.: С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии, М., 1963, стр. 52.

лизации *о* под ударением, действовавшая в некоторых условиях, осталась бы невыявленной.

Существенны данные отказных книг о явлениях локального консонантизма. В книге № 15684 имеются косвенные свидетельства о фрикативном характере *г*: «берехъ реки Семи да берех рѣчки Плоскои» (л. 658); «по выписи с книхъ» (л. 759 об.). Убедительны указания на билабиальное *в*: «дочере... ускормивъ выдот замуж» (л. 11); «уверх» (л. 335 об.); «а вгод(ь)е против тое порозжаи земли» (л. 661 об.). В соответствии с *ф* иноязычного происхождения выступают *х* или *хв*: «Хролов снъ» (л. 287); «Охрѣмова усадища» (л. 610 об.); «Енътихвѣ явы щур(ь)я» (л. 787 об.). Отражено смягчение *к* после мягких согласных и *ї*: «сколка члвкъ» (л. 31); «Евъсѣикя да Ескя Неуструевы» (л. 327).

Поскольку участие отдельных писцов в составлении отказных книг было продолжительным (и 10 лет и более), представляются возможными наблюдения во времени не только в общеязыковом плане, но и в области индивидуальной речи, а также индивидуальной орфографии. Приведем пример из того же источника. Первушка Истомин принимал участие в составлении книг полтора десятилетия и почти все это время в положении после мягких согласных передавал смягчение *к* — «Евъсѣикя да Ескя» (л. 327), «с Сенькям» (л. 428), «Миленкя» (л. 451 об.), «сколкя» (л. 453), «с Ѳеткемъ» (л. 577), «с Ларкемъ» (там же),— а на десятый год «отказной» практики, приглядевшись к орфографии более грамотных собратий и к московским образцам, написал уже не *Васкя*, а *Васка*, однако рядом, заодно — *с Ѳеткею да Сенкемъ* (л. 713 об.). Учет явлений подобного рода, соотносительно с явлениями фонетики и морфологии, позволяет осветить некоторые моменты овладения орфографией, составить известное представление об орфографической выучке писцов и о степени их ориентации на московские правописные образцы. Следует сказать: общее мнение об ориентации на эти образцы еще не получило обоснования в виде конкретных исследований приказной московской и локальной письменности в их постоянном взаимодействии при ведущем влиянии Москвы. Изучение орфографии отказных книг в сопоставлении с московскими рукописями однородного содержания, как нам кажется, было бы перспективно, оно открыло бы новые возможности в области изучения истории языка и его орфографической культуры.

Значение рассматриваемой группы источников для морфологических изучений заключается прежде всего в том, что благодаря специфике своего содержания они позволяют исследовать элементы системы словоизменения в их многократном функционировании на протяжении известного отрезка времени не только в однотипных синтаксических, но в большей мере, чем в иных источниках, и в однотипных лексико-синтаксических условиях. Наблюдаемые колебания в образовании форм оказываются сопоставимыми и в отношении временном и в жанровом отношении, а иногда и по принадлежности к определенному писцу. Имеется известная возможность изучения явлений словоизменения в аспекте и общей системы языка и индивидуальных речевых систем. Из таких явлений в отказных книгах находим, например, колебания в образовании именительно-винительного множественного числа в среднем роде (*гумна* — *гумны* и т. п.), вытеснение новым окончанием *-а* старого окончания *-ы* в именительном множественного числа: *леса* и т. п. Представлен и ряд других изменений в области склонения имен, а также местоимений.

Желательно привлечение этой группы источников и с точки зрения исследования локальных вариантов синтаксиса в деловой письменности XVII в. Здесь, например, встречаются конструкции типа *земля пахать* [5], которые обыкновенно относили только к северу и центральным областям Русского государства.

Отказные книги необходимо включить в круг важнейших источников по истории русского языка. Они особенно ценны для изучения его локальных разновидностей, и письменных и устных.

С. И. Котков

---

[5] См.: С. И. Котков, Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров, ИАН ОЛЯ, 1959, 1.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ИОГАННА ГРЕГОРА МЕНДЕЛЯ

Часто ссылаются на то, что суждения и оценки непрофессиональных лингвистов по поводу лингвистических проблем наивны и поверхностны, а их попытки механического перенесения в языкознание методов других наук далеки от поисков собственно лингвистической методологии. Признавая обоснованность такого отношения к дилетантству в лингвистике, мы хотим обратить внимание и на другое — на блестящие лингвистические достижения ряда больших ученых, не являющихся, однако, профессиональными языковедами. Это прежде всего труды Л. Заменгофа, Н. А. Морозова, Дж. К. Ципфа, Б. Уорфа. Приве-

денный список можно расширить, и в него, в частности, следует ввести имя великого ученого, основателя современной генетики И. Г. Менделя (1822—1884).

Несмотря на то, что рукописный архив Менделя в большей своей части не сохранился, удалось найти черновики обширного исследования Менделя, посвященного вопросам статистико-вероятностного и семантического анализа немецких фамилий. Папка, содержащая эти материалы, была впервые обнаружена Ансельмом Матоушеком, библиотекарем августинского монастыря в г. Брно. Затем эти материалы попали в руки одного из биографов Менделя О. Рихтера, который сделал попытку разобраться в них [1]. В период второй мировой войны часть оригинала рукописи Г. Менделя была утеряна, и о ней можно судить лишь по факсимиле, приведенном в книге О. Рихтера. Однако уже после войны были найдены дополнительные материалы, не описанные О. Рихтером [2]. В настоящее время рукопись Г. Менделя хранится в отделе генетики им. Грегора Менделя моравского музея в г. Брно. До сих пор эти материалы остаются неизвестными широкой лингвистической общественности, не предпринимались попытки их оценки ни с точки зрения языкознания, современного Г. Менделю, ни с точки зрения языкознания сегодняшнего дня.

Материалом исследования, проведенного Г. Менделем, послужили списки фамилий, помещенные в немецком военном справочнике за 1877 г., а также в справочниках адвокатских и транспортных контор. Из этих источников рукой Г. Менделя выписано 723 фамилии со вторым элементом *-mann*. После упорядочения списка по алфавиту произведено его разбиение на последующие десятки фамилий, а также подсчет количества фамилий, начинающихся на каждую из букв алфавита. Взяв за исходные эти цифры и помимо них — число гласных и согласных звуков немецкого языка, Г. Мендель производит несколько серий вычислений, суть которых, как можно предполагать, в обнаружении правил комбинаторики звуков немецкого языка в словах заданной длины. Детальной расшифровке эти подсчеты Г. Менделя не поддаются, поскольку комментарии к его подсчетам отсутствуют.

Как известно, Г. Мендель сформулировал основные законы генетики, пользуясь простым аппаратом комбинаторной математики и статистики. Этот аппарат он применял и в других областях знаний, которыми занимался — в астрономии и метеорологии. Естественно, что, столкнувшись с новым для себя объектом — языком, он попытался применить к нему испытанный им в разных областях метод статистико-вероятностного моделирования.

Вторая часть исследования Менделя представляет собой опыт систематической классификации фамилий, включенных в список, по признаку близости их значений. Основной принцип классификации — ориентация на живую внутреннюю форму фамилий, а не на их этимологию. Так, например, фамилии *Aumann*, *Achmann* и *Jaumann* помещены в группу с общим семантическим признаком «кричащие люди». Однако этимологически *Aumann* — это «живущий на лугу», *Achmann* — «водовоз», а *Jaumann* — «арендатор» [3].

Фамилии расклассифицированы по нескольким десяткам семантических групп. Приведем несколько примеров таких групп: «холодные люди» (*Schneemann*, *Wintermann*, *Eismann*, *Pelzmann*, *Nordmann*, *Lappemann*), «цветные люди» (*Rothmann*, *Weissmann*, *Schwarzmann*), «красивые люди» (*Hübschmann*, *Schönemann*), «веселые люди» (*Lachmann*, *Frochmann*, *Lebemann*, *Lustmann*, *Liedermann*, *Singmann*, *Tanzmann*. *Ballmann*), «чиновники» (*Ammann*, *Amtmann*, *Ratsmann*, *Zollmann*) и т. п.

Соблюдается принцип иерархической подчиненности групп; например, «торговцы» подразделяются на «торговцев скотом», «торговцев овощами», «бакалейщиков» и т. п., «свойства» людей на «телесные» и «духовные», а затем на «красоту» («красивые люди»), «крепость» («крепкие люди») и т. д.

Классификация произведена систематически по всему списку фамилий. Некоторые фамилии включены не в одну, а в несколько групп, поскольку ряд рубрик классификационной схемы перекрещивается. Мендель внимательно относится к случаям вариантности фамилий, приводя в одних и тех же группах различные вариантные написания фамилий (*Husemann*, *Husmann* и *Hosemann*, *Allmann* и *Allemann* и т. п.).

Семантическая классификация фамилий, произведенная Менделем, является уникальным опытом построения таксономии имен [4]. Такого рода таксономии до сих пор отсутствуют в оно-

---

[1] O. Richter, Johann Gregor Mendel wie er wirklich war, «Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn», LXXIV, 2, 1943.

[2] O. Ferdinand, Mendel's effort to find some mathematical laws in the derivation of names, «Folia mendeliana», 1966, 1.

[3] См.: J. K. Brechenmacher, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen, Limburg a. d. Lahn, 1957—1963.

[4] О принципах такосономии см.: R. E. Blackwelder, Taxonomy. A text and reference book, New York, 1967.

мастике [5], хотя сам принцип семантической классификации усиленно разрабатывается в последнее время. Независимо от Г. Менделя в наше время выдвигались предложения анализа значений серий имен с постоянным вторым элементом [6]. Применительно к именам собственным говорят о семантических полях — тематических и ассоциативных [7].

Г. Мендель намеревался расширить свое исследование, о чем свидетельствуют сделанные им записи фамилий со вторым элементом *-mayer* и *-bauer*, которые были найдены недавно [8].

Для того чтобы по достоинству оценить вклад Г. Менделя в ономастику, достаточно сравнить его исследование с последними работами в этой области — например, с работами, представленными на последние международные конгрессы по ономастике. Исследование Менделя звучит более современно в общем контексте нынешних тенденций в лингвистике, чем большинство докладов (только в нескольких докладах на восьмом конгрессе по ономастике предпринимались попытки статистико-вероятностного и семантического описания имен [9]).

Для своего времени (80-е годы прошлого века) работа Менделя (так же, как и его основная работа в биологии — «Опыты над растительными гибридами») была достаточно необычной и революционной. Мендель перенес из биологии в синхроническую лингвистику принцип статистико-вероятностного моделирования и принцип таксономической аранжировки наблюдаемых фактов. К сожалению, его работа осталась неизвестной, и ей не суждено было сыграть свою роль в развитии языкознания.

Основатель современной генетики, тонкий экспериментатор и наблюдатель, Г. Мендель непредвзято, пользуясь объективным аппаратом научного исследования, подошел к анализу нового для него предмета — языка. Позднее другие исследователи — уже лингвисты, ничего не зная о лингвистических опытах Менделя, будут пытаться применить методику генетики, разработанную Г. Менделем и его последователями, к анализу фактов языка. Введение в языкознание понятий «фенотипа» и «генотипа» (уровня наблюдения и уровня конструктов), символической записи, статистико-вероятностной методики в той или иной мере стимулировалось состоянием общей методологии науки, а иногда — непосредственно методологии генетики, восходящей к Г. Менделю. Работа Менделя — еще одно напоминание о важности разработки научного метода в языкознании и учета в языкознании общей методологии науки.

С разных позиций можно по-разному оценивать вклад Г. Менделя в языкознание, однако игнорировать его лингвистические опыты нельзя [10].

«...Nec tu divinam Aeneida tenta,
Sed longe sequere, et vestigia semper adora».

В. А. Москович

---

[5] См.: M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, München, 1932; W. Schmidt, Deutsche Wortkunde, Berlin, 1965; E. C. Smith, Dictionary of American family names, New York, 1956.

[6] O. Höfler, Über die Grenzen semasiologischer Personennamenforschung, «Festschrift für D. Kralik», Horn, 1954.

[7] H. Moser, Namenfelder, «Der Deutschunterricht», 5, 1957.

[8] См.: O. Ferdinand, указ. соч.

[9] См., например: W. Bauer, Chicesische Frauenname auf Formosa, «Proneedings of the VIII International congress of onomastic sciences», The Hague, 1966; W. T. Zyla, Ukranian anthroponymy in the Kharkov register of 1660, там же.

[10] Приношу благодарность биографу Г. Менделя Б. Г. Володину, редакции журнала «Вопросы языкознания» и директору отдела генетики им. Грегора Менделя моравского музея г. Брно В. Орелу за содействие в ознакомлении с оригиналом рукописи Г. Менделя.

ЖУРНАЛ «СОВЕТСКОЕ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ» ЗА ТРИ ГОДА СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (1965—1967)

В марте 1965 г. Академией наук ЭССР начато издание журнала «Советское финно-угроведение», который печатает статьи на русском, английском, немецком и французском языках и выходит, согласно плану издания, поквартально (1965 г. — I, № 1—4; 1966 г. II — № 1—4; 1967 г. — III, № 1—4). До этого времени издавались лишь международные ежегодники и сборники по финно-угроведению, а журналы, выходящие в свет на эстонском, финском и венгерском языках, рассчитаны в основном на более узкий круг специалистов и любителей языкознания соответствующих стран.

В статье от редакции, которая знакомит читателя с поставленными перед журналом задачами (I, 1), подчеркивается, что изучение финно-угорских и самодийских (т. е. уральских) языков издавна имеет традиции, заложенные еще работами Ш. Дьярмати и М. А. Кастрена. В наши дни, когда запас сведений о структуре и историческом развитии уральских языков гораздо богаче, чем материалы по многим другим языкам,

финно-угорские и самодийские языки стали предметом тщательного изучения в целом ряде научных центров мира. В последние десятилетия проблемы, связанные с финно-угроведением, привлекают все большее внимание советских языковедов. Это тем понятнее, что большая часть народов финно-угорской языковой группы проживает на территории Советского Союза. Между тем, к концу 1917 г. в нашей стране не было ни одного финно-угроведческого научного центра. Только в 1925 г. в ЛГУ была учреждена кафедра финно-угорской филологии под руководством Д. В. Бубриха. Финно-угроведческие труды ученого способствовали формированию национальных литературных языков. Под руководством Д. В. Бубриха прошли аспирантскую подготовку представители разных финно-угорских национальностей. С годами сеть финно-угроведческих исследовательских и учебных центров постепенно расширялась. В настоящее время финно-угорские языки являются объектом изучения многих научных и учебных учреждений Москвы, Ленинграда, Таллина, Тарту, Петрозаводска, Сыктывкара, НИИ столиц соответствующих автономных национальных республик — Ижевска, Йошкар-Олы, Саранска. Возникли новые центры в Новосибирске, Свердловске, Ужгороде и Тбилиси. В послевоенные годы особую активность в изучении уральских языков проявили эстонские ученые, поэтому местом издания нового журнала стал Таллин.

В журнале печатаются статьи, относящиеся к фонетике, грамматике и лексике любого финно-угорского или самодийского языка; в программу журнала входит и освещение вопросов диалектологии, проблем литературного языка, а также проблем контактирования уральских языков с другими языками и языковыми семьями.

Во всех номерах журнала соблюдается определенный тематический порядок расположения материала: номер открывается статьями, посвященными всей уральской языковой семье в целом или какому-либо одному из ее ответвлений, а также контактам с другими языковыми семьями; за ними следуют работы по прибалтийско-финским, лопарским, волжским, пермским, угорским и самодийским языкам. Заключительную часть журнала составляют обзоры и рецензии.

1. Несколько исследований, посвященных более чем одной языковой подгруппе, появились уже в первом номере журнала, а в общей сложности таких работ опубликовано свыше десяти. Пять из них (в их числе четыре этимологических статьи) принадлежат перу П. Аристэ. В статье «Случаи языкового контакта в Восточной Прибалтике» (I, 1) он уделяет особое внимание воздействию латышского, русского, белорусского и польского языков на лексику лудзаского говора эстонского языка. В статье «Прибалтийско-финское слово в румынском языке» (I, 2) П. Аристэ прослеживает историю слова *cambulă* в румынском языке, возводя его к фин. *kampela* и вод. *кампала*; посредствующим звеном оказалось русск. *камбала*. В статье «Русское *лёньгас* „лентяй“ и эстонское *lõngus* „стилята“» (II, 2) П. Аристэ показал, что этимоном русск. диалектн. *лёньгас* было прибалтийско-финское слово, представленное в эстонском и его диалектах словами *lõngus*, *lõnges*, *lõngats*, *lõngard* и др. В статье «Южноэстонское слово *kõrik*» (III, 1) П. Аристэ усматривает прототип этого слова, обозначающего «плед особого типа», в славянском слове *хъръ*, которое встречается в новгородских берестяных грамотах XIV—XV вв. До сих пор прибалтийское слово (эст. *ait*, фин. *aitta*) считалось заимствованием из балтийских языков. Однако П. Аристэ в статье «Является ли заимствованием эстонское слово *ait?*» (III, 3) убедительно показал, что это слово финно-угорского происхождения. Его можно сблизить с мордов. *утом(о)* «амбар, клеть», которое явно содержит в себе отглагольный суффикс *-мо* (*-ма*) [1]; нам кажется, что и в прибалтийско-финских языках слово *aitta* первоначально было отглагольным образованием; дальнейшие изыскания, возможно, помогут восстановить ныне утраченные глагольные основы, общие для прибалтийско-финских и волжских языков.

Проблемы происхождения суффиксов некоторых именных и глагольных категорий рассматривает Б. А. Серебренников. В статье «К проблеме происхождения суффиксов многократного действия в финно-угорских языках» (II, 3) значительное сходство фреквентативных суффиксов с показателями собирательной множественности объясняется тем, что в древности, когда отглагольные имена выполняли роль современных глагольных форм, суффиксы множественности могли использоваться для выражения многократности действия. В статье «Валлийская конструкция *Y mae cath gan y ferch* и проблема происхождения суффикса родительного падежа в уральских языках» (I, 1) Б. А. Серебренников выводит показатель генитива *n* из локатива (как делал, впрочем, и М. Веске еще в XIX в. [2]), допуская, однако, такой путь развития лишь при условии, что промежуточным звеном послужил комитатив-

[1] Ср., например, эрзянск. *кирьдима* «хранилище» от глагола *кирьдемс* «хранить, держать» (М. Е. Евсеев, Избранные труды, IV, Саранск, 1963, стр. 42).

[2] См.: M. Weske, Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik des finnischen Sprachstammes, Leipzig, 1873, стр. 75 и сл.

инструктив. Эта наталкивающая на размышления статья вызывает вопрос: можно ли считать исходной формой локатив на *-n*, если он и доныне во многих финно-угорских языках выступает в виде *n* + гласный? По мнению рецензента, прямолинейные объяснения Д. Бубриха и Л. Кеттунена, опирающиеся на локативо-дативную гипотезу М. Веске (локатив на *-na* > генитив на *-n*), никак не подтверждается в отдельных языках, восходящих к уральскому языку-основе. Если не соглашаться с тем, что *-n* имеет то же происхождение, что и признак притяжательного прилагательного, известный в качестве такового в марийском и мордовских языках, то и в таком случае гипотетическое возникновение генитива из локатива пришлось бы отнести к столь далекому прошлому, что речь могла бы пойти лишь об одном единственном многофункциональном падеже на *-na*, одновременно выражавшем как пространственные и временные, так и притяжательные и прочие отношения. Вместе с семантическим разделением постепенно происходила звуковая дифференциация падежного окончания, причем за притяжательным генитивом довольно рано закрепился показатель *-n*. В отдельных языковых подгруппах, например, в прибалтийско-финских языках, развитие комитатива и инструктива из локатива потребовало весьма значительного времени. В хантыйском языке эти падежи отсутствуют еще и сейчас, так как локатив не только выступает в функции местного и орудийного падежей, а также в функции комитатива и эссива, но и выражает модальные, причинно-целевые и темпоральные отношения.

В статье К. Е. Майтинской «Заимствованные элементы в местоименной лексике финно-угорских языков» (II, 4) основное внимание уделено препозитивным заимствованным частицам, используемым при образовании главным образом неопределенных местоимений. Как и Б. Коллиндер, Э. Итконен и др., автор допускает, что некоторые местоименные корни, сходные в уральских и индоевропейских языках, имеют общее происхождение.

Дж. Киекбаев в статье «О грамматической категории определенности и неопределенности в урало-алтайских языках» (I, 4) полагал, что эта категория чронизывает сферу не только имени, но и глагола во всех этих языках. Статья Д. Киекбаева послужила толчком к более детальному освещению этих же проблем применительно к мансийскому и мордовским языкам — см. статьи Т. М. Тихоновой и Е. И. Ромбандеевой (II, 4).

К. Конт в статье «О партитиве в финно-угорских языках» (III, 1), прослеживая развитие этой категории главным образом в прибалтийско-финских языках, полагает, что исчезновению первичной, отложительной (аблативной) функции падежа на **-ta*, *-*tā* способствовало влияние парциального генитива балтийских и славянских языков (ср. эст. *kolm raamatut* — латыш. *trīs grāmatas* «три книги»).

К работам этой тематики примыкает также статья Г. Н. Макарова «К вопросу о прибалтийско-финских и коми-зырянских языковых контактах» (III, 2), построенная на исследовании лексики этих языков, и статья П. Алврэ «К вопросу о развитии **ja*, *jā* в уральских языках» (I, 1), где признак множественного числа *i* возводится к суффиксу совокупности-собирательности **-ja*, **-jā*. В самодийских языках остаточно обнаруживаются более древние варианты рассматриваемого окончания мн. числа *-i*, *-je*, *-ji*, *-ii* и др. В прибалтийско-финско-саамском языке-основе возникли первичные *i*-овые косвенные падежи мн. числа для слов *mejā* «наша община» и *tejā* «ваша община», обозначающих совокупности людей.

2. Наиболее многочисленная группа статей посвящена фонологии, грамматике и лексике прибалтийско-финских языков. Ижорский язык, который долгое время считался диалектом финского или карельского языков, исследовался в двух статьях.В статье П. Аристэ «К исследованию ижорского языка» (I, 3) рассматривается ранее не изучавшаяся здесь морфологическая оппозиция кратких и редуцированных (глухих) гласных (им. ед. числа *lintU* «птица» — парт. *lintu* «птицы» и др.). Оппозиция эта возникла здесь путем редукции кратких конечных гласных и утраты долгими гласными долготы. Конкретными наблюдениями насыщена статья А. Лаанеста «О взрывных в фонологической системе хэваского диалекта ижорского языка» (II, 1). Кроме первичных (общеприбалтийско-финских геминат, ижорскому языку свойственны геминаты, возникшие в более позднее время. В ряде тех случаев, где долгота гласного имела раньше смыслоразличительную функцию, эта функция была перенесена на долготу согласного, например *paDa* (номинатив) — *patta* < *paDā* (партитив) «горшок».

На читателя, интересующегося фонологией эстонского языка, рассчитана статья Г. Лийва «Некоторые данные экспериментального изучения роли переходных сегментов гласных в восприятии палатализации в эстонском языке» (I, 1), где существенным акустическим коррелятом слухового восприятия сравнительно слабой палатализации признается наличие [i]-образных переходных сегментов гласных, предшествующих переднеязычным согласным, и статья М. Хинта «О фонологической транскрипции сверхдлительности (третьей фонологической ступени длительности) в литературном эстонском языке» (II, 1), в которой предлагается транскрибировать

маркированный член сверхдлинных сочетаний согласных последовательностью двух идентичных согласных фонем. К области порождающей грамматики относятся два исследования Х. Раянди — «Некоторые правила глагольного управления для эстонского языка» (I, 3) и «Некоторые общие свойства системы отрицания эстонского языка» (III, 1). Эти статьи, а также затрагивающая проблематику общего языкознания работа Т.-Р. Вийтсо «О языковом знаке и стратификации языка» (I, 1) свидетельствует о том, что на страницах журнала находят свое отражение и новейшие направления современной лингвистики. С точки зрения общего языкознания небезынтересна и статья О. Мутта «Некоторые заметки об омонимичных существительных и прилагательных в финно-угорских языках» (III, 4).

Вопросы диалектологии финского языка разрабатываются в трех статьях А. Кукконен — «Палатализация согласных фонем в колтушском диалекте финского языка» (I, 3), «Выпадение гласных в колтушском диалекте финского языка» (III, 1) и «Русские заимствования в колтушском диалекте финского языка» (II, 3). Автор допускает необоснованные обобщения, утверждая, что «палатализация звуков в колтушском диалекте восходит к прибалтийско-финскому языку-основе» (I, 3, стр. 191). Простое сопоставление с западными и некоторыми восточными наречиями финского языка, а также с литературным языком показывает, что палатализация — отнюдь не общефинское явление и тем более — никак не характерная черта прибалтийско-финского языка-основы. В работе М. Леппика «Дистрибуция сегментальных фонем в финском диалекте Курголовского полуострова» (II, 3) приводятся такие интересные факты из малоизвестного говора, как например, присоединение характерного для гласной основы суффикса партитива к согласной основе (VCC — CVV: *o·rt-taa* «насест»).

Своеобразные формы множественного числа в водском языке привлекли внимание Э. Адлер («Об одной форме номинатива мн. числа в ицепинском говоре восточного диалекта водского языка» — III, 2) и П. Алврэ («О множественном числе на *i* в водском языке» — III, 4). То общее, что сближает водскую топонимию с топонимией других прибалтийско-финских языков, получило освещение в работе П. Аристэ «Водские местные названия» (III, 2).

В статье П. Алврэ «О прибалтийско-финском дативе (особенно в ливском языке)» (III, 3) происхождение этого падежа связывается с древним лативом на **-n*, **-n'*.

Вопросам лексикологии и диалектологии карельского языка посвящены работы Г. Н. Макарова «Лексическая омонимия в карельском языке» (II, 2), П. Пальмеос «О вокализме зубцовского говора карельского языка» (II, 1), А. П. Баранцева «О структуре консонантных групп в людиковском диалекте карельского языка» (II, 1) и В. Злобиной «О некоторых звуковых изменениях в одном из говоров карельского языка» (III, 2). Для карельского языка вообще характерны дифтонги, возникшие из долгих гласных, в говоре же Зубцовского р-на Калининской обл. в результате многовекового билингвизма дифтонгизация охватила и безударные гласные, что привело в некоторых случаях к возникновению омонимичных форм. Из прибалтийско-финских языков за три года обойден вниманием лишь вепсский язык. Лопарский язык затронут только косвенно, при освещении вошедших в русские говоры Беломорского побережья прибалтийско-финских и лопарских заимствований (см. статьи И. В. Сало «О некоторых прибалтийско-финских и саамских заимствованиях в русских говорах поморов Карелии» — II, 1 и «Некоторые выводы о прибалтийско-финских и саамских заимствованиях и их освоении в северно-русских говорах Карельского Беломорья» — II, 2).

3. Больше всего опубликовано статей о марийском языке. В статьях Г. Тужарова освещается своеобразие морфологии главным образом в яранском говоре (см. его статьи: «Комитатив и каузатив в яранском говоре марийского языка» — I, 1; «Конъюнктив в яранском говоре марийского языка» — II, 1; «Частицы, употребляющиеся с формами императива в яранском говоре марийского языка» — II, 2; «Плюсквамперфект в яранском говоре марийского языка» — II, 3; «*к*-овые варианты частиц в марийском языке» — III, 1; см. также «Имеется ли сравнительный падеж в марийском языке?» — III, 3). Вопросы фонетики поволжских языков рассматриваются в двух статьях Л. П. Грузова — «Следы финно-угорских аффрикат в диалектах марийского языка» (I, 4) и «К проблеме развития редуцированных гласных в языках Волго-Камья» (II, 2). Представленные материалы и выводы о редуцированных гласных в языках волжско-камского ареала (в марийском, хантыйском, татарском, чувашском), где они возникли и развивались параллельно, не подтверждают теорию В. Штейница, согласно которой эти гласные восходят к финно-угорскому языку-основе. Хотя труд В. Штейница, в котором разрабатывается теория вокализма, вышел в свет повторным изданием [3], на фоне разработок советских исследователей по вопросам вокализма марийского и пермских языков (В. И. Лыт-

[3] См.: W. Steinitz, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus, Berlin, 1964.

кин) его положения становятся все более оспоримыми. Трудно поверить, чтобы гласные одного небольшого хантыйского говора — вахского — сохранили в неизменном виде качество, полученное за несколько тысячелетий до этого от финно-угорского языка-основы. Слишком резко отличается от этого качества и вокализм других хантыйских говоров, что также ставит под сомнение такое допущение.

С точки зрения изучения вокализма марийского языка существенна и статья З. В. Учаева «Гласные *i*, *ə* в кильмезском говоре марийского языка» (II, 4). Изменение *i* > *ə* в марийском принадлежит к сравнительно поздним, что подтверждается сохранением *i* в качестве признака прошедшего времени в рассматриваемом говоре, например, *i·l'im* «я был». Акцентуацию тоншаевского говора марийского языка освещает И. Г. Иванов (III, 1). Автор статьи «Ассимиляция согласных в волжском говоре марийского языка» (II, 3) Г. Лаврентьев рассмотрел в том же говоре формы императива и оптатива (I, 3). Оптатив, образующийся здесь с помощью показателя *ne*, обнаруживает сходство с признаком потенциалиса в финском языке, ср. лугово-марийск. *tol-ne·m* «(я) хочу прийти» — фин. *tullen* (<**tul-ne-n*) «я, быть может, приду». При отрицании признак *ne* присоединяется не к основному глаголу, а к глаголу отрицания (например, *əne·m tol* «я не хочу приходить») — такое употребление явно соответствует старым финно-угорским традициям.

«Марийские заимствования в чувашском языке» — тема статьи М. Р. Федотова (I, 4). Более широким охватом отличается краткое исследование А. И. Попова «Несколько примеров взаимодействия финно-угорских и тюркских языков Поволжья» (I, 2), один из таких примеров — обозначение Млечного пути у народов Волго-Камья, в частности, привлекается и эст. *Linnutee*, *Linnurada*, имеющее точное семантическое соответствие в латышском языке (*Putnu ceļš*) и в северо-западных русских говорах (*Птичья дорога*). В статье Г. Н. Айплатова «О марийских собственных именах XVII в.» выделяется большое количество имен тюркского происхождения (I, 2).

В статье И. С. Галкина «Об одной из форм имен числительных в марийском языке» (I, 3) делается попытка объяснить форму собирательного числительного, исходя из «*n*-ового инструктивного падежа финно-угорского времени».

В статье Т. М. Тихоновой «Выражение определенности и неопределенности прямого объекта в мордовских языках» (II, 4) отмечается своеобразный, доселе неизвестный факт, когда в некоторых случаях определенный объект выступает в форме инессива, например, *ки олкнесэ уски*? «кто возьмет солому?» (стр. 244), чему в литературном языке соответствует конструкция «генитив + *эйсэ*». Что касается типа *кудо-сь* (<местоим. **-se*) «дом этот», мн. число *кудот-не* «дома эти», напоминающего употребление артикля, то к сопоставлению можно было бы привлечь вепсский язык, где присоединенные к имени существительному указательные местоимения *se* ~ *nę* также выполняют функцию определенного артикля, например *lĭkta libatse* «нарежь (этого) хлеба» [4].

4. Исследования по пермским языкам в своем большинстве носят характер этимологических заметок, что, по-видимому, непосредственно связано с подготовкой к изданию этимологического словаря, работу над которым возглавляет В. И. Лыткин. В семи номерах журнала помещены серии предложенных им «Этимологий из пермских языков» (I, 1, 2, 4; II, 1, 2, 4; III, 3), проливающих свет и на происхождение некоторых слов более западных финно-угорских языков, например, коми *kerĭš* (<др.-перм. **kār-* ~ **kā̄r-*) — эст. *kāō̄r*, коми *ezĭn* — эст. *ase* и др. В статье «Древнекоми названия месяцев» А. Сидоров и В. Лыткин этимологизировали названия месяцев по Уставу церковному 1608 г. (II, 2). С интересными заметками из истории слов в пермских языках и др. выступают также Е. С. Гуляев («Из истории слов коми языка» — II, 1 и II, 3), Т. И. Тепляшина («Бесермянские термины, выражающие понятие „мать" и „отец"» — II, 1), И. В. Тараканов («Об употреблении и значении некоторых диалектных слов в удмуртском языке» — III, 2) и В. И. Алатырев («О финском *kansa* и пермском *kuz*, *goz*» — I, 4, где происхождение перм. *kuz*, *goz* «пара», эст. *kaas(a)* «товарищ, супруг» и фин. *kansa* «народ, люди» связывается с алтайскими языками). Э. С. Сергеенко в статье «О некоторых особенностях фонетики одного русского говора» (II, 4) рассматривает фонетические явления, возникшие в этом говоре под влиянием коми языка. Б. А. Серебренников прослеживает синтаксические особенности старокоми-зырянского языка в сфере порядка слов (III, 2). Этот же автор, подвергнув анализу фонетические и морфологические архаизмы некоторых окраинных говоров языка коми, приходит к выводу, что соответствующие факты не подтверждают точку зрения М. Фасмера, согласно которой в прошлом народ коми заселял обширные территории в западном направлении, вплоть до Архангельска и Онежского озера. Из грамматических работ назовем статьи М. Р. Федотова «О генетической соотносимости пермского *эн* и

---

[4] См.: L. Kettunen, Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus, MSFOu, LXXXVI, Helsinki, 1943, стр. 400—401.

чувашского *ан* в отрицательной форме повелительного наклонения» (II, 4), В. К. Кельмакова «Функции и история послелога *сяна* в удмуртском языке» (III, 4), А. С. Кривощековой-Гантман «Порядок слов коми-пермяцкого языка в сравнении с удмуртским» (III, 4). Статья И. В. Тараканова (III, 3) знакомит читателя с наиболее существенными фонетическими процессами в диалектах удмуртского языка.

Анализ, произведенный в полемической статье «Есть ли древнепермская топонимика в Заволочье?» (I, 3), привел ее автора А. К. Матвеева — вслед за М. Фасмером и А. Поповым — к заключению, что в субстрате топонимии северных областей России содержатся древнепермские элементы. Эти выводы оспариваются Б. А. Серебренниковым в статье «О гидронимических формантах *-ньга*, *-юга*, *-уга* и *-юг*» (II, 1): в этих формантах автор не усматривает ничего общего с пермским словом *ju* «река» и, полагая, что «никаких пермян в Заволочье не было», постулирует «значительную роль древних западносибирских племен в заселении русского Севера» (стр. 66). Продолжая разработку этой спорной темы, А. П. Афанасьев в статье «Общая основа гидронимов на *-ю*, *-юг*, *-уг*, *-ег*, *-юга*, *-уга*, *-ега*, *-юган*, *-еган*, *-я*» (II, 4) делает попытку увязать часть субстрата гидронимии северных областей России с расселением обско-угорских народов в прошлом на более западных территориях. Критический анализ аргументов, использовавшихся в этой дискуссии, представлен в статье А. К. Матвеева «Дофинно-угорская гипотеза и некоторые вопросы методики топонимических исследований» (III, 2). Попытка расшифровать значения некоторых гидронимов содержится в статье Б. А. Серебренникова «О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике русского Севера» (III, 3). Таким образом, уровень научной разработки топонимии севера России, как и истории заселения этих районов, находится в прямой зависимости от успехов, достигнутых финно-угроведением.

5. В кругу угорских языков наибольшее внимание уделялось венгерскому языку. Проблемы заимствований в венгерском языке, а также из венгерского языка обсуждались в статьях И. В. Зикань «Румынские заимствования в говоре венгерского языка Тячевского района Закарпатской области» (II, 3) и А. А. Мокань «Из истории исследования венгерских заимствований в украинских диалектах Закарпатья» (I, 2). В работе «Семантический анализ терминов родства угорских языков» (II, 3) К. Вавра, использовав современные методы изучения значений, показала общие и специфические черты нынешних систем родственных терминов венгерского и обско-угорских языков. В более ранней статье — «Принципы классификации терминов родства мансийского языка» (I, 2)— она вскрыла, как эти термины еще и в наши дни опираются здесь на социальную структуру родственных взаимоотношений в рамках патриархальной большой семьи. Грамматические проблемы затрагиваются в статьях А. И. Сайнаховой «Местоименные частицы в мансийском языке» (I, 4) и Е. И. Ромбандеевой «К вопросу о противопоставлении определенности и неопределенности в мансийском языке» (II, 4). Вопросы сопоставительного синтаксиса поднимаются в статье М. В. Симулика «Темпоральные глагольно-именные словосочетания в русском и венгерском языках» (II, 4). Хантыйскому языку уделено внимание только в заметке Э. Вертеш (Будапешт) «К выяснению мнимых противоречий в двух сообщениях о ваховском диалекте» (I, 3), где рассматривались хантыйские материалы, опубликованные К. Ф. Карьялайненом и И. Терешкиным.

6. Из работ по самодийским языкам следует отметить прежде всего цикл статей о «потенциальном» языке — камасинском, который фактически уже не используется как средство общения. Это статьи А. Кюннапа «О непоследовательностях в произношении современного камасинского языка» (I, 1) и «О присоединении камасинских глагольных деривационных суффиксов к заимствованным словам» (III, 2). А. А. Дрегваль и А. К. Матвеев в статье «О некоторых особенностях употребления форм множественного числа в камасинском языке» (III, 1) сделали попытку выяснить семантические условия использования тех различных показателей мн. числа, которые параллельно существуют в этом языке. А. Кюннап в статье «Показатели множественного числа имен существительных в камасинском языке» (III, 4) подверг критике их семантические доводы. В статье «К сравнительному изучению самодийских языков» (I, 2) Н. М. Терещенко признает энецкий язык самостоятельным языком, а не диалектом ненецкого языка. Вопросы ненецкого языка рассматриваются в статьях Н. М. Терещенко «О границах слова в ненецком языке» (II, 4), «К вопросу об омонимии» (III, 1), «Слова табу в ненецком языке» (III, 2) и в статье В. И. Рубкалевой «Послелоги в ненецком языке» (I, 4).

Венгерский ученый Л. Сабо в статье «Звуки тымского диалекта селькупского языка» (II, 4) систематизировал материал этого малоизученного диалекта на основе текстов, записанных им в 1964—1965 гг. в Ленинграде от информатора Т. Тагиной. Звуковое изменение $s > t$, одинаково наблюдаемое в самодийских и обско-угорских языках (ср. эст. *soon* — манс. *tan* — селькуп. *ten* «жила»), рассматривается в работе Б. А. Серебренникова «О двух конвергентных фонетических яв-

лениях в самодийских и обско-угорских языках» (I, 4).

7. В кругу работ, относящихся к этнографии, фольклористике и т. д., заслуживают особого внимания статья финского академика К. Вилкуна «О положении финно-угорской этнографии (этнологии) в данное время» (I, 2) и исследование шведского ученого И. Паульсона о мифологии уральских народов— «Le gibier et ses gardiens surnaturels chez les peuples ouraliens (finno-ougriens et samoyedes)» (I, 2).

8. Под рубрикой «Обзоры и рецензии» за три года помещено около 70 материалов весьма различного содержания, в том числе — персоналии, систематическая информация о деятельности различных лингвистических учреждений, о новых диссертациях и их защите, а также о конференциях и конгрессах. Ценной является составленная И. Селицкой библиография (I, 4) об изданных за 1933—1937 гг. на ижорском литературном языке книгах (в общей сложности — 25 названий), хранящихся в Ленинграде, в библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Здесь же освещаются отдельные важные вехи в развитии отечественного финно-угроведения — см., например, сообщения Г. М. Керта «Ф. Ф. Фортунатов и финно-угроведение» и И. В. Тараканова «Первой грамматике удмуртского языка 190 лет» (I, 3).

Из обзоров следует особо отметить статью «25 лет научно-исследовательской работы по финно-угроведению в Советской Эстонии» (I, 3) и статью К. Е. Майтинской «Развитие финно-угорского языкознания за 50 лет Советской власти»[5] (III, 3). В журнале (III, 1) приводится перечень диссертаций по финно-угроведению, защищенных в Советском Союзе за 1917—1967 гг. (они сгруппированы по отдельным финно-угорским языкам).

В статье Б. А. Серебренникова «О подготовке финно-угроведов» (III, 1) выявляются недостатки в этом деле и вносятся конкретные предложения по их устранению. В обзоре, опубликованном на немецком языке, К. Е. Майтинская подробно описала ведущуюся в Академии наук СССР работу и предстоящие задачи в области финно-угроведения (I, 2).

Рецензии, публикуемые в журнале, знакомят читателя с литературой, вышедшей в свет как в Советском Союзе, так и за рубежом, в зависимости от этого выбирается язык, на котором печатается рецензия. Журнал своевременно откликнулся и на опубликованные за рубежом диссертации (см. рецензии А. Лаанеста, Х. Нээтара и П. Алврэ). Наиболее примечателен разбор книги Д. Дечи «Введение в финно-угорское языкознание»[6], произведенный К. Е. Майтинской и В. И. Лыткиным (I, 3). Из рецензии ясно, как необходимы тесные контакты и оперативный обмен информацией между учеными разных стран, это, в частности, предотвратило бы появление многих погрешностей в публикуемых трудах. Надо сказать, что обозреваемый журнал вносит свою лепту в дело развития контактов между финно-угроведами ряда стран — уже за первые три года на страницах журнала выступали ученые Финляндии, Венгрии, Чехословакии и Швеции.

Установлению более тесных контактов между научными работниками разных стран могла бы способствовать публикация серии статей о научно-исследовательской и учебной работе во всех тех учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях мира, где занимаются проблемами финно-угорских (или урало-алтайских) языков, а также краткое ознакомление читателей «Советского финно-угроведения» с содержанием зарубежных журналов.

В итоге можно констатировать, что тематика публикуемых в журнале «Советское финно-угроведение» статей весьма разнообразна, причем языковедческие проблемы разрабатываются здесь и в аспекте традиционной, и в аспекте новой лингвистики, хотя преобладает сравнительно-исторический подход, что вполне естественно, так как без детального знания истории финно-угорских языков невозможно исчерпывающее понимание их современной структуры. Тематическое разнообразие публикуемых статей и высокий научный уровень, на котором выполнена значительнейшая часть их, сделали необходимым систематическое знакомство с журналом «Советское финно-угроведение» не только для исследователей, работающих в области финно-угорской и самодийской филологии и смежных наук, но и для славистов, интересующихся языковыми контактами, для тюркологов и ученых, занимающихся проблемами урало-алтайского и общего языкознания.

П. Алврэ

---

[5] Для зарубежных читателей статью следовало бы снабдить резюме на одном из западных языков, как это обычно делается в журнале для работ, публикуемых на русском языке.

[6] См.: Gy. Décsy, Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Wiesbaden, 1965.

CONTENTS

Articles: E. A. Makaev (Moscow). The problem of determinatives in Indo-European and Common Germanic; **Discussions:** O. A. Lapteva (Moscow). Literary and dialectal varieties of colloquial syntax and possibilities of their comparative study; I. I. Revzin (Moscow). G. D. Uldaševa (Taškent). The grammar of orders and its uses; E. A. Krašeninnikova (Moscow). Potentiality of grammatical changes; O. D. Leizerson (Moscow). On the «grammaticality» of compound words; **Materials and notes:** G. A. Zolotova (Moscow). On regular realizations of sentence-models; G. L. Nakhutsrišvili (Tbilisi). The agglutinative character of Ossetian nominal declension; G. K. Werner (Omsk). On the phonological interpretation of the laryngeal stop in the Ket language; **Applied and mathematical linguistics:** E. N. Vinarskaya (Moscow). On the study of stochastic relations in speech activity; **Critics and bibliography; Letters to the Editorial Office:** V. A. Vinogradov, A. A. Reformatskij (Moscow). Synharmonism, accent and prosody of the word; V. I. Černov (Smolensk). On the problem of determinants; **Scientific life:** N. S. Demkova (Leningrad). A unique autograph of «The life of Avvakum»; S. I. Kotkov (Moscow). The linguistic importance of the Old Russian land-acts; V. A. Moskovič (Moscow). Linguistic experiments of Johann Gregor Mendel; P. Alvre (Viljandi). The journal «Soviet Finno-Ugric studies»: a survey for three years (1965—1967).

SOMMAIRE

Articles: E. A. Makaev (Moscou). Problème de déterminatifs en indo-européen et en germanique commun; **Discussions:** O. A. Lapteva (Moscow). Variétés littéraire et dialectale de syntaxe parlé et possibilités de leur étude comparée; I. I. Revzin (Moscou), G. D. Uldaševa (Taškent). Grammaire des ordres et ses applications; E. A. Krašeninnikova (Moscou). Potentialité des changements grammatiques; O. D. Leizerson (Moscou). Sur la «grammaticalité» des mots composés; **Matériaux et notices:** G. A. Zolotova (Moscou). Réalisations regulières des modèles des propositions; G. L. Nakhutsrišvili (Tbilisi). Caractère agglutinatif de la declinaison nominale en ossète; G. K. Werner (Omsk). Interpretation phonologique de l'occlusive laryngale en ket; **Linguistique appliquée et mathématique:** E. P. Vinarskaja (Moscou). Sur l'étude des relations stochastiques dans l'activité de discours; **Critique et bibliographie; Lettres à la rédaction:** V. A. Vinogradov, A. A. Reformatskij (Moscou). Synharmonisme, accent et prosodie du mot; V. I. Černov (Smolensk). Sur le problème des déterminanter; **Vie scientifique:** N. S. Demkova (Léningrad). Autographe unique de «Vie d'Avvakum»; S. I. Kotkov (Moscou). L'importance linguistique des actes de propriété foncière vieux-russes; V. A. Moskovič (Moscou). Essais linguistiques de Johan Gregor Mendel; P. Alvre (Viljandi). Trois ans de la revue «Études finno-ougriennes» (1965—1967).

Опечатка

В ст. Р. Р. Гельгардта (№ 6, 1968) на стр. 58 следует читать: Посвящается Борису Генриховичу Унбегауну.

Технический редактор *Т. В. Таржанова*

Сдано в набор 29/X—1968 г. Т-01105. Подписано к печати 6/I—1969 г. Тираж 6710 экз.
Зак. 1260. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Усл. печ. л. 12,6. Бум. л. 4¹/₂. Уч.-изд. л. 15,0

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10